

НАЦИОНАЛЬНЫЙ БЕСТСЕЛЛЕР

НАШ БЕСТ

ЛЕВ
АННИНСКИЙ
РУССКИЕ
И НЕРУССКИЕ

Национальный бестселлер

Лев Аннинский
Русские и нерусские

«Алисторус»

2012

Аннинский Л. А.

Русские и нерусские / Л. А. Аннинский — «Алисторус»,
2012 — (Национальный бестселлер)

Книга известного писателя, публициста, ведущего телевизионных передач Льва Аннинского – о месте России и русских в меняющемся мире, о межнациональных отношениях на разных исторических этапах, о самосознании евреев в России и вне ее, о нашем нынешнем ощущении русской истории. Сохранится ли русский народ как нация или исчезнет с лица земли, что случилось с другими в истории цивилизации? Автор рассматривает полярные прогнозы на этот счет, полемизируя с идеологами разных концепций и взглядов.

© Аннинский Л. А., 2012

© Алисторус, 2012

Содержание

Вместо пролога	6
А если исчезнем?	6
Мы и наши соседи	8
Диалектика тотальности	8
Тевтобург – Веймар – Аушвиц	10
«Это... азиатское отродье»	13
Ясность зла, смутность добра	16
Славянская комета	18
От перемены мест...	21
Они – грузины	23
Капсулированный дух	27
Хант с ракеткой	33
Нашенское	35
Ненашенское?	38
Кое-что о навигации	40
Госпожа Удача	43
«Прежде здесь проходил караван...»	45
Что смешалось в «Доме Ростовых»?	47
Ущелья расчетов, загадки вершин	49
Вселенная сверху	51
Горгуд, где твой гопуз?	53
Грива и шкура	56
Мы в глазах соседей	58
Мы и наши евреи	60
Среди гоев	60
Курица и яйцо	64
Всклень	66
Бедненькая, как же ты выжила?	70
Светильники в море света	76
Отрезание ломтя	83
Мы и наше прошлое	90
Мод и Моб	90
Пустота постаментов	93
Грозный век	95
Смыть Смуту	97
Квадратура казачьего круга	101
Донской приборой	103
Капли датского короля	106
Ночнушка и 15 тысяч платьев	108
Что значит урусничать	110
Деньги для империи и деньги для нации	112
Яблоки с древа	114
Делимая Россия	118
Логика хаоса	121
Великая. Отечественная	123
Другое время	126

Слеза ребенка	128
Понаприехали	130
Пьедестал под прицелом	132
Собирая силы перед встречей с прошлым	134
Мы и наши начальники	136
Конденсат	136
Повезло ли России с Ельциным?	138
Клапан	139
Мы и наши проблемы	140
Руки Творца	140
Русский мормониум	161
Дождались младенца, черти?	167
На полях Холокоста	172
Нехазарские страсти	179
Три поцелуя	184
Суп из перочинного ножика	191
«Маленькое поле свободомыслия»	192
Раздвоенное жало свободы	193
Эвтаназия и анестезия	195
Либерализм на вкус, на цвет, на слух и на запах	196
Дубин и Дугин	198
В клетке	200
Почему я «не...»	201
Вывихи и костоправы	206
Природа ухмылки и ухмылка природы	209
Эпилог	212

Лев Аннинский

Русские и нерусские

Вместо пролога

А если исчезнем?

Выступление в клубе «Свободное слово» на дискуссии о судьбе России

Я впишусь в контекст дискуссии с помощью Когана и Рабиновича.

Поэт Павел Коган в свое время написал стихотворение о том, что мы еще дойдем до Ганга... до Японии, до Англии и т. д. С точки зрения геополитики все это кажется сегодня дикой бестактностью. Но, как только что правильно сказал поэт Вадим Рабинович, это пронзительная поэтическая правда.

Блок написал о нас как о скифах провокационную чушь – с точки зрения геополитики, но с точки зрения поэзии – это великая правда. И такое у Блока не редкость. Чтобы не хвататься еще раз за поэму «Двенадцать», напомним куликовский цикл: если вы читали комментарии к этому циклу, то знаете, что под *татарами* Блок изначально имел в виду *интеллигенцию*, к которой принадлежал сам. И Блок, влюбленный в средиземноморскую культуру, воображал, что мы ему поверим, будто в качестве скифа он готов душить ее!

Но в таком случае – где тут великая поэтическая правда?

Правда в том, что Россия обречена все время примериваться к великой роли. Правильно сказал Дугин: это наш рок – или великая, или никакая. Амплуа грандиозное, но с обыденной точки зрения: ничего себе перспективка!

В этом геополитическом пространстве все равно кто-то должен созидать межнациональное государство, то есть строить империю. Аттила прошел бичом божьим – не сделал. Греки пробовали – надорвались. Чингис аж на вселенскую сверхзадачу замахнулся – мировой империи не вышло, но гигантское многонациональное государство на какое-то время построил.

И славянам государственный инстинкт привил – своим же наследникам на горе. Славяне и финны, тех же татар втянув, великое государство создали. Тимур хотел перехватить – сорвалось: Баязит помешал. В XX веке Гитлер пытался во всей Европе германский порядок насадить, до Урала дойти хотел – не вышло. Мы помешали.

Немцы и в Средние века по тридцать лет воевали, чтобы мир вокруг себя выстроить. Ничего у них не вышло.

Почему у русских вышло?

Потому что у русских никакой изначально русской модели, под которую они хотели бы подогнать мир, не было, а сформировались русские в результате усилий многих племен примириться вокруг идеи, взятой напрокат у греков. Идея была вселенская, а не русская. Вадим Кожинов называет этот тип власти *идеократия*. Можно иронизировать насчет такого типа власти, но тысячелетняя история России – это все-таки в целом не отрицательный, а положительный опыт сосуществования народов, не исчезавших под имперским катком, а сохранявших имена и лица. Это не попытка всех сделать русскими, а осознание себя русскими при попытке всех остаться самими собой.

У немцев не вышло, а у русских – вышло. Потому что немцы всегда пытались сделать *немецкую* империю, то есть Священную Римскую империю *германского* народа, причем дру-

гим народам предоставлялся выбор: или исчезнуть, или стать немцами (да еще и не всем позволили бы стать). Русские же сами появились в ходе того, что здесь смешивалось, они сами продукты смешения славян, финнов, ордынцев... Мы втягивали всех и со всеми смешивались. Вот поэтому на столь долгое время у нас это получилось.

Вопрос: получится ли дальше? Надолго ли развалилось? Под каким именем возродится? И возродится ли, или будут кипеть сто племен в междоусобии «горячих точек»? Этого никто не предскажет.

Но если получится, то есть если возродится сильное многонациональное государство, – легче не будет: будет тяжело. Потому что имперское тягло – это неизбежное ярмо на всяком человеке, в том числе и на интеллигенте, который по определению мечтает о свободе от всякого ярма и тягла. И громче всех кричит от боли и пищит от ужаса в контексте империи именно интеллигенция. По высшему замыслу она, так сказать, это и должна делать. Именно интеллигенция больше всего втаптывала в грязь Советский Союз, именно она способствовала его концу, и именно она теперь в растерянности спрашивает себя, зачем все это произошло, стало ли ей лучше и откуда в сердце такая тревога.

Нет больше империи, ни Советской, ни Российской. Есть расходящиеся регионы, распадающиеся суверенитеты, разгорающиеся национальные амбиции. Вопрос стоит так: кто и как соберет это пустующее место?

Почему пустующее? А правильно эстонец сказал Георгию Гачеву: вы, русские, работаете день и ночь и в результате чувствуете, что вы делаете *ничего!*

Мировой замах, вселенское величие – это же, в известном смысле, борьба с пустотой. Это то, о чем Толстой сказал: все во мне и я во всем! Это всегда только *проект* – проект мировой державы, проект мировой справедливости, проект мировой революции – что угодно, но это в конце концов, при попытке финального осуществления – *ничто*. Виртуальность.

А если это *что-то*, то что-то маленькое, этнически «чистое», исторически «частное». И тогда это уже не та Россия, в которой мы выросли. И тогда нам надо смириться с тем, что мы исчезаем как великий народ.

У меня было два разговора со Львом Николаевичем Гумилевым, они врезались в сознание. Однажды он сказал, что Россия это хрящ, выросший от трения Запада о Восток, Европы об Азию. Интересная формулировка, она оставляет открытым вопрос – а есть ли у России своя *внутренняя* задача, если она только следствие, «нарастающее» от взаимодействия прочих частей?

Тогда следующий вопрос: что обо что будет тереться в будущем, скажем, столетии (я уже не говорю о тысячелетии)? Что, будет Север об Юг тереться? Где мы тогда окажемся?

Будет ли у нас *своя* задача?

А если исчезнем?

Тогда придется утешаться фразой великого японца Акутагавы: я умираю, но то, что меня породило, породит второго меня.

Мы и наши соседи

Диалектика тотальности

Тотальность монолитна, одномерна, сверхлична и неменяема. Тоталитаризм не ищет ни аргументации, ни тем более правил аргументации, он втягивает все и вся в воронку, так что втянутые задним числом осознают смысл того, что с ними произошло.

Тем интереснее лексическая статистика текстов, в которых исследуются отношения России и Германии за истекший век. Речь идет о двух самых беспредельных, самых жестоких вариантах тоталитаризма, какие знала история.

Что за понятие возникает чаще всего по ходу их смертельного противоборства?

Двойственность. Двоение. Двойной стандарт. Двойная мораль. Двоящаяся цель.

Пример скальпельного рассечения реальности: «Гитлеры приходят и уходят, а народ немецкий, государство немецкое остается». Даже такому «византийцу», как Сталин, подобное перенацеливание в разгар драки далось непросто. Что же говорить о тех немцах, которые сразу после драки начали создавать государство, в плоти которого народ, тотально вовлеченный в гитлеризм, разом перешел в разряд «строителей светлого будущего»? Шизофреническая история!

Еще шаг в прошлое – в то предвоенное прошлое, когда лучшие немецкие коммунисты, спасаясь от нацизма, эмигрировали в СССР. Вместо ожидавшегося царства социальной справедливости они обнаружили нищую страну, пустые магазины, лагерный террор... Эти честные немцы так и не решились выговорить правду, то есть разрушить ту мечту о воплощенном коммунизме, которая помогала им выдерживать мерзость буржуазной реальности; они, и вернувшись в ГДР, продолжали мучиться двойной моралью, не говоря всей правды о сталинском тоталитаризме. Писатели, добровольно пошедшие на эту нравственную Голгофу, превратились, по меткому слову Густава Реглера, из инженеров душ в живодеров душ.

А русским было легче? Продолжать видеть в немецких рабочих 1941 года передовой отряд мировой революции и одновременно – штурмовой отряд того «враждебного окружения», в котором, по сталинской логике, оказался бастион мировой революции! И вообще – что за фантастический расклад, когда главной ненавидимой фигурой является социал-предатель, а тот, кому он предает наше правое дело, остается в тени, да еще оттуда, из тени, протягивают нам руки для Пакта?

Конечно, киногения есть киногения: фашизм ассоциируется (на экране, а потом и в массовом сознании) с замкнутым темным пространством, а все «наше» – с выходом на светлый простор, на воздух, на солнце... Такая образная антитеза помогает душе ориентироваться в лабиринте конкретных ситуаций, но ведь от двусмысленности *самих* ситуаций может поехать крыша не только у честных коммунистов...

И это же – эпохой раньше, в Первую мировую войну. Прицелы опять двоятся. Немцы смотрят на русских то ли как на партнеров, с которыми на протяжении веков шел культурный обмен (не только научными, литературными, музыкальными, но и династическими кадрами), то ли как на пустое место, как на насекомых, разбегающихся по ландшафту, как на нечто, имени не имеющее. Может, там вообще не русские, а монголы, воскресшие из XIII века, чтобы вклиниться в новейший «спор культур» и смести самый этот спор в дикость.

А русские, громающие в 1914 году немецкие магазины? Они что, разбираются в нюансах? Они бьют подряд всех, кто *похож* на немца, не вчитываясь в генеалогическое древо, которое добропорядочные остзейцы вывешивают на дверях своих лавок...

Никаких «аргументов», никакой «диалектики»!

А все-таки поищем ее в двоящихся фронтах двукратной мировой бойни.

Русская агитка 1914 года построена на том, что враг смешон. Дурного вкуса полно, трагизма ни на грош, не боимся мы немца, потешаемся над ним.

Немецкая агитка, напротив, полна трагического пафоса. Идет борьба Нибелунгов с нерасчленимой массой; победа над нею патетична; убитых русских считают миллионами «штук», они разбегаются, оставляя тевтонов в загадочном расступающемся пространстве.

Хитрые «византийцы» тайно чуют опору, мечтательные «тевтоны» – нет.

1941 год. Советская агитка сворачивает революционные сюжеты и ставит народ перед фактом нашествия. Слова «оккупант» и «захватчик» весомее, чем «фашист» и «немец» (немца вроде и нет, есть все тот же высмеиваемый «фриц»). Подо всем этим – реальность.

Геббельсовская агитация строится на ирреальности. «Чем больше лжи, тем легче верят». О простодушные юберменши: и это стряпается в народе, давшем Канта и Гёте!

А может, тут как раз логика?

Берем исходные ситуации: советская власть получила в наследство от царизма полуграмотный малокультурный народ; отсюда сверхзадача агитпропа – просветить, раскрыть народу глаза на реальность. Германский народ – поголовно грамотный, он – носитель великой культуры, и ему гитлеровская пропаганда не собирается «раскрывать глаза». Напротив, ей надо искать такую точку, чтобы «скосить глаза». Геббельс озабочен вовсе не охватом истины, он ищет контактные сюжеты, «коммуникативные ситуации», рассчитанные на тех, кто воспримет химеру: «еврейский заговор», «отбросы истории», «буденновские шапки». Верит ли в химеры сам пропагандист и есть ли за ними реальность, – уже не важно. Выйти из этого абсурда, не попросившись с логикой, невозможно.

Вы можете себе представить в устах Геббельса фразу: «Народ русский, государство российское остается»? Увы. Никаких на сей счет планов после своей победы немцы не предусматривали, Гитлер такие варианты просто запрещал обсуждать. Тайный страх сильнее аргументов.

Тотальный страх великого народа, зажато в центре Европы и не находящего, к чему приложить свою мощь – в отличие от Британии, переплывающей моря, и от России, разбегающейся в немереные пространства.

В финале драмы наш Агитпроп успевает унять ненавидящего немцев Эренбурга («товарищ упрощает») и – на плакатах – вывести из фашистской темницы на светлый простор великих немцев: Канта, Шиллера, Гёте и даже Гейне (насчет последнего – явно «упрощая»). Мы их, так сказать, *вывели*. Как их ввести обратно? Немецкие историки до сей поры решают: был ли нацизм порождением германизма или чуждым явлением, *оккупировавшим* Германию.

Впрочем, и мы до сих пор решаем, висел ли коммунизм ярмом на доброй русский шее, или он и был шеей, которая удержала голову, когда по ней лупили те же немцы.

Тоталитаризм прост, пока воюет. Нет войны – и соображаешь, откуда у него что растет. Начинается диалектика.

Тевтобург – Веймар – Аушвиц

Как немец стал гитлеровцем?

Два слова об авторе, на суждения которого я опираюсь, теряясь перед фатальным вопросом. Иоахим Фест. Восьмидесятилетний патриарх немецких историков. В недавнем прошлом редактор крупнейшей газеты «Франкфуртер Альгемайне Цайтунг». Автор классических трудов по истории Третьего рейха и, в частности, книги «Гитлер», переведенной группой пермских германистов, – фрагмент из книги опубликован Гомельским университетом (сборник «Война в славянских литературах», Мозырь, 2006).

Немец изучает историю своего народа – нам-то что?

А то, что две мировые войны прокатились по нашим судьбам и душам. Пепел стучит: как все это оказалось возможно? Железные колонны, танковые армии, газовые печи, методичное уничтожение приговоренных наций, мировой порядок, спроектированный на крови. Как все это могло родиться в сознании одного из культурнейших народов мировой истории?

Учтем трагедию 1918 года – унижение Компьенской капитуляции, комплекс неполноценности, навязанной народу, полноценность которого была доказана веками работы и творчества. Но ведь и в 1914 год промаршировали в касках! Как же это? Куда делся тихий и добрый философ, учитель музыки, увековеченный и у нас в облике вовсе не эсэсовца, а обаятельного Карла Иваныча, героя толстовского «Детства»?

Может, заглянуть глубже? В те времена, когда Карл Иваныч еще не родился, а родился Мартин Лютер, прорычавший: «Не могу иначе!» А может, и еще глубже – во времена, когда Арминий Гордый подстерег в Тевтобургском лесу тогдашних властителей мира – римлян, чем обозначил начало германского участия в мировой истории?

Для своего момента это была смесь воинской находчивости и политического предательства, ибо римляне доверяли своему другу-союзнику и не ожидали удара в спину. Но для мировой истории оказалась важна не римская обида, а тот факт, что на Севере Европы обнаружилась мощная сила, ищущая выхода.

Эта сила со временем перехватила у Рима Европу и самое имя, назвавшись «Священной Римской империей германской нации».

Прочие нации не смирились с таким самопровозглашением и тридцать лет лупили немцев в XVII веке, пока не раздолбали империю на мелкие княжества, в которых и притихла (на время) энергия великого народа.

Что вынесли немцы из первого их имперского опыта, закончившегося так плачевно?

«Фигура добродушного, невоинственного, мечтательного немца на долгое время стала предметом насмешек для более самоуверенных соседей, – пишет Фест. – На деле же там затаилась глубокая подозрительность – реакция народа, исторический опыт которого был почти целиком отмечен ощущением угрозы. На основе его срединного географического положения у него рано развились комплексы окруженности и необходимости обороны, они-то самым ужасным образом и подтвердились в так никогда и не преодоленном страшном опыте тридцатилетней войны, превратившей страну в почти безлюдную пустыню. Самым значительным наследием войны были травмирующее чувство незащищенности и глубоко запрятанный страх перед хаосом любого рода».

Справиться с хаосом в исторической реальности немец не мог – к этой неменяемой реальности он испытывал отвращение. Он стал выстраивать другую реальность – в мечтах и звуках. Мощь интеллекта, лишенного земной опоры, устремилась ввысь, подобно шпилью пламенеющей готики, и нашла себя в звездном небе. Древний опыт несторианской ереси, укрывшейся в холодных дебрях Севера от пустынного зноя ортодоксии, – акцент не на божествен-

ной, а на человеческой природе Духа, – позволил поместить нравственный закон «внутри нас», оставив все остальное вне закона.

Этот человеческий акцент позволил Духу избежать надмирности и укорениться в земном устройении, но поскольку в стиснутой соседями середине Европы места для устройства не было, – немецкая энергия ринулась обустроить Мироздание в кабинетах.

По словам Фихте, эта энергия разметала скалы мыслей, из которых в следующие века возвела жилища. То ли жилища, то ли пепелища... немецкая классическая философия вовсе не имела в виду стать одним из источников беспощадной русской революции (как не имели этого в виду английская политэкономия и французский социализм). Но и для Германии философский опыт стал роковым.

Интеллектуальный радикализм Германии не знал себе подобных, именно эта неповторимость придала немецкому духу величие и характерный блеск. Но что касается действительности, то тут имела место полная неспособность к прагматическому типу поведения, в котором примирились бы друг с другом мышление и жизнь, а разум стал бы разумным. Немецкий дух мало заботился об этом. Он был в буквальном смысле слова асоциален и стоял в прославляемом противоречии с жизнью: дух безоговорочный и концентрированный, всегда в позиции «не могу иначе», с почти апокалиптической «тягой к интеллектуальной пропасти», на краю которой виделась не столько банальная человеческая действительность, сколько целые эпохи и миры, гибнущие в катастрофе.

Господи, Бог мой, что этому Духу было до жизни!

Еще меньше дела было – до политики. Политика – искусство возможного, немецкий же Дух, убежденный в невозможности осуществления своих грез, строил несбыточное в музыке, в искусстве, в философии, в умозрении.

Это была тонкая месть реальному миру – посрамление реальности Духом.

Но пока на старинных портретах темнели погруженные в раздумья предки – на брэнной земле назревали перемены, сравнимые с великим переселением народов: немцу недолго оставалось предаваться филистерскому счастью у семейного очага и лихорадке научного познания в тиши кабинетов.

Интересно, что новый Арминий появился не в Пруссии с ее железным бисмарковским самообладанием, а в Австрии с эмоциональной непредсказуемостью жителей разваливающейся империи. Возник дикий гибрид мифологического и рационального мышления. Народ поэтов и мыслителей поверил в миф – не в миф политического обустройства Германии, а в миф судьбоносного переустройства Вселенной.

Захотелось вернуть запутавшемуся миру простоту, величие, экстаз, харизму и гениальность. Не Бисмарк, а Перикл забрезжил в грезах. Автобаны, которые должны были связать воедино воссоединенный рейх, потом Европу, потом Мир, – показались чем-то вроде Рима с его культом порядка в пределах. Все, что в пределах, следовало очистить, все, что за пределами, – уничтожить. Умозрение окрасилось кровью.

Оставалось вложить в этот мировой проект *немецкую последовательность и непомерную логику.*

Безудержная словоохотливость бесшабашного маргинала и художника-неудачника получила шанс наполниться каменным спокойствием прусского вояки, провожающего в газовую камеру всех, кто не дотянул до юберменша.

Гитлер пришел к власти законнейшим демократическим путем. Старые партии, ему противостоявшие, либо не принимали его всерьез, либо надеялись *удержать этого авантюриста на поводке.*

Вышло иначе. После 30 января 1933 года *словно по тайному знаку начались массовые перебежки в стан национал-социалистов.*

Европа почувствовала озноб: началась неведомая эпоха.

Иоахим Фест пишет: *вопреки бытующему мнению, развитие немецкого Духа отнюдь не ведет только к Освенциму.*

Как хотелось бы, чтобы он оказался прав!

«Это... азиатское отродье»

В безнадежной судьбе Русской освободительной армии, которая в составе гитлеровского вермахта пошла воевать против Красной Армии, самая безнадежная судьба – у создателя РОА генерала Андрея Власова. Кажется, что уж он-то – жертва стечения обстоятельств. Сложись ситуация иначе (в июне 1942 года, когда немцы отрезали его 2-ю ударную армию), – продолжал бы любимец Сталина лихо воевать против немцев, лупил бы их в Сталинграде, а Победу в мае 1945 года наверняка встретил бы в маршальских погонах.

И скроен прямо-таки на «русского народного героя», чуть не по меркам лесковского Ахиллы Десницына: семинарист-недоучка, громогласный верзила, веселый матерщинник, неутомимый бражник, бабник.

Гиммлер зафиксировал то, что немцы сказали этому русскому, когда взяли в плен: «Нам ясно, что вы человек значительный, вот вам шнапс, сигареты и бабы». Цитирую – по замечательному очерку Леонида Млечина «Особая папка» в «Вечерней Москве», но не могу отделаться от наваждения, будто устами Гиммлера реагирует на русского лихача описанный Лесковым тихий немец Гуго Пекторалис, русской «непомерностью» уязвленный... но так было во времена Лескова. Гиммлер же в глубине души предателя презирает. Хотя и готов использовать.

Шнапс, сигареты и баб немцы Власову обеспечивают. Поразительно, но даже в апреле 1945-го, потеряв последнюю надежду переметнуться к американцам, Власов пьянствует с эсэсовским оберфюрером, приставленным к нему следить, чтобы не сбежал. До последнего момента немцы чувствуют: мог бы – сбежал!

Весной 1945-го бежать ему уже некуда. А за два с половиной года до того, в 1941-м, под Киевом – из безвыходного окружения – выкрутился! Потеряв в окружении армию, переделся крестьянином и с палочкой – к своим! После чего Сталин поверил в счастливую звезду этого мужика и опять дал ему армию – уже под Москвой. И ведь не ошибся: генерал Власов – «в валенках, стеганых ватных брюках и меховом жилете поверх генеральской гимнастерки» – выбил немцев из Волоколамска и стал одним из спасителей Москвы.

Удивительно ли, что Сталин увидел в нем и возможного спасителя Ленинграда? И опять дал ему армию – для прорыва блокады – ту самую, 2-ю ударную.

Увы: блокирована оказалась 2-я ударная. Виноват в этом был не Власов, а Сталин, запретивший армии отход. Судьба словно предложила Власову повторить киевский подвиг, и три недели он бродил по болотам, переодевшись крестьянином и рассчитывая выйти к своим (а перед тем последнюю прорывную атаку штабистов, пытавшихся вырваться из немецкого кольца, возгласил лично! – нет, в чем в чем, а в малодушии его не обвинишь).

В плен его взяли почти вслепую, случайно, поначалу и не опознав. Когда он понял, что попался, – заорал басом вошедшим в сарай немцам:

– Не стрелять! Я генерал Власов!

Значит, ни скрыться, ни перехитрить их уже не попытался. Мгновенно оборвал все: сдался с концами. Повернул личный фронт на 180 градусов. И объявил поход Русской освободительной армии против сталинской тирании.

Может, на измученных пленом недавних красноармейцев его костюмированный патриотизм и подействовал. Но немцы к этому новоявленному русскому вождю с самого начала отнеслись с безразличностью: для них он был прежде всего предатель.

Леонид Млечин приводит состав РОА. 50 тысяч человек. В основном бывшие солдаты и командиры РККА – Красной Армии. Белоэмигрантов меньше – эти к Власову идут неохотно, разве что уж под самый конец войны, и то – в основном казачьи части.

Что казачьи части – объяснимо: у них к Советской власти свой счет, со времен троцкистского «расказачивания», им и терять нечего. А вот белоэмигранты, патриоты идей-

ные, – те понимают, что какой Сталин ни изверг, но именно он отбивает Россию от немцев, и пойти против Сталина – значит стать прежде всего изменником России, все остальные доводы потом. И насчет военнопленных понятно: эти просто хотят избежать бессмысленной гибели, умеют только воевать и идут к Власову, чтобы получить оружие. На что они рассчитывают? Что Власов и впрямь въедет в Кремль на белом коне?

И еще: надо различать в составе РОА людей белогвардейски убежденных и – наоборот, которым все равно, за счет чьей крови спасаться. Фигурально говоря (если искать примеры в ближайшем власовском окружении) это случай Жеребкова и случай Жиленкова. Одно дело – давний эмигрант, действительный ненавистник Советской власти, и другое дело – слесарь-пролетарий, эту власть взращенный, комсомольский вожак, потом парторг, комиссар, член Военного совета... и он же – «власовский Геббельс» – Георгий Жиленков, собрат Власова по петле 1946 года.

Геббельс, между тем, всерьез рассчитывает использовать власовскую авантюру в интересах гитлеровского рейха. И даже записывает (в дневник, то есть искренне): «Генерал Власов в высшей степени интеллигентный и энергичный русский военачальник». И тут же объясняет, почему: оказывается, что «интеллигентный военачальник» пообещал ему, Геббельсу, что национал-социализм спасет Россию...

Верит ли в это сам Власов?

Ни в коем случае! Его план лишен интеллигентских мерихлюндий: ударить по Сталину, а сокрушив Советскую власть, получить у немцев русское государство. А добром не отдадут, так ударить и им в спину.

Власов в этот безумный план, может быть, и верит. Но есть в Германии человек, который ни при каких обстоятельствах ничего подобного не допустит. И, между прочим, видит Власова насквозь.

Этот человек – Гитлер.

Интересно, что услуги свои попавший в плен Власов предлагает не «рейху» и его главе, а армейскому германскому командованию, и использовать его в качестве вербовщика-перебежчика начинают именно военные армейского звена. Они, конечно, чувствуют, что этот русский пытается вести свою игру, он даже «надеется в недалеком будущем принять немцев как гостей в Москве» – эту шутку немецкие генералы расценивают как «неслыханную наглость». Но в оперативных целях позволяют ему вербовать людей в РОА, то есть раскалывать антигитлеровский фронт.

Гитлер ничего об этом не знает. Когда узнает (из доклада Гимmlера), то приходит в ярость. Не желая портить операцию своих генералов, не приказывает казнить Власова немедленно, а просто заявляет, что не хочет ничего о нем знать.

В конце концов, приходится узнать и фюреру о власовских дальних планах и объясниться насчет места русских в «новой Европе».

Конечно, построить эту «новую Европу» только немецкими руками трудно. Приходится использовать и других. Пока это выгодно. Как и при Наполеоне, на восток прет «европейский интернационал». Запомнились нашим людям в составе оккупационных войск и добродушные румыны, и злые мадьяры, и какие-то эфемерные итальянцы-испанцы, и весьма неэфемерные танки, сделанные братьями-славянами на чешских заводах. Но в будущем всех ненемцев ждет не общий братский союз, а скорее общая могила. Евреи и цыгане – первые. А русские?

Русскую армию, которую мечтает воссоздать Власов, фюрер объявляет чистойшей фантазией:

– Русские нужны нам только как рабочая сила в Германии. И чтобы они не размножились. Все земли, считавшиеся русскими, будут заселены немцами. Я с русскими не желаю иметь ничего общего. Я растопчу это... азиатское отродье.

Может, петля, в которой после закрытого судебного процесса в Москве кончил жизнь 1 августа 1946 года Андрей Андреевич Власов, избавила его от еще более низкой и страшной участи?

Ясность зла, смутность добра

Люди, знающие историю гитлеровского рейха, не усомнятся в том, какова эта «ясность» в немецком оригинале: «*Банальность зла*» – название книги Ханы Арендт о Карле Эйхмане. «Смутность» же в современной немецкой историографии обозначается несколько более тяжело: «*Внутренняя противоречивость добра*». Это тоже название книги: Саул Фридендер о Герштайне. Поскольку два последних имени – сравнительно со всемирно славным именем антифашистки-писательницы Арендт и со всемирно проклятым именем фашиста-палача Эйхмана – известны мало, поясню, что Фридендер – еврейский публицист, а Герштайн причастен к деяниям немецких *спасателей* – тех немногих, что в гитлеровской Германии старались евреев выручать: прятали, подкармливали, убрали из смертных списков, устраивали побег.

А сам этот сюжет я беру из недавно вышедшей книги Самсона Мадиевского «Другие немцы. Соппротивление спасателей в Третьем рейхе». Книга вышла в Москве, а автор ее (начавший свое научное поприще когда-то в Советской Молдавии) живет в Германии. Четверть текста – на немецком языке – скрупулезные ссылки на источники. Четверть финальной страницы – благодарность институтам, архивам, музеям и отдельным гражданам, предоставившим материалы. Рядом с дюжиной германских адресов – один израильский: Яд Вашем.

Отдавая должное научной (немецкой!) выверенности этого труда (для нас – просто первопроходческого), приведу перечень глав, чтобы масштаб работы Мадиевского стал ясен: история проблемы и источники; виды и формы действий; мотивировки спасателей; социопсихологические их характеристики; их взаимоотношения с немецким населением; грозившие им кары и, наконец, их (то есть немцев, которые выручали евреев) самооценка.

Зло – ясное: немецкая однородная общность очищается от евреев; всякий, кто этому препятствует и укрывает врагов рейха, – предатель; народ кричит «хайль!», и в этом общем вопле исчезают различия рабочих и студентов, солдат и интеллектуалов, немецких матерей и отцов режима, съевших общий немецкий суп и причастившихся к расе сверхчеловеков.

Добро, напротив, смутно, противоречиво, неясно, часто немотивированно. Социальная база сопротивления зыбка и неуловима. Евреев спасает вчерашний социал-демократ (уже в лагерном бараке) и графиня-аристократка (в своем роскошном имении), гестаповец (выправляющий документы) и проститутка (в бардаке выдающая еврея за своего клиента).

Рискует они страшно: по законам военного времени (и предвоенного тоже) спасатели ставят на карту свои жизни.

Во имя чего?

На этот-то вопрос и нет однозначного ответа.

Простейший случай: евреев спасают за вознаграждение. Подкупить можно кого угодно. Эсэсовец, которому еврейская семья отдает все свои сбережения, обещает переправить ее через пограничную реку....

Вы спросите: а еврейская семья не боится, что этот немец донесет или, на худой конец, просто «кинет» несчастных в ту же реку и останется на берегу с их деньгами? Вопрос особенно хорош в русской интонации...

Ответ: во время переправы немец посадил еврейского ребенка на закорки; волной ребенка смыло; и вот этот немец нырнул за ним, вытащил за шиворот, спас и – доставил-таки на тот берег, как обещал!

Не исключено, что этот эсэсовец на другой день отправил других евреев в лагерь смерти. Выполняя служебный долг! Ответ – в немецкой интонации...

Положим, тут – пунктуальная верность договору. Денежному. Но ведь спасали же и без всякой выгоды!

Таились, конечно, среди спасателей идейные противники нацистского режима. Попадались не идейные, а просто «буржуазно-порядочные» немцы, христиански-терпимые к иудаизму. Или, наконец, лично знакомые или дорогие жертвам: бывшая немецкая прислуга выручала бывших еврейских хозяев; немецкие няньки спасали выращенных ими еврейских детей; «арийски чистые» немки правдой и неправдой вытаскивали из застенков и облав своих еврейских мужей.

Это все объяснимо.

Но если не было *ничего* этого, *никаких* личных мотивов, *никаких вообще* личных побуждений, – а все равно спасали «непонятно почему» – вот это как объяснить?

И ведь не просто против режима оборачивались действия таких спасателей, а против огромной массы людей, захваченных эйфорией гитлеризма! Если угодно, спасатели шли против *народа*. И главная опасность была – не в бдительности спецслужб, являвшихся с обысками, а в повальной бдительности соседей, по доносам которых и являлись с обысками полицаи или жандармы. А если вместе с ними являлся и еврей-предатель, тут уж вообще все рационально объяснимое кончалось...

И все равно – спасали!

Военное время – страшное. Тут воешь со всеми, как волк в стае. И из драки не выскочишь. Допустим, немец спас еврея и помог переправить его в лес. А в лесу – партизаны. Есть у этого немца гарантия, что еврей, получивший в лесу оружие, не убьет его в бою?

И все-таки – спасали.

Еврейская девочка после войны разыскала своих спасателей, поехала к ним в деревню, чтобы отблагодарить. Те выслушали, выразили удовлетворение, а потом тихо попросили никогда не появляться больше. Потому что в глазах односельчан их подвиг выглядел попреком, воспринимался как вызов к покаянию, а то и как провокация: односельчане вовсе не собирались каяться, у них не было ни сил, ни желания отвечать за Гитлера – душевные силы на это нашлись разве что у следующего поколения...

А сами спасатели – чувствовали ли себя героями? Да нет же! До конца дней их мучила совесть. Помогли одному, а сотне помочь не могли, и этот кошмар заставлял их молчать... то ли о своем подвиге, то ли о своем бессилии.

И все равно ведь спасали!

Да что же это в человеке – в условиях тоталитарного режима, в разгар войны, идя вразрез с настроем «народной общности», вопреки доводам разума, вопреки инстинкту самосохранения, без всякой надежды – идти на такое? В тисках рейха – спасти евреев, в тисках диктатуры пролетариата – спасти дворян, буржуев, попов, в тисках веры – спасти еретиков веры.

Даже и не спасать. А провожая на гибель – просто взглянуть в глаза отверженному, незаметно пожать руку, шепнуть: «Держитесь...»

«Мы видели, как они несчастны, не могли же мы не поддержать их...»

На дне души присягнувшего солдата, безотказного винтика системы, безропотного раба божьего – таится что-то, не дающее человечеству окончательно озвереть.

Хотя бы одного спасти. Хотя бы одному спастись.

«Кто спасает одну жизнь, спасает целый мир». Это цитата из Талмуда. С. Мадиевский свидетельствует, что она в большом ходу у современных немецких историков.

История полна смут. Чтобы их вынести, нужны мгновения ясности. Чтобы не снесло мутной волной во время очередной переправы.

Славянская комета

Когда осенью 1914 года Юзеф Пилсудский стал формировать в Галиции польские легионы «Стрелец», чтобы они под австро-германским командованием пошли воевать против русской армии, Осип Манделъштам, написал (и напечатал) следующий поэтический портрет Польши:

А ты, славянская комета,
В своем блужданье вековом
Рассыпалась чужим огнем,
Сообщница чужого света!

То, что польскую тему так остро пережил Манделъштам, вообще-то мало причастный к славянскому патриотизму, достойно удивления. Но еще более удивительно то, что этот эпизод из биографии поэта с полным сочувствием воспроизводит другой поэт – Станислав Куняев, для которого Манделъштам был настолько замурован в свое еврейство, что приходилось его от оного защищать. Есть, стало быть, противник, настолько невыносимый для Куняева, что он берет себе Манделъштама в союзники.

Этот противник – польское шляхетство.

«Шляхта и мы» – сочинение Куняева, появившееся первоначально (и урезанно) в журнале «Наш современник», уже взвинтило поляков на ответную ярость (но не помешало им признать, что это – «самая основательная попытка освещения польско-русской темы»).

Теперь трактат выпущен отдельным изданием. В несокращенном виде. С приложением «антирусских» стихов польских поэтов, включая одиозных «Дзядов» Мицкевича (не более антирусских, я думаю, чем стихи вольнолюбивых русских поэтов того времени, ненавидевших и обличавших царизм). Мне, однако, интересен в данном случае не Мицкевич и не польская реакция на куняевский памфлет. И даже не предшественники Куняева в русской поэзии (и публицистике), разделенные им на интеллигентов-полонофилов и государственников-полонофобов. Меня интересует сам Куняев. Яркий поэт, он моделирует наше общее состояние.

Как историк он демонстрирует завидную фактическую осведомленность. Но как историка, вогнавшего в полтора-два страницы малого формата полтысячелетия русско-польского противостояния: и то, что Польша дважды овладевала Москвой, и что однажды – Киевом, и что трижды выходила на берег Днепра... да что там Днепр – по извечным родной Оки могла бы пролечь граница «при другом повороте истории»... так вот, эти повороты, включая судьбу «стрельцов» Пилсудского и «жолнежей» Андерса, – все это лучше меня оценят историки. Меня интересует душа поэта.

Концепция его проста, как дыхание: России надо бы держаться «подальше от поляков», как и от евреев. Но подальше «не получается». А раз не получается, то надо как-то вместить это в душу.

Душа мучается. Православное самосознание велит миловать падших, но бойцовский темперамент вскипает при каждом вспомянута ударе и заставляет бить с утроенной ответной силой. «Государственный инстинкт» диктует жесткую непримиримость, но сердце не выдерживает.

Сорок лет назад, посмотрев во Львове «Пепел и алмаз» Вайды, Куняев почувствовал, что и убитый молодым террористом «седой партийный человек», может быть, более нужен Польше, чем этот безумец. Выйдя из кинотеатра, сел на лавочку возле памятника Мицкевичу и написал («на одном дыхании», что у такого зубра бывало не часто):

Умирает убийца на свалке,
только я никому не судья,
просто жалко – и девушку жалко,
и его, и тебя, и себя...

Поразительно не то, что в 1963 году Куняев, еще не освободившийся от влияния Слуцкого, написал такие стихи. Поразительно, что он их полностью цитирует теперь в своей полонборческой книжке. Словно освободиться не может.

Но хочет. Наступает на горло песне.

Откуда же эта пересиливающая все жгучая обида?

Причина – их шляхетский гонор. Их, поляков, экзальтированное высокомерие. Их опереточный форс. Их истерическое мессианство. Главное же – их презрение к нам, русским, так хлестко описанное Чеславом Милошем. Наше «оловянное спокойствие», наша варварская примитивность, веками «бесившая» шляхтичей с их изысканным вкусом.

Для Куняева эти качества – нечто извечное, генетическое, почти не меняющееся от столетия к столетию. И здесь – мое кардинальное расхождение с ним. Много ли беды было нам от поляков до Стефана Батория? Все начинается с XVI века, когда Речи Посполитой выпадает шанс стать великой европейской, а в XVII веке – великой евразийской державой. Никакой католицизм (по отношению к которому Куняев пылает неподдельным православным гневом) не объясняет польского характера, и сам католицизм (за которым стоит миллиардная масса, многократно превышающая вес Польши в мировой драме) совершенно не исчерпывает польской «героицизмы». Хотя в определенных условиях помогает польскому характеру реализоваться. Но только потому, что в геополитической драме был миг, когда история поманила шляхту к мировой роли, но – обманула. А она поверила и изготавилась.

Отсюда – нервная экзальтация, воспаленная мания величия. Но ведь и у русских в Смуту, когда их великая роль стояла на кону, хватало авантюрной лихости; наше тогдашнее казачество вело себя едва ли не «по-польски». Навали судьба роль великой державы на поляков – очень скоро и они выработали бы у себя «оловянное спокойствие». Обошла их судьба великой ролью – и аж в XX веке еще вспыхивает, угасая, темперамент народа, внутренне готового к величию, не теряющего кураж уже и в обстановке полной безнадёги. Можно драться с Гитлером, полагаясь на свои силы, как дрались сербы. Можно благоразумно уклониться от такой драки и сберечь силы, как поступили чехи (наиболее онемеченные из славян). Но бросаться в драку при абсолютно проигрышном соотношении сил – это по-польски.

Можно сказать: это комплекс сверхполноценности. Но он, я думаю, бесповоротно изжит сегодня, и Куняев отлично знает почему. Достаточно замаячить в Силезии силуэту немца, и поляка охватывает инстинктивная тревога, эвфемистически называемая сегодня: «страх перед Евросоюзом». Меняется геополитическая драма, меняются роли. Искать в этой ситуации то, что «выпало в осадок племенной жизни в древние времена», и сводить счеты четырехсотлетней давности (да хоть бы и столетней, пятидесятилетней) неразумно, да и не великодушно. Разумеется, генерал Андерс, заносающий («вжик-вжик!») саблю над немецкими панцирными армиями, смешон. И, разумеется, погибать в маковом поле под итальянским Монте-Кассино, вдали от Польши, – полное стратегическое фиаско. И не исключено, что жолнежи, гибнувшие под немецкими пулеметами и танками, все еще презирали «русских варваров»...

Так лучший ответ на презрение – не замечать его. И не сводить счеты с теми, кто гибнет. Если угодно, мне жалко всех. «И его, и тебя, и себя».

Эта моя позиция для сегодняшнего Куняева – гнилая. Ну, может, смягченно: пошлая. И – интеллигентская. Все правильно. Не отрекаюсь.

Польский интеллигент Адам Загаевский мечтает: «Если бы Россия была основана Анной Ахматовой! Если бы Мандельштам был в ней законодателем... Если бы...»

Куняев эти строки не комментирует. Я тоже. Но по разным причинам.
Комета пролетела. Хвост тает во тьме. Не прикуришь. Даже если и дашь прикурить.

От перемены мест...

«Чего нам бояться, если нас и русских – сто восемьдесят миллионов!»

Могу ошибиться в сумме; не исключено, что было сказано: «двести миллионов». За смысл ручаюсь: фраза, прозвучавшая со сцены (кажется, у Вахтанговцев, году в 1947 или 1948-м, но до роковой ссоры двух Иосифов: Тито и Сталина; пьеса была посвящена борьбе югославов против Гитлера), из спектакля только эта фраза и врезалась в сознание. Я не удивился бы, если бы мне тогда сказали, что эта фраза всплывет в памяти полвека спустя, но и вообразить бы не смог, как слагаемые этого уравнения не просто переменятся, а перевернутся.

Когда в начале Первой мировой войны русские корреспонденты близко увидели в прифронтовой полосе тех самых сербов, из-за которых Российская империя втянулась в кровавую свалку, – они были поражены (и, по-моему, растроганы) тем, насколько неотличимы деревенские жители с берегов Савы от наших родных украинцев: парубки в вышитых сорочках, вислоусые деды в широченных шароварах, черноокие дивчины, которые смотрятся настоящими «Марийками или Тытянами из какой-нибудь Семипановки южного уезда Киевской или Подольской губернии».

Остается понять, почему при такой общности корней и вероисповеданий родные души в Киеве спят и видят, когда москали уберутся к себе в Московию, а в Белграде такие же родные спят и видят, что русский медведь придет и спасет.

Может, потому там и любят медведя, что он далеко?

Все просто, когда свист клинков Косовского поля сливается со свистом пули Гаврилы Принципа, заваливающего австрийского наследника. Но все сложно, когда эту ниточку – взаимотягу сербов и русских – пытаешься вытянуть из запутанного клубка истории. Это ведь не игра в пустом поле, где корни растут вольно, а вера сияет в чистых небесах, это именно свалка, где спутаны, сплетены, стянуты петлями интересы нескольких великих империй, каждая из которых способна претендовать если не на мировое, то на континентальное господство: Турецкая, Австрийская, Российская, Германская... А там еще и Британия, и Франция, и Италия, и Греция. И всем надо. И это никакие не идеальные стороны уравнения, у которых надо только докопаться до корней и докричаться до бога, – это стая хищников, кружащих около того из них, кто ослабел и кого можно порвать на куски.

В данном случае ослабела Турция. Вечный башибузул наших преданий, источник славянских слез, мишень номер один наших казачьих подвигов...

Вот я и хочу вдуматься в психологическое состояние служак Порты, у которых уже к XVIII веку мало что осталось от тех воинов, перед коими пали стены Константинополя. А в XIX? Когда при первых черногорских залпах из засады турецкие отряды бегут, не принимая боя! Когда только сборщики дани в городах пашалыка и помнят о могуществе державы, вгнавшей когда-то в страх всю Южную Европу. Да они Кемаля обоготовили только за то, что тот выкрутился из-под имперского статуса и вернул свой народ в национальные границы! И то курдский свищ до сих пор кровоточит.

Надо же вдуматься в психологию турок, еще недавно – «имперской нации», – чтобы представить себе состояние, в которое попадает народ, теряющий этот статус. Когда из-под ног уходит почва, из рук – наследие, собранное веками. Русские хорошо знают, что это такое. Так можно же понять и сербов, которые два века ценой кровавых восстаний и междоусобий сплачивали югославянскую федерацию, а она стала рассыпаться, «потому что все империи рано или поздно рассыпаются». Что же, утешаясь этим, они должны были созерцать этот процесс и пускать сопли умиления по поводу «всемирной демократии»? Или ценой зверских усилий спасать, что можно? Спросите у англичан в Ольстере, как у них там со всемирной демократией.

А как спасешь державу, как сплотишь ее, если и этническое единство, и общая вера изнутри разрывается? Попробуйте сложить в югославянскую сумму сербов и болгар! Да если даже они и договорятся, – им же извне помешают те самые львы, медведи и волки, на помощь которых они могли бы рассчитывать. Сталин-то с Тито почему разодрался? Характеры? Характеры – только оформление геополитической драмы. А дело в том, что едва забрезжил на наших южных рубежах предполагаемый союз Димитрова и Тито, – как Сталин понял: такая южнославянская громада вряд ли станет подчиняться его диктату. Пришлось ее в 1948 году упреждающим ударом ликвидировать.

Не укладывается балканская мозаика в створы племенных и вероисповедных конструкций. Слишком все непредсказуемо. Не угадаешь, с кем спасет братание и откуда грянет напасть. Кривые ятаганы с юга. Прямые танковые колонны с севера. «Точечные» бомбардировки с запада.

Как вертеться сербам под этими ударами? То им Москва – «город снов и идеалов». А то великую Сербию Йован Ристич выстраивает по германской модели (Леопольд Ранке вырастил-таки двух строителей: Ристича и Бисмарка). То сербы только и ждут, когда Александр II двинет Дунайскую армию против турок, и обещают присоединиться «в пять недель», а когда русско-турецкая война начинается, – пять месяцев тянут и уклоняются от боя, выжидая, что все сделается русскими руками...

Ох, эти счеты. В 1914 году именно из-за сербов ухнула Россия в мировую войну, в которой ей переломали кости, однако в 1941 году те же сербы преградили путь Гитлеру, и тот увяз на Балканах, и не в мае, а в июне смог ударить по Советскому Союзу, и не управился с блицкригом до русской зимы...

Попробуйте же скалькулировать эти увечья на юридических счетах. Да посмотрите повнимательнее на балансы Гаагского трибунала, где судят сербских военачальников за зверства при попытке сохранить державу, но не судят с таким же тщанием албанских военачальников за зверства в попытках державу развалить, – а ведь над последними тоже веет образ державы: кончающаяся в муках Порты.

Белградские демократы могут предъявить калькуляцию, заставившую их выдать своего бывшего президента; миллионные кредиты будут проедены; долларовая цифра останется в памяти – не как живительный дождь инвестиций, а как тридцать сребреников, за который был продан вождь.

Биляну Плавшич, экс-президента боснийских сербов, осуждают в Гааге на 11 лет тюрьмы. В той тюрьме – сауна, массажные кабинеты, манеж для верховой езды, зал для танцев (Биляне 72 года, ей только танцевать и остается). Нет, правда, в тюрьме бассейна для плавания, «узницы жалуются»: видимо, отсутствие бассейна нарушает их права человека.

Хочется сравнить это гаагское узилище с титовскими застенками, где бывшие усташы совали с головой в парашу бывших коммунистов... и подсчитывали количество доносов.

Вернемся лучше от этих калькуляций к тому «иррациональному» (и потому не подвластному никакой калькуляции), чисто-человеческому (и потому «необъяснимому») базису отношений, когда, несмотря ни на что, сербы говорят: вместе с русскими нас сто восемьдесят миллионов...

Впрочем, это в 1945-м.

В 2000-м, стоя на белградских мостах под гуманными американскими бомбами, они формулируют более современно: – Русские, не бойтесь! Мы с вами!

Они – грузины

Не так давно грузинская история обогатилась «картинкой», которая благодаря «телекартинке» оказалась сенсационным зрелищем для миллионов людей, никак с событиями в Тбилиси напрямую не связанных, но захваченных драмой почти театрально неотразимой. Толпы людей входят (или вламываются?) в зал парламента; президент пытается что-то говорить с трибуны, но отступает и движется за кулисы, облепленный телохранителями (или ведомый ими против воли?); какие-то депутаты пробуют сопротивляться, но убегают из-под занесенных над ними кресел (тех самых, на которых они только что сидели). Объявлена «революция роз», но роз не видно (розы вручены охранникам парламента, чтобы не преграждали путь), зато видны палки, которыми предводители вторжения крушат все, что стоит на столах.

Ретировавшийся из зала президент сочувствия не вызывает (его хитроумие всем надоело), но все-таки сердце сжимается при виде диктатора-оратора, мгновенно превратившегося в безвольного медлительного старика.

Заполнившая пространство возмущенная и ликующая масса никаких ясных лозунгов не несет, кроме одного: «Кмара!» – что означает: довольно! Долой! Надоело!

Что именно надоело, сразу понять трудно, зато видно, что молодая энергия бьет ключом (кажется, что основную массу восставших составляют чуть ли не подростки).

На какое-то историческое мгновение взоры человечества задерживаются на Грузии: что все это значит, как это истолковать, чем это может обернуться для того же человечества, издержанного дурными предчувствиями.

Комментатор, пытающийся осмыслить эти события, вынужден преступить некую черту, которая воспрещает вмешиваться в чужие дела и судить о том, что происходит в чужой душе.

Особенно остро должен ощущать грозящую бестактность русский наблюдатель, помнящий, что за десятилетием разборок и счетов с грузинами лежало у нас столетия прочного содружества.

Не буду пересказывать общеизвестное: оно не поможет обрести решимость и судить о том, в какой мере произошедшее вытекает из грузинского национального характера и куда оно потечет в створах этого характера дальше.

Я и не берусь рассуждать. Но имею возможность опереться на суждения человека, который, будучи сам грузином, не постеснялся осветить эту тему жестко и остро.

В октябре 1999 года в «Дружбе народов» была опубликована работа Георгия Нижадзе «Мы – грузины», с несколько извиняющимся подзаголовком: «Полемические заметки по поводу некоторых социально-психологических аспектов грузинской культуры».

Всех аспектов, конечно, не охватить. Но некоторые – самое время додумать.

Аспект первый: власть близкая и власть далекая.

«Грузин... проявляет лояльность по отношению к власти, находящейся на отдаленном расстоянии (султан, шах, император), но всегда оказывает сопротивление местным властям». Лейтмотив его политического поведения: установив хорошие отношения с далекой сильной властью, бросить силы на борьбу с местной властью, которая слаба.

Не надо думать, что выбор далекого покровителя в прошлом сводился к пасьянсу: султан, шах, император (я бы добавил сюда и генсека, но тут история осложняется тем, что генсек был грузином, и это особый сюжет). И теперь решаться будет не только вопрос о том, кто от Грузии дальше: русский брат или американский дядюшка. Но синдром обретает куда меньшую грандиозность (и куда большую драматичность), когда для абхазов или южных осетин «ближняя местная власть» ассоциируется с Тбилиси, а дальняя точка опоры – с Москвой. Но это еще более-менее привычно, а вот то, что аналогичный поиск далекой крыши начали демонстрировать аджарцы, прижатые к южной границе и вроде бы исторически притурченные и

несколько более затронутые соблазнами ислама, нежели грузины центра, христианство которых исчисляется аж с пятого века, – настроение аджарцев факт впечатляющий. Не уверен, что он побуждает к оптимизму, но к фатализму – точно. Ибо лежит точнехонько в «аспекте».

Аспект второй: *carpe diem* – лови минуту!

Георгий Нижарадзе пишет:

«Начиная с тринадцатого столетия... стремление к богатству и власти удовлетворяется в основном грабежом и войной. Переродившийся рыцарь, рискуя жизнью, добывает богатство, которое сразу же тратит... Экономить деньги бессмысленно; его убьют если не в ближайшей, то в следующей за ней войне. Богатство в основном проявляется в роскоши и поэтому тратится быстро, а показателем благосостояния считается обильное питание... Отношение к торговле – отрицательное. Торговля и коммерция носят «дикий» характер: обман, стремление к сиюминутной выгоде: продать «мало и дорого» (а не «много и дешево» как стало свойственно следующей эпохе)...»

На протяжении полутысячелетия так и не случилось сколько-нибудь долгого периода стабильности. Враг сменяет врага, хозяин хозяина. Вырабатываются стереотипы: уважение к индивидуальной власти, стремление жить сегодняшним днем.

«Существование тяжело и скудно, поэтому краткосрочные периоды спокойствия и изобилия используются максимально, дабы не потерять ни одной минуты, несущей плотские наслаждения».

Особых «плотских наслаждений» за последние десять-пятнадцать лет в жизни массы грузин не наблюдается. Напротив, плоть страдает: света нет, тепла нет, денег нет. А что есть? Взрывная интенсивность короткого дыхания. Романтический взлет надежды, не подкрепленной ничем, кроме желания взлететь, и немедленно. Что можно вспомнить по контрасту? Да, это вам не протестантский Запад, где веками учились строить далекие планы и рассчитывать на дальние сроки. Это вам и не многотерпеливая Русь, где веками привыкли выживать при непрерывно рушащихся надеждах. А тут – приходит к власти пылкий рыцарь-романтик и говорит: идите за мной, я знаю, что делать! Подавляющее большинство народа верит и идет. А через считанные месяцы тот же самый народ разочарованно наблюдает, как рыцаря скидывают с коня и изгоняют в небытие. Что изменилось-то? А ничего: надеялись, что в один день со свободой все сделается само: откроются границы, явятся войска НАТО, хлынет долларový дождь...

Ну а если бы все это состоялось? Тоже растрастили бы в один день: хоть один, да наш?

Перечитывая Нижарадзе, начинаешь думать, что и такое не исключено. В том числе и в будущем, путь в которое вроде бы усыпан розами.

Аспект третий: «пространство ответственности», сужающееся до минимума. До точки. Эта точка: я и мой круг.

Нижарадзе пишет:

«Создается впечатление, что для значительной части грузин понятие «Грузия» в лучшем случае объемлет природу, памятники культуры, привычный образ жизни, но не включает в себя других грузин. Мои (или моих ближайших родственников) интересы, а зачастую сиюминутные импульсы заведомо выше интересов всех остальных. Я в хорошем настроении, достал оружие и палю в потолок, кому какое дело?! Воровство в принципе надо осуждать, но если близкий мне человек украл, я не пожалею сил, чтобы спасти его от заслуженного наказания. Родину следует защищать, но своего сына я в армию не отпущу».

Весьма узкое «пространство ответственности» охватывает в основном круг семьи, родственников и друзей. Страна, Родина – ценности абстрактные и на долгосрочное поведение влияют мало. Грузин в чужой культурной среде может приобрести международное признание, а на родине стать жертвой мелких интриг и глупой амбициозности.

Конец карьеры Эдуарда Шеварднадзе побудил политологов, комментировавших это событие (в частности, в программе «Кавказские хроники» на радио «Свобода»), к таким даль-

нобойным рассуждениям: грузины вообще лучше реализуют свои творческие потенции вне Грузии, на чужой почве, в «чужой игре». В этом они похожи на евреев, армян. Может, это компенсация «сужающейся ответственности»? Дома, в «своем кругу» так тесно, так трудно, что надо вырваться на простор, И тогда...

Пример из эпохи, когда Россия обеспечила Грузии «сравнительно стабильное положение», но так и не могла справиться с особенностями ее менталитета:

«Один грузинский князь, проводивший время в кутежах и неге, в духане убил человека в драке. Его сослали в далекую российскую губернию, где он своим трудолюбием и честностью заслужил всеобщую любовь и уважение. Обучил население шелководству и огородничеству, вскоре стал советником губернатора по хозяйственным вопросам. Но достаточно ему было возвратиться на родину, как он вновь окунулся в водоворот прежней жизни и в очередной драке был сам убит».

Надо ли перечислять грузин, на мировой арене сделавших умопомрачительные карьеры? Сталин, конечно, приходит в голову первым, но ведь и Шеварднадзе, обаявший мир с трибуны ООН в качестве министра иностранных дел сверхдержавы, смотрится куда лучше, чем в роли живущего в ожидании покушений президента маленькой страны.

«У грузинского дворянства с его склонностью к разгулу, с узким временны́м и пространственным горизонтом, чванливостью, нерасчетливостью, отголосками кодекса рыцарской чести, инфантильным индивидуализмом не было будущего».

У русского дворянства тоже не было будущего. Но по другой причине: русский комплекс противоположен грузинскому: мы распинаемся непременно за весь мир, отвечаем непременно за все на свете и в конце концов отвечать за себя не успеваем...

Аспект четвертый: грузины – баловни Советской власти.

Давайте сразу абстрагируемся от фигуры Сталина, который, несмотря на свои грузинские корни, гробил грузин не меньше, чем остальных. Некоторые даже считают, что он был по характеру больше осетин (пошел в отца), но это тоже слабое утешение: для грузин-то он был – грузином! И любили они его за те чисто грузинские черты, которые в нем видели (или ему приписывали).

«Сталина любили не вопреки тому, что он уничтожил миллионы людей, а потому, что он олицетворял свободное от любых ограничений своеволие». То есть за «примат собственных желаний над общими нормами поведения и, как следствие, нигилистическое отношение к законности».

Вот отношение это: когда не закон защищает человека, а человек, уврачиваясь, защищается от закона, – высвечивает советскую жизнь вообще и жизнь грузин при Советской власти лучше, чем национальные корни того или иного сверхдержавного вождя.

Речь идет об адаптации грузин к общесоветской двойной морали.

Георгий Нижарадзе пишет:

«Выработанный в Грузии «социокультурный ответ» на специфические «правила игры» позднетоталитарного режима... оказался настолько адекватным, что рискну сказать: 60-80-е годы в истории нашей страны (то есть Грузии в составе СССР. – Л.А.) можно считать одним из самых беззаботных периодов... Мир и прожиточный минимум были гарантированы, источники добывания денег многочисленны, культурная жизнь (в узком смысле слова) была ключом... улицы были полны улыбающихся, доброжелательных людей. Проблемы, конечно, были: коррупция, наркомания, преступность и многое другое, но практически их никто не воспринимал как свойственные грузинской общественности пороки».

Когда все это кончилось и настала пора отрезвления, истина обнажилась: минимум гарантированного благополучия был платой за отказ от свободы; обретя свободу, грузины расплатились отказом от минимального благополучия. За все надо платить, вот в чем горе.

Так когда тысячи молодых людей кричат: «Довольно! Хватит! Долой!» – они что имеют в виду: долой диктатуру или долой свободу?

А это выясняется, когда новый «хозяин» захватывает место «старого».

Аспект пятый: магия материнства – инфантильность отпрысков.

«Психологическая реакция на... постоянную тревогу, беспорядки, неопределенное будущее... порождает в душах воспитателей... мощный мотив – с максимальной полнотой использовать возможности тесных взаимоотношений с малолетним ребенком и передать ему свою любовь, создать комфорт».

На первом месте – Мать.

Чувство юмора продиктовало Георгию Нижарадзе – по поводу известного памятника Матери-Грузии – тонкий вопрос: а где находится и что делает отец?

Вместо ответа можно напомнить, что памятник сооружен на пьедестале, где ранее стоял Отец Народов.

Какое детище может произойти от таких родителей?

У детища два жизненных мотива: индивидуальная безопасность (комфорт, – уточняет Нижарадзе) и сила, доминирование, хотя бы иллюзорное (уточнено: своеволие).

«Неудовлетворение этих потребностей вызывает агрессию, которая до определенного момента накапливается скрытно».

Потом наступает момент.

Интереснейшее сравнение: моральный вакуум, исказивший души позднесоветского поколения, в русской среде заполнился «армейской моралью», которая оказалась свойственна и преступной среде: для русских молодежных банд (формулирует Нижарадзе) характерны: твердая возрастная субординация, жесткая дисциплина, обязательная физическая подготовка, склонность к коллективному насилию...

Добавлю, что эта жесткость (чтобы не сказать: свирепость) русской самоорганизации – не что иное, как попытка преодолеть природную мягкость, расслабленность и учуянную Толстым склонность к ненасилию. Толстому, как известно, «зеркально» ответил Ленин, создав твердокаменную партию.

Что же у грузин? Чем они компенсируют духовный вакуум? Куда деваются молодые люди, мечущиеся между стремлением к самостоятельности и привычкой жить в комфорте? Что с ними происходит?

«Бурный эмоциональный бунт против режима, жадное поглощение всего, доселе запрещенного, полное, абсолютное игнорирование того, что независимость и свобода связаны с чувством ответственности, растерянность, тоска по «хорошей жизни», раздражение против всех и вся, ругань по адресу «старого хозяина» и одновременно ожидание от него помощи, сплошная дезорганизация, поиски «нового хозяина» и чуть ли не надежда на личное вмешательство Богородицы...»

Богородица-то далеко, так далеко, что эта крыша и впрямь может показаться наилучшей. Розовые кусты ближе. Правда, они с шипами Георгий Нижарадзе постарался эти шипы ощупать. Статья его читается (перечитывается) с ощущением сбывшегося дурного предчувствия и вместе с тем – с ощущением заводной талантливости народа, упрямо идущего своим путем по дороге, отнюдь не усыпанной розами.

Остается пожелать ему выйти к тем ценностям, без которых не выжить в XXI веке, и при этом остаться самим собой. Иногда это удается.

Капсулированный дух

Раньше... раз в неделю ангелы на небесах на вашем языке Бога славил, а теперь вы на земле друг друга понять не можете.
Отар Чиладзе, «Годори»

Когда тридцать лет назад Отар Чиладзе (блестящий грузинский поэт того, послевоенного, поколения, которое в русской части увенчалось именем «шестидесятников») опубликовал свой первый роман (чем не только вписал свое имя в ряд ведущих прозаиков позднесоветской эпохи, но и положил начало новому в грузинской литературе жанру, названному по аналогии с латиноамериканцами мифологическим романом), тогда сюжетный исток он отыскал в легендарной эпохе аргонавтов, явившихся в Колхиду искать золотое руно.

«Годори» – новый роман Отара Чиладзе (теперь уже патриарха грузинской прозы), где продолжено осмысление истории, заложенной аргонавтами (и доведенной в «Железном театре» до рубежа двадцатого столетия), – начат с того эпизода Средних веков, когда папа Пий Второй, вознамерившийся выгнать османов из Византии, стал искать союзников и послал некоего Лодовико из Болоньи в страну Грузию, которая по книгам и легендам была известна как христианская твердыня, прославленная рыцарским благородством и воинской доблестью. Вышеозначенный Лодовико, с трудом и риском добравшись до места, на вышеозначенном месте Грузии не обнаружил. Вообще.

Ни твердыни, ни рыцарей, ни воинов. Название есть – Грузии нет. «Географическая фальшивка. Исторический абсурд».

Этот эпизод в новом романе Отара Чиладзе не просто начинает повествование, он мерцает на всем его протяжении как символ, хотя ткань состоит из самоновейших впечатлений жизни, навеянных уже эпохой послесоветской независимости, казалось бы, далекой от времен Пия Второго и его несостоявшегося крестового похода.

Османь только начало – «чудовище, нагрянувшее из необъятных и таинственных азиатских просторов... новорожденный дракон с не окрепшими еще зубами, уже отхвативший краешек Европы, отведавший ее белого мяса и облизывающий окровавленную пасть».¹

Интересно, что монгольский дракон, нагрянувший из тех же просторов тремя веками раньше (и отхвативший у Европы Русь), остается за пределами романа (хотя и сказано вскользь, что именно нашествие монголов «полностью разрушило и развалило гордую страну»). Зато подробно описано чудовище, проглотившее Грузию через триста лет после вояжа Лодовико из Болоньи.

Вот оно: «Наши несчастные цари очнулись только тогда, когда их страну, расплзшуюся на лоскутья при грузинском Александре Первом, собрал воедино русский Александр Первый, причем собрал во чреве великой империи... дабы впоследствии Грузия явилась миру исключительно из ее заднего отверстия...».

Если бы в данном случае речь шла только о Грузии, даже в ту пору, когда она входила в состав СССР, а Отар Чиладзе был представителем многонациональной советской литературы, я трижды подумал бы, прежде чем комментировать этот образ, а уж теперь что там говорить, когда Грузия полтора десятилетия как выпала из чрева, то есть из утробы, то есть из задницы чудовища.

Но поскольку чудовище – Россия, я чувствую себя вправе на этот образ отреагировать. Начиная, не взывайте, с задницы.

¹ Перевод с грузинского Александра Эбаноидзе отмечен изяществом, казалось бы, труднодостижимым, если учесть переизбыток полифонии прозы Отара Чиладзе. См.: «Дружба народов». 2004. № 3-4.

Из того же места по той же логике вышли и явились миру не только грузины, но все народы, попавшие во чрево, и прежде всего сами русские, то есть восточные славяне, а также финны, татары и другие племена, выстроившие общую державу. Почему только грузинам такая честь? Я, как русский человек, прошу справедливости.

А теперь от заднего отверстия продвинемся к передним, поближе к извилинам.

Строили грузины общую державу или не строили?

Не буду трогать Сталина: он хоть и был одним из самых беспощадных тиранов в истории, однако же остался и самым великим грузином, попавшим на арену истории, это его соплеменники хорошо знают. Но дело даже не в нем. Как вообще изъять грузин из истории Великой Отечественной войны? Может, фильм «Отец солдата» – иллюзион? Может, они и впрямь так чувствуют нашу историю, как Иона во чреве кита? Как что-то, доносящееся издалека?

Когда-то у другого грузинского «шестидесятника», Нодара Думбадзе, меня резанула интонация, с которой он заметил: война стала нас интересовать больше, когда немцев отогнали от Москвы... По цензурным условиям семидесятых годов я не мог даже намекнуть на свои чувства, вернее, как-то глупо намекнул, пока мне не объяснили (грузины в частном разговоре), что для Илико и Илариона та война и впрямь была интересна лишь «постольку-поскольку». Наверное, надо быть благодарными Отару Чиладзе, что он, перечисляя значимые даты новейшей истории Грузии (1921-й, 1924-й, 1937-й, 1956-й – легко понять, почему взяты именно эти даты), все-таки оставил в перечне и 1941-й.

Про 1812-й молчу. Слишком близко к Александру Первому. Багратион не поможет. Относительно Багратиона в романе – четкий и конкретный ответ. «Московская колония... Мы, грузины, своей волей не возвращаемся... Мы мазохисты. Нам нравится мучить себя ностальгией. Украсим свое эмигрантское жилище на грузинский лад – тушинским ковриком, мингрельским чонгури, шрошской глиняной утварью – и кричим со слезами на глазах: вот чего нас лишили, вот как мы возлюбили здесь то, чего не любили там...». А Багратион при чем? А при том, что кому служил, те его могилу вместе с памятником взорвали на Бородинском поле. И трон Багратионов до сих пор гниет в каком-то залитом водой подвале Санкт-Петербурга... А пока грузинские царевичи кончали жизнь академиками иностранных академий, в Грузии распоряжались пришлые. (Следите за именами.) Генерал-майор Готлиб Курт Хайнрих фон Тотлебен. Тот, который «навсегда сорвал с петель северные ворота Грузии, превратив ее в проходной двор...».

Я ценю, что на роль главного вредителя Отар, видимо, ценя самолюбие русских, подставляет немца, но остается все тот же проклятый вопрос: а сама Российская империя, сложившаяся на путях из варяг в греки и из турок в поляки, – не сквозной ли проходной двор? По определению! А определение это – разве не парафраз все того же желудочно-кишечного тракта? Что все-таки здоровее для мировой истории: тракты или тромбы? И если бы тракт не проложили подданные Александра Первого (русского), где гарантия, что его не проложили бы подданные какого-нибудь другого вершителя судеб?

Этот вопрос задают себе грузинские интеллектуалы. В романе один из них подступает с претензиями к французскому консулу в Тифлисе тех самых александровских времен: «Вы объяснили русским стратегическое значение Гагрской бухты с прилегающими территориями и тем самым обрекли Грузию!» На что месье Жак Франсуа Гамба отвечает: «Я объяснил это не русским, а вообще... тем, кто владеет этими землями».

Опять-таки: спасибо, что в роли беса – француз. А все-таки чудовище Российской империи тут как тут. Но там и еще куча чудовищ. Не те проглотят, так эти. Меня, однако, интересуют не чудовища вообще, каковых много было во времена Гамба (а потом будет еще больше). Меня интересует чудовище конкретное, родное, именно – Россия в оценке одного из умнейших грузинских писателей.

Вот его оценка: «Опасность подстерегала Россию... и она должна была прикинуться мертвой, чтобы одурачить доверчивый мир, а затем восстать из мертвых – мощней и жесточе, чем прежде».

Поначалу я опешил: как это «прикинулась»? Десятки миллионов угробленных, голод, разруха, искоренение культурного слоя – это притворство? И большевизм, который выносила интеллигенция в своих расколотых мозгах, – тоже притворство?

Да, отвечает Отар. «Тактический ход». Искусство отвлекающих расколов. Раскол интеллигенции на революционеров и охранителей. Раскол революционеров на меньшевиков и большевиков. Раскол большевиков на троцкистов и сталинцев...

И все это – сплошная имитация ради спасения империи?!

А потом я подумал: свершившегося не воротишь, но если наш грузинский друг думает, что русские спасли свою державу именно таким хитроумным способом, – не стоит его убеждать. Никто еще не воздавал нам должного таким экзотическим способом.

А что прикидывающаяся мертвой Россия исходит в романе зловонием – так это нормальная художественная краска. Стерпим. Тем более что соотечественников своих Отар изображает куда беспощаднее, чем русских. И обвинены во всех бедах Грузии у него прежде всего сами грузины. Подлецы и предатели «на то пошли, то и сделали, – говорит он. – Но и мы им ни разу не помешали».

Роман Чиладзе помогает вдуматься в эту чисто грузинскую драму, хотя и в новое время тут не обходится без нашего брата. Появляется урядник, и пока доверчивый грузин-пастух пасет свое стадо на горных пейзажах, «гость» наглým образом крутит роман с его женой. Дело кончается, естественно, поножовщиной. Все это: и блудный грех, и кровавую расправу – наблюдает младенец, засунутый в годори.

Годори – большая плетеная корзина. Обычно ее носят за спиной, а тут использовали как клетку для ребенка, которого отец не успел зарезать, а зарезать хотел, так как не был уверен, что это его ребенок.

Следите далее за превращениями этой корзины, неспроста она дала название роману.

События идут своим ходом. Сын несчастного пастуха (или наглого урядника?), вылезший из своей капсулы, вырастает таким же беспощадным отбросом и беспощадным бандитом, какие кучкуются в эту пору и в революционной России. Парень едет туда, по дороге находит себе жену, такую же «интернационалстку», как он сам (между прочим, казачку), и где-то «на полпути», в кустах, она рождает ему сына – будущего все сильного палача-особиста, которому суждено особенно прославиться в 1937 году: в чекистских подвалах собственноручно расстреливать врагов народа.

Теперь вопрос уже не в том, сколько поколений этого проклятого рода сменится в грузинской реальности: имена Ражден и Антон искусно чередуются в романе, и вы не всегда понимаете, что говорит и думает свирепый особист, а что – партийный идеолог, сжигающий свой партийный билет на митинге в честь независимости, как исповедуется крутой адепт этой самой независимости, а как – правоверный комсомольский вождь, пытающийся это движение возглавить. Важно, что тут действует проклятый род, выползший из годори, из корзины, из скорлупы. Пока это семя не пресечется, Грузию не спасти.

Собственно, сюжет романа и состоит в том, что продолжатель порченого рода должен быть убит. Убит – рукой собственного сына. Облегчая развязку малым сим, автор романа втягивает их во внутрисемейный грех, кладя в одну постель свекра и сноху. При этом мы следим не за фактическими событиями, которые предсказаны изначально и описаны многократно под разными углами зрения от имени разных участников, причем не всегда понятно, кто именно опустил топор на голову обреченного, кто этот топор подал, кто подначил... Не это важно, а важно то, что мы все время обкатываем в сознании ту мысль, что род, появившийся в резуль-

тате греха и преступления, должен через грех и преступление пресечь сам себя и тем очистить Грузию.

Если грузины, расслабленные духом, участвовали в этой порче, то они ее и должны исторгнуть, иссечь. Сломать годори...

Вы следите за мелодией?

Преемники Тотлебена и Гамба подначивают: «Запираться в собственной скорлупе равносильно самоубийству... У пролетариата нет родины, его дом весь мир».

Но плыть в мир – значит эмигрировать, отвечают доверчивые простаки. Значит, эмиграция есть не что иное, как спасение в ковчеге...

Но это закон естества, вступают умники. «Червь, прежде чем обернуться бабочкой, вылетевшей из кокона – то есть из той же корзины! – с большевистской решимостью запирается в слизистой кашнице своих отходов...»

Но этот кокон – не что иное, как «раквина бесправия, безответственности и бездеятельности» (догадывается недавний червь); ни в сверкающем отцовском лимузине, ни в закрытых специях, ни в провонявшей спермой школе, ни в заплыванном семечками университете отпрыск не может освободиться от ненависти к отцу, этой «окуклившейся гусенице большевизма».

Но гусеницу ведь тоже жалко, «у нее не остается ни малейшего шанса на спасение... Вывалянная в пыли, она отчаянно извивается и ползет, не зная куда... Она смахивает на маленький короб, крохотную котомку...».

Мать-Грузия созерцает все это с гордым спокойствием, сидя в кресле, – «царица в изгнании, уместившая все свое богатство в базарной кошелке...».

Спасти это богатство сможет лишь тот, кто будет подобен ученому Эвктиме Такашвили, который в феврале 1921-го ловко пронес в ящиках мимо жадных большевиков «бессмертные двадцативековые сокровища своей родины, спасенные радением обезглавленных царей и цариц с истерзанными грудями». Он верил, благородный Эвктиме, хранивший эти ящики, что «бесконечно терпеливый Господь еще раз соберет его родину... еще раз замесит, как глину, и вдохнет в нее – теперь уж навсегда – душу, спасенную упрямством старого хранителя...». Лейтмотив завершается: «Растаскивали родину, кто как мог – кто в горсти, кто в хурджинах... Но как бы страна ни ужалась, ни скукожилась, в ней сохранятся ее сокровища, ее бесценный клад». Годори – скорлупа – кокон – ковчег спасения – ковчег завета – котомка – кошелка – хурджин – клад – ящик со святынями... Чувствуется в романисте Чиладзе неумирающий поэт: роман его читается как симфония – череда стихотворений в прозе.

Но ведь не только! Картина современной грузинской жизни тоже видна сквозь поэтический кристалл. Посему, оставив на время капсулированный дух, из которого бесконечно терпеливый Господь должен, как бабочку из кокона, извлечь новую Грузию, посмотрим, что происходит сегодня в некогда родной нам стране.

Итак, вчерашний коммунист демонстративно сжигает партбилет на митинге в Университетском сквере (сквер, как мы знаем, еще в советские времена заплыван шелухой от семечек). В эпоху завоевания независимости щелканье семечек переносится на ступени Дома правительства. Юные демократы плюются, курят, выпивают, требуют свободной любви, по ночам лазят друг к дружке в спальники, а по утрам, выбираясь из спальников, не вполне еще одетые, кричат: «Долой Российскую империю!»

Дождавшись сумерек, они вновь разбредаются если не по спальникам, то по подъездам, подвалам и чердакам в поисках кайфа, а те, что кайф словили, вымотанные, словно американские негры на плантациях, сидят на корточках перед подъездами и вдоль тротуаров – вечные зеки в ожидании бесцельного конца.

Вряд ли эти ловцы кайфа вслушиваются в крики радикалов, но по существу составляют с ними фатальное единство.

Умница-интеллектуал делает вывод: «Урон, который не смогла нанести диктатура, наносит демократия». Умница понимает: крики против власти, морали, обычаев и традиций отвечают исключительно физиологическим запросам и поэтому не могут быть рационально оспорены. Интеллектуал догадывается, что страной по-прежнему правят замшелые партократы, срочно перекусившие в православных верующих, или пришедшие из Народного фронта комсомольцы, отпрыски тех же партократов.

Когда безумный отпрыск убьет безумного родителя, умник останется наедине со своими проклятыми вопросами. Отар Чиладзе относится к его философствованию сочувственно, но в этом сочувствии есть оттенок жалости, а иногда и презрения. Традиционный аристократ, когда-то проводивший жизнь в забавах соколиной охоты, в революционное время становится под чекистский прицел и с усмешкой говорит палачу: «В стране, захваченной такими подонками, уважающему себя человеку нет места». А интеллигент, прославившийся на всю страну своей неподкупностью на адвокатской стезе, – когда и его очередь доходит умирать от чекистской пули, падает на колени: «В чем угодно сознаюсь, все признаю, только не убивайте...».

Надо ли объяснять, почему палачом в обоих случаях выступает выкормыш того самого рода Кашели, который происходит от пущенного в доверчивые грузинские чресла семени наглого казака-урядника?

Но когда этот род сам себя изведет, что останется? Что делать умнику с дураками? Допустим, российско-советский человек – чудовищное извращение, своего рода гомункулос, искусственно созданный марксистскими алхимиками и вылупившийся из красного яичка идеологии, – существо недолгое, одноразовое, пожирающее не только мир, но и самое себя. Но как быть с людьми, освобожденными от морока марксистско-российской алхимии? Что сможет им сказать и куда их поведет умница-интеллектуал?

Бога вспомнит? А знает ли он Бога? Как и другие герои романа, он чувствует: «Кто-то распоряжается их сознанием». Но кто? «НЕКТО». «Некто свое дело знает». «На небесах все решено и подписано». То есть и крики, и митинги, и разгул – все предопределено. Можно, конечно, сказать, что это Бог. Чтобы дальнейших вопросов не было. Вот так же марксист-очкарик говорил: законы Истории, а чекист с маузером повторял это за ним. Исламский экстремист, доходя до последнего довода, ссылается на Аллаха, после чего дальнейшие вопросы теряют смысл. «Божья воля», – говорят в стране, где раньше раз в неделю ангелы славили христианского Вседержителя. «Такая планида», – говорят. И еще: «Господь не только судит нас, но и направляет... Разве то, что случилось, случилось помимо Его воли?!» «Антон, сын Раждена Кашели, – всего лишь орудие Господа». «Разумеется, и топор ему вложила в руки высшая сила».

Если же интеллектуал не успел клириколизироваться после атеистической выварки, он говорит: «Сама жизнь». То есть: «Сама жизнь медленно, но верно вползает в тупик... Никому не под силу воспрепятствовать этому естественному процессу, пока еще раз не замкнется магическое кольцо жизни и смерти, пока сама природа, если угодно, Великая Мать Ева, прародительница рода человеческого, не решит, стоит ли начинать новый круг...».

Чем кончится движение по кругу?

«Вообще-то, по совести, тухлое человечество и не заслуживает лучшего». «Если вы уже не могли или не хотели жить, зачем было нас рожать?» «Человек никогда не ошибается один, но, увы, всегда один несет ответственность за общую ошибку».

Беря на себя эту ответственность, причем в самом материальном, физически выраженном варианте, интеллектуал (прославленный писатель Элибар, в значительной степени alter ego автора) берет винтовку и идет на войну.

Война – с абхазами. «Самая бессмысленная, которую сам черт уже не разберет, кто начал и для чего».

Его на этой войне не убьют. Убьют – последнего из рода Кашели, того самого, кто казнил своего отца, а теперь ищет смерти. В духе той фантазмагии, которая и изначально сопровождает этот выношенный в годори род, он не просто пляшет на бруствере – он пляшет, поставив на голову бутылку, – предлагает абхазским снайперам тест на меткость, а заодно и на чувство юмора.

Возможно, абхазы оценили бы юмор и прицелились бы в бутылку... но, как на грех, в их окопе оказывается комсомолка из Мурманска. Снайперша эта наводит оптический прицел и простодушно снимает плясуна выстрелом в корпус, подумав только: странные эти грузины, совсем не маскируются.

Рыцарь по натуре, Отар Чиладзе не позволяет себе возненавидеть эту русскую комсомолку; ее веснушки, описанные с отеческим пониманием, рифмуются с веснушками обольстительной Лизико, той самой, которая грешила со своим свекром.

Можно подумать, что русская снайперша безгрешна.

Она-то, может, по наивности и безгрешна, но в Абхазию она приехала потому, что ей приглянулся кубанский казак, такой же, как она, доброволец.

Казак этот похаживает в дедовских штанах с лампасами, в фуражке набекрень, с карманами, полными семечек. «За одного грузина – одна горсть семечек!» – дразнит он влюбленную в него снайпершу, и снайперша замирает от нежности: «Дурачок! Дурачок. Дурачок...».

Что делать умному грузину-интеллигенту с дурачком, если в том оживет дух старорежимного урядника? Идти дальше по роковому замкнутому кругу? Что делать с духом нации, когда дух закапсулирован? Остаться в скорлупе, в ковчеге, в коконе, с запертыми воротами, перекрытыми путями, забетонированными границами?

А выйдешь на свободу – там «тухлое человечество», то есть зверинец: в покое не оставят, не пожалеют, не пощадят. Копытами забьют. Как комара, прихлопнут.

Война так война, думает писатель Элибар, соображая, что делать с выданной ему винтовкой. «Маленький комар одолеет хворую лошадь, если, конечно, маленькому комару поможет большой волк...».

Отдаю вам должное, батона Элибар: вы не помянули медведя. С ролью хворой лошади нам придется смириться. А волк... волк, конечно, не петух, так что месье Гамба может оставаться в своем Париже. Когда же в облике волка появится какой-нибудь герр Тотлебен, мы постараемся дать выход его инженерным талантам: поручим ему оборону Крыма... если, конечно, Крым не вывалится навсегда из нашего общего годори.

Хант с ракеткой

В какую бы глушь таежную ни завел нас неутомимый северянин Юрий Блинов, в какую бы непролазную тундру ни загнал, – однако у этого зубра геологоразведки всегда маячит на горизонте Буровая.

К ней, спасительнице, бредет, проваливаясь в снег, ненец Пяк Канлий – просить бензина: надо срочно вывезти народ со стойбища, потому что снега выпало много, олени падают от бескормицы, а если нет оленя, то нет и ненца.

«Моя тот гот толго помнит, однако», – сформулирует позднее Пяк, но не решится довести до вывода ощущение, что тундра столько же покорена, сколько покорежена. Прежде хозяином Севера был оленевод-абориген, а теперь – пришлый инженер, который живет на буровой и надевает кеды, когда надо поиграть в настольный теннис. Видно, кто тут главный.

Однако и в буреломах тайги идет свой спор о том, кто главный: сладивший избу охотник или гуляющий вокруг избы медведь. Охотник уважительно зовет медведя Хозяином, но и он, и его бесценные собаки знают, что рано или поздно медведь будет затравлен, подстрелен и ободран, а шкура его пойдет в подарок начальству. Медведь же, спокон веку уверенный, что главный в тайге – он, выследив, когда охотник с собаками отойдет проверять капканы или затоны, – вламывается в избу, ломает мебель, вываливает на пол из схронов съестное, что может, сжирает, а на остальное накладывает недвусмысленно пахнущую кучу. На войне как на войне.

Однако и на станции, где хоронятся от стужи ученые мерзлотоведы, ласково зовущие свое пристанище Мерзлоткой, – тоже идет борьба за главенство. Из кутка очаровательных щенят один, что покруче, вымахивает в крепкого кобеля и, почувствовав свою силу, начинает грудью налетать на собратьев, отталкивая их от кормушки, а то и норовя вцепиться в глотку.

Однако налетает он на зимующую в доме кошку, и та, вместо того, чтобы спастись бегством, вцепляется псу в морду, норовя выцарапать глаза, так что хозяева дома с трудом отдирают ее от ошалевшего пса. Борьба за существование.

Так водит нас Блинов-рассказчик то по следам зверей, чьи повадки осмысляются людьми, то по следам людей, в чьих повадках проглядывает что-то звериное. И еще проглядывают тут немножко Сетон-Томпсон и немножко Юлиан Семенов... нет, не автор Штирлица, а молодой Семенов, сибирско-таежный, однако.

Зверскому у Блинова противостоит человеческое, и чем пейзаж глуше, тем это человеческое важнее. В тайге все при ружьях, любой любого может угробить, поэтому есть неписанный закон: встречного ни о чем не спрашивать, а угостить. Захочет – сам расскажет.

И медведь вовсе не обязательно задерет охотника, либо будет охотником завален и ободран. Вот подходит к косолапому Пяк: «Мишка-медведь! Моя говорит с тобой, мол. Уходи, убьют! Уходи, пока цел!» И зверь мирно ковьялет прочь.

Тут уж и Арсеньев проглядывает, его незабываемый Дерсу Узала, заговаривающий зубы уссурийскому тигру.

Однако в рассказах Блинова есть нечто еще более интересное.

Тот Пяк, который в снегу по ноздри добредает до Буровой (они у Блинова все Пяки, ибо живут в низовьях Пякипура, и все, наверное, родственники: и тот, который уговорил медведя, и этот, который как старейшина рода пытается вывести свой род из заснеженной тундры к поселку), так вот, этот Пяк приходит на Буровую и просит:

– Мастер! Выручи. Моя плохо. Дай бензину, однако.

Мастер, в полном соответствии с законами рынка, отвечает, что бензин стоит дорого. И вообще Мастеру некогда, он спешит на тренировку, уже надел кеды.

И тут находчивый ненецкий вождь предлагает ему сыграть в пинг-понг на спор. Ставка – канистра бензина.

– Да ты умеешь, что ли? – искренне веселится мастер, поглядывая на таежные доспехи гостя.

– Мал-мало умею, однако, – отвечает тот и берет ракетку.

Не буду проследивать перипетии этой славной спортивной баталии, скажу только, что мастер ее проиграл. Посрамленный, он отдал ненцу канистру бензина и проводил его с Буровой спасать гибнущий род. И даже трактор послал – проторить в снегах дорогу.

Не буду также тревожить тени предтеч, проторивших Блинову дорогу в сюжет, когда от спортивного поединка героев зависит некое доброе дело (ну, скажем, если выиграет мексиканец боксерский бой, то у повстанцев будут деньги на оружие).

Однако там за граница и джек-лондоновские штучки, а тут родимая Буровая и снегу по ноздри.

Да как же это дремучий ненец в кисах, с охотничьей резьбой по моржовой кости на рукояти ножа, со священным поясом под кухлянкой, выигрывает партию в пинг-понг у мастеровитого геолога?!

Разгадка: «Мастер и в мыслях не мог держать, что какой-то зачуханный ненец был десять лет назад чемпионом края».

Ничего себе справочка! Много становится ясно. Десять-то лет назад не исчезла еще инерция Советской власти, поклявшейся принести в эти тундро-таежные края современную цивилизацию: переселить кочевых оленеводов и лесных рыболовов-охотников в постоянные поселки, надеть красные галстуки на шеи юных граждан национального округа, разогнать вековую тьму, дать погонщику упряжек в руки вместо длинного хорея томик с короткими хореями Пушкина. А самым ловким – ракетки для пинг-понга.

Думали ли тогдашние цивилизаторы, что ловкого мальчика-теннисиста изберут вождем племени и что много лет спустя этот вождь, посасывая трубку и поглаживая священный пояс, подумает о проигравшем ему инженере: «Не зная броду, не суйся в воду, однако».

Прогресс человечества зигзагами идет, однако.

Нашенское

«Наша колонизация имеет вид клина, слабеющего на своем конце в исконных землях желтых народов. Этим слабеющим концом является Уссурийский край».

Вл. Кл. Арсеньев

Прославленный автор повести «Дерсу Узала» адресует это предупреждение Дальневосточному крайкому ВКП(б) за два года до своей смерти – в 1928 году. Жанр – далекий от захватывающих записок путешественника: доклад, или, как сказали бы теперь, докладная записка.

Доклад на крайкоме заслушали и – закрыли. В спецхранении он пролежал три эпохи; в общедоступной печати появился в 90-е годы – стараниями архивистов, историков и краеведов (из которых назову ярко талантливый Борис Дьяченко).

Тревога заставляет перечитывать арсеньевскую записку сегодня.

Он видит три этнические силы, угрожающих на пороге 30-х годов русскому (то есть советскому) присутствию в Приморье: японцы, корейцы и китайцы.

Эти силы меж собой далеко не солидарны. «Япония стремится объяпонить Корею и окорейчить Южно-Уссурийский край». Оценим писательский постав пера и вникнем в ситуацию.

Япония – главная опасность. На своих островах она задыхается от перенаселенности, но, отделенная морем, неспособна к тихой экспансии, а вынуждена рассчитывать на вооруженную агрессию.

Для 1928 года – прогноз безошибочный. На целое десятилетие вперед.

Корейцы – хоть и «ближе к японцам, чем к нам, – антропологически, этнографически и психологически», – однако отличны от японцев в плане государственного мышления. Кореец – усердный работник, приживающийся на том клочке земли, куда заносит его судьба. Он не готов жертвовать собой за какую бы то ни было власть: ни за японскую, ни за нашу (добавляет Арсеньев с обезоруживающей прямоотой). Да и никакое перенаселение корейца к нам не гонит.

А если гонит его власть предрешающая, – добавлю я, имея в виду страшный опыт XX века (напомню, что именно корейцы стали первым при Советской власти репрессированным народом), – так и в изгнании проявляют корейцы замечательную способность добиваться успехов и в хозяйстве, и в культуре; назову хотя бы двух Кимов: Анатолия и Юлия, ставших корифеями русской прозы и поэзии).

Но это не источник возможной экспансии на Дальнем Востоке. Сама Корея, рассеченная Второй мировой войной и обескровленная кровавым междоусобием на рубеже 50-х годов, вряд ли способна к конфронтации на державном уровне, тем более что такую конфронтацию готовы предупредить американцы. Как неспособна к тому и нынешняя Япония, получившая в 1945 году разгром армии от нас и ядерный нокаут от тех же американцев.

Остается Китай, вышедший из мясорубок XX века с относительно меньшим уроном (Тайвань).

«Наши землеробы прижались к китайской границе», – пишет Арсеньев, справедливо относя этот факт к геофизическим особенностям региона, мало пригодного к окультуриванию, – если не считать, конечно, этого самого приграничья. Но ведь и китайцы от веку предпочитали эксплуатировать его, так сказать, вахтовым методом. Охотничья стоянка, торговая пристань. Пришли, ушли. Опять пришли.

В русских публикациях, посвященных освоению Сибири, запечатлен безлюдный край, сквозь который Хабаров и Поярков проходят, как сквозь пустое место. Оно что, всегда было таким безлюдным? Сто лет спустя регулярные командиры, сменившие казачьих первопроход-

цев, бомбардируют петербургских бюрократов рапортами об открытии «новых» земель. Они что, и впрямь «новые»?

Смотря для кого. Для нас – новые. Как и для «всей Европы». В 1851 году какой-то французский китолов, вынужденно зазимовавший там, где теперь красуются наши города, дает знать в Париж, что открыл великолепную бухту и присвоил ей французское название. Вскоре и англичане, караулящие в Желтом море нашу эскадру (которая скрылась от них по случаю Крымской войны, разразившейся на другом краю света), тоже залетают в эти удобные бухты и дают лучшей из них английское название.

И землю эту делят, как воздух. Что по Нерчинскому трактату, что по Пекинскому договору – границы рисуют на картах, так что много придется корячиться, когда дойдет дело до маркировки этих границ по болотам и буреломам, где, как заметил тот же остроумный Арсеньев, «единственный инженер путей сообщения – это медведь».

Но с чего же это столь соблазнительный край отдан медведям?

«По древним китайским источникам берега нашего побережья в старину были густо населены...»

Это я уже не Арсеньева цитирую, а Николая Матвеева, знаменитого некогда дальневосточного краеведа (между прочим, родного дедушку не менее знаменитой ныне нашей поэтессы Новеллы Матвеевой).

«...Многочисленные памятники, найденные здесь (нами! – Л.А.) служат подтверждением упомянутых китайских источников».

Куда же делись люди?

Ссылаясь на те же китайские летописи, Матвеев говорит: земли обезлюдели из-за «войн между китайцами и корейцами».

Не знаю, как у корейцев, а у китайцев эти земли на старинных картах обозначены как китайские. И в сознании они – китайские. Спокон веку. Независимо от трактатов и соглашений.

Наше же осознание Матвеев в своем очерке 1910 года датирует тем моментом, когда в 1860 году граф Муравьев-Амурский простирает над заливом губернаторскую длань и, не дожидаясь официальной санкции Петербурга, нарекает место, коему французы со своего бока наклеили имя Посьет, а британцы со своего бока – имя Мэй (китайцы же издревле знают, что это Хайшеньвэй), – наш основатель града объявляет русское его имя: Владивосток.

Сто сорок три года спустя судьба привела меня в этот град. (Судьба действовала через русский Пен-клуб, который был приглашен участвовать в международной писательской конференции «Экология и слово», а конференция – запланирована в рамках Первого Европейско-Тихоокеанского конгресса по проблемам глобализации и взаимодействия в сфере культуры, технологии и природоведения).

Эти проблемы я оставляю сейчас за рамками моего сюжета с тем, чтобы передать «мистическое» самоощущение от этих семи дней, прожитых мною на острие описанного когда-то Арсеньевым клина.

Амурский залив. Гладь воды, крутые бока сопков. Гостиница «Амурский залив» у самой кромки. Вереницы автобусов. Вереницы китайцев. Ходят группами, весело перекликаясь, – по берегу, по тротуарам, по коридорам. Встретишь взгляд – улыбка. Мгновенная. И тут же глаза – мимо тебя. Ни интереса, ни общения. Я вдруг замечаю, что хоть умом и натаскан на «желтую опасность», и в газетах читаю про «тихую агрессию», и что товары на базаре сплошь китайские, – сам убедился, – однако «шкурой» никакой опасности не чую. Они идут «сквозь меня», не замечая, и я – «сквозь них», не замечая. Разные пространства существования.

Вернее, пространство одно, а вот время – разное. Наши – четверть тысячелетия; сто пятьдесят лет назад зацепились, закрепились. А они тут – тысячи лет. Наш приход для них – как атмосферный фронт, или как вспышка какой-то биологической популяции. Ее надо переждать, как пережидают сезон дождей или эпидемию. А потом вернуться и жить.

Они и возвращаются, и живут, проходя в поры нашего лихорадочного обустройства. Даже не «возвращаются», а именно «продолжают жить». Никаким «отвоеванием» тут не пахнет: китайцы – не японцы.

А вот если мы согнемся, сопьемся, скопытимся, унесем ноги, исчезнем, сгинем, – в китайской летописи появится невозмутимая строчка.

У нас же выпадут в архив: лихорадочные депеши Муравьева царю, что надо опередить англичан, да такая же лихорадочная («Промедление смерти подобно!») опьяняющая фраза Ленина, что хоть и далекая земля, а нашенская.

Ненашенское?

Испепеленные в Нью-Йорке небоскребы продолжают падать в сознании землян. Из откликов первого дня уже можно было составить том. Теперь это уже не том, а полка. Будет и библиотека, если, конечно, катастрофа Всемирного торгового центра окажется подтверждена в ходе дальнейших мировых событий как рубежная черта. И если не случится чего-нибудь такого, перед чем побледнеют авиатараны 11 сентября.

Первые отклики были поразительны по импульсивной откровенности. Людей просто вывернуло от потрясения, они не корректировали реакцию. Один наш телеведущий, например, успел смонтировать такую экранную заставку к своим комментариям: самолет врывается в дом на Новом Арбате... я говорю *успел*, потому что эта картинка появилась в эфире, когда нью-йоркские небоскребы еще дымились. Это же как надо было спешить, чтобы «отметиться», пока никто не перехватил «находку».

Не знаю, куда потом делся этот телеведущий. Может, переживает где-нибудь.

Другой властитель дум – в Гамбурге – объявил, что самолеты, врезающиеся в небоскребы, – мечта художника. О таком апокалиптическом хеппенинге можно только грезить. Запись монолога этого артиста воспроизвел в журнале «Родина» Валерий Сердюченко (2002/2), заметивший с чувством законного удовлетворения, что гамбургские власти выставили-таки оратора вон из города. Сердюченко мог бы заметить и другое: покидая Гамбург, художник (он же – теоретик авангарда, постмодерна и прочих закидонов современного самовыражения), сказал своим гонителям:

– Но ведь я много лет проповедовал вам эти идеи, и вы мне аплодировали!

В ответ можно было только промолчать. Потому что действительно аплодировали. Пока апокалиптические видения, навеваемые публике критически мыслящей личностью, не обернулись реальностью, под обломками которой погреблось несколько тысяч личностей, мысливших не столь критически.

Теперь об отклике самого Валерия Сердюченко. Его статья имеет восточный «прицел», она озаглавлена «К востоку от политкорректности» и увенчана цитатой из Киплинга: «Запад есть Запад, Восток есть Восток, и вместе им не сойтись...»

Хочется откомментировать и заглавие, и цитату.

Политкорректность – принятый на Западе моральный стандарт, пресекающий высокомерие «развитых» культур по отношению к «развивающимся» и «неразвитым». В известном смысле это – эгалитарное насилие над Аполлоном Бельведерским, которого приравнивают к печному горшку. Но помимо чистого политеса, тут есть и бытийная правда. Ромео и Джульетту знает весь мир; Халидо и Халерха известны только специалистам. Но это не значит, что любой итальянец или британец, которым Шекспира разжевали и в рот положили в школе, стоят на уровне Шекспира, а чувства влюбленных в народе одул, от которого остались считанные избы «где-то в поле возле Магадана», становятся тусклее оттого, что им не досталось мировой огласки. Поэтому я не склонен иронизировать над политкорректностным гандикапом, который, по мнению Сердюченко, чем дальше к востоку, тем большую ярость вызывает у народов, ощущающих на себе снисходительность политкорректоров.

Киплинг вроде бы таким слабительным нас не потчевал, но я все-таки процитирую его чуть дальше, чем Сердюченко: «Да, Запад есть Запад, Восток есть Восток, и с места они не сойдут, пока не предстанут небо с землей на страшный Господень Суд. Но нету Востока и Запада нет – что племя, родина, род, если сильный с сильным лицом к лицу у края земли встает!»

Великий британец произвольно высвечивает ситуацию как тупиковую. То есть мы должны смириться либо с тем, что конец света уже при вратах, и Страшный суд вот-вот гря-

нет, либо с тем, что судьбу мира будут решать «сильные», единоборствующие «у края земли». Ни с тем, ни с этим смириться невозможно. Не единоборствующие супермены символизируют конец света, и даже не девятнадцать шахидов-летчиков, надевших в воздухе смертные повязки... Не на этом уровне решаются судьбы мира.

А на каком?

Чтобы почувствовать это, взгляните на снимок Мекки в дни Хиджры с птичьего полета. Миллион душ, стиснутых в критическую массу! Вот динамит светопреставления... «то, что изначально, генетически», на уровне «хромосомно-рибонуклеиновой решетки» сопротивляется у Сердюченко западной политкорректности.

«Ты когда-нибудь бывал в Афганистане, читатель?» – спрашивает он и рассказывает, что проработал там четыре года. За это время он вывел такую закономерность: прожив бок о бок с афганцами некоторое время (два-три года), «европейские специалисты и их улыбочивые хозяева начинают тихо ненавидеть друг друга...»

Ну а дальше – взрыв, война против «шурави» и позорное поражение Советской державы...

Я в Афганистане не бывал. Но знаю, что в войну нас против нашей воли втянули сами афганцы. И проиграли мы там во многом потому, что против нас встал Запад. Теперь Запад пожал свои же плоды в лице талибов, и порядок Америка вынуждена там наводить куда круче, чем пытались мы. Мы-то, прежде чем втянуться там в войну (против воли), обучали афганцев в институтах, строили в «каменной пустыне» заводы и дороги.

Дороги – еще одна художественная петля, накинутая пером Сердюченко на горло глупого западного цивилизатора, – портрет этого цивилизатора исполнен настолько мастерски, что я напому:

Он просыпается в одной из двух спален, пьет сок манго, набирает на компьютере серию команд, и в его автомашине сама собою распаивается дверца, заводится мотор, включается бортовой кондиционер. Он мчится по одностороннему хайвею в свой офис, где подключается к Интернету и шлет постинг и месидж своему знакомому на противоположной стороне континента. А в телевизоре он видит, как толпа босоногих оборванцев штурмует миссию ООН в одной из восточных столиц с требованием убираться в свои америки и европы.

Интересно, удастся ли в XXI веке проложить «односторонние хайвеи» через «каменные пустыни» земного шара и продолжит ли Валерий Сердюченко передавать свои статьи из Львова в Москву по электронной почте? Или, как в XVIII веке, – на волах? Судя по фамилии (да и по темпераменту) Валерий Леонидович пращурами – добрый запорожский козак. Я подозреваю, что пращуры его «изначально генетически» вряд ли испытывали восторг от контактов с генерал-губернатором Потемкиным, когда тот по одностороннему хайвею мчался через их края в свой офис на юге Державы.

Или веком раньше, когда пращуры «бок о бок» с московскими послами пререкались с ними из-за жалованья.

Или еще веком раньше, когда они, сопротивляясь реестру Стефана Батория, спали и видели, чтобы тот убрался в свои европы.

История человечества неисправимо трагична. Но она едина – что к югу, что к северу, что к западу от политкорректности.

К востоку – само собой.

Кое-что о навигации

Выступление на Круглом столе «Мировые вызовы и национальная идентификация» (Владикавказ, осень 2001 г.)

Возможно, что мы ошиблись в точности формулирования темы нашей дискуссии. Но мы не ошиблись в одном: в том, что пилотажное обсуждение этой проблемы решили начать на Кавказе.

Кавказ – место в истории цивилизации уникальное. В том смысле, что во все эпохи эта цивилизация «напарывалась» на Кавказский хребет. И орел именно сюда летал клевать печень Прометея за то, что тот дал людям огонь. И для гонимых русских поэтов именно Кавказ стал второй родиной. Кавказ – это место, где живут малые этносы, не теряющие своего лица ни при каких обстоятельствах. Никогда Кавказу не угрожало усреднение.

У Липкина в повести «Декада» есть такой диалог. Человек спрашивает кавказца: «Из какого вы ущелья, товарищ?» То есть тут всегда найдется ущелье, в котором можно сохранить себя, свое лицо, свои традиции. Можно, конечно, гоняться друг за другом с оружием. Но можно и сотрудничать, сохраняя при этом свое лицо. Ибо Кавказ – не только Стена, разделяющая племена и народы. Это еще место встречи неусредненных субъектов культуры. Место встречи людей с Востока и Запада, с Севера и Юга. Если хотите, это полигон, где глобализм испытывается на прочность – особенно остро еще и в силу знаменитого кавказского темперамента. Здесь такие проблемы обсуждать интересно. Хотя и небезопасно.

Хотя обсуждать можно где угодно. Можно приехать в Ханты-Мансийский автономный округ и спросить у любого местного рыбака: «Вот у вас геологи тут открыли газовое месторождение, через вас прокладывают газопровод. Как вы к этому относитесь?» Он скажет: «Они мне мешают ловить рыбу. Я тут веками ловлю рыбу, а через газовую трубу мне бросает вызов какая-то новая современность, и я не знаю, как мне теперь ловить рыбу...»

Где угодно можно это обсуждать. Проблема универсальна. Она стоит во всем мире, и предельно остро. Если моделировать самый болезненный аспект этой проблемы, то примерно так. Земной шар пестр. Пустыни не похожи на леса. Север не похож на юг. Естественным Божиим порядком все люди на Земле разные, и отсюда большое количество народов. И тут какие-то люди от имени глобальных ценностей навязывают этому пестрому миру общие порядки. Мир стерпеть этого не может. Вы хотите все унифицировать? Не выйдет! – вот реакция. И какие бы замечательные достижения ни демонстрировал этот новый современный порядок, на местах он будет встречать импульсивное сопротивление. А не сотрет ли это наши физиономии? А не оторвет ли это нас от нашей почвы? Этот вечный в истории человечества вопрос приобретает сейчас болезненную остроту.

Я понимаю, что невозможно организовать протест против заседания Большой семерки просто потому, что людям захотелось собраться вместе и кидать камни. Конечно, организаторы подобных действий такие же глобалисты, но только противоположного направления. Они хотят, чтобы мировой порядок определялся не в Вашингтоне, а в других центрах. В Куме, например. Или в Москве. Или в Лондоне. Но опираются они – на совершенно естественный инстинкт человека. И этот инстинкт человеческий, который в каждом из нас живет: не потерять лицо, помнить своих отцов и дедов, не давать сдвинуть ничего из того, что нас создало, – этот естественный инстинкт сопутствует любому современному вызову. Но такие вызовы есть двигатель истории, без них история исчезает.

Получается, что и те и другие правы.

Как быть? Что, непременно все современные мировые вызовы производятся от имени всечеловеков, которые не помнят своего родства? Я рискну ответить: да. Это так. Там, где и

когда появляется мировая держава или возникает мировой проект, на острие его оказываются люди, которые вынуждены быть всечеловеками. Чингис-хан собирался дать порядок Вселенной. Он вовсе не собирался сделать Вселенную татаро-монгольской – он думал о Человечестве. Или возьмите Наполеона. Он вовсе не хотел, чтобы мир стал французским. Он просто хотел предложить миру Гражданский кодекс, образ правления. И он, великий полководец и убивец, считал, что именно гражданский Кодекс куда важнее всех его военных побед. Но, правда, Гитлер тоже предлагал миру новый порядок. Но он мыслил его исключительно как немецкий. И потому мир его отверг.

Что касается современного вызова, то именно всякое представление о глобализме ассоциируется сейчас с американской культурой. С атлантическим глобализмом. Это подкрепляется еще и тем, что на всех экранах демонстрируются чудовищные боевики, которых лучше бы не было, потому что когда киношники моделируют, что самолет врезается в небоскреб, то лучше бы они этого не моделировали. Тем не менее американская культура сейчас – в положении некоего наднационального проекта, который навязывает человечеству самого себя. Человечество знает, что это не национальный проект, а наднациональный, и оно сопротивляется. И не без оснований. По существу-то американцы никакие не глобалисты. Это их «правлящая верхушка» оказалась в этой ситуации у мирового руля. По существу же, одноэтажная Америка так же традиционна, как все мы. У них тоже свое любимое прошлое. У одних – ирландское, у других – мексиканское, у третьих – негритянское. В Америке тоже все достаточно разное, и никакого сверхсознания они не изобрели, потому что, как и все мы, хотят прежде всего быть самими собой. И выросли-то они к тому же в изоляции, в отдельности, в замкнутости Западного полушария. А сейчас, втянувшись в мировую историю, вынуждены играть сверхчеловеческую роль.

Как нам на это реагировать? Мы ведь тоже уже целое столетие втянуты в подобную же роль. Причем сейчас нам даже несколько легче, чем американцам. Мы тоже были носителями мирового сознания, которое никогда не было только русским или чисто русским. Оно было мировым, вселенским, коммунистическим, но не узконациональным. А теперь мы вступили в эпоху, когда всякая реакция на такой проект непременно окрашивается в национальные тона. И мы сами должны стать русскими, чисто русскими, только русскими. И есть опасность, что мы перестанем быть теми русскими, которые были дороги всему миру именно своей всеотзывчивостью, своей мечтательностью, хотя, конечно, своими дурными химерами мы тоже вписали кое-что в мировую историю.

Так вот, прежде всего, нужно понять, что же эти мировые проекты несут конкретно. К ним нужно относиться очень трезво. Думали, что если построить много небоскребов и больших самолетов, то будет комфортно жить и легко перелетать с места на место. Что получилось? В сентябре мы все увидели, с доставкой на дом через мировое же телевидение.

Думали, что если сделать Интернет и передавать любой текст на ту сторону земного шара, то на той стороне земного шара будут это читать. Вовсе нет: некогда людям все это читать. Размывается литература в графомании, пропадет ощущение отбора и качества, пропадает ощущение литературного процесса. Интернет – как гигантский забор, на котором каждый пишет, что он хочет, и все идут мимо, не вникая.

Осуществили клонирование. Думали: если данная супружеская пара не может родить, то мы ей поможем. Чтобы каждый мог иметь детей и чтобы человечество плодилось и размножалось. Однако сообразили, что клонировать можно что угодно, но только не личность. Личность остается под вопросом. А ведь в личности – разгадка.

Так вот, вопрос состоит в том, что если и то, и другое – в законе и если ответ на мировой вызов в виде национального, традиционного упорства и упрямства, которые не поддаются этому вызову, если и то, и другое – в природе человека, – как быть?

Неправильно думать, будто конфликт между фундаментализмом и глобализмом – это конфликт между будущим и прошлым, между цивилизацией и антицивилизацией, или между цивилизацией и культурой (так тоже можно сформулировать в ответ Шпенглеру). Все не так. Вопрос поворачивается другой плоскостью. Невозможно отдельному человеку сейчас сотворить то, что сейчас творят террористы. Низовые чувства с неизбежностью комбинируются в ту или иную глобальную опасность. Я понимаю, что в сердцах у такого рода «традиционалистов» пылают совершенно естественные национальные чувства. Но эти чувства все равно ищут себе крышу. А она в пределе – глобальна. Получается вовсе не столкновение между цивилизацией и антицивилизацией, получается – перераспределение глобальных геополитических сил, особенно острое, когда неизвестно, где окажутся центры. Вот мы и находимся сейчас как раз в точке перераспределения, в точке, так сказать, бифуркации. Когда все может лечь так или эдак. И куда вложить «традиционные» эмоции, не всегда ясно.

Полвека было известно: вот центр – Америка, вот центр – Россия. Между ними – напряжение: все, у кого были силы, вписывались в ту или эту систему силы. Где будут теперь точки напряжения? Если ислам претендует стать центром силы, так это что будет – национальное движение? Не будьте наивны: ислам – сверхнационален, точно так же, как был сверхнационален коммунизм. Как сверхнациональна американская модель цивилизации. Это все драмы мировой истории. Но от этих драм трещат чубы у людей, и трещат со вполне национальным треском. И как бы мы, воспитанные в марксизме, ни относились к этому – думали, что отомрет, – но реальность такова, что этноориентация неизбежна, каждый раз приходится становиться на ту или иную сторону.

И вот последний вопрос, который я хочу задать себе и вам. На чью сторону становиться сейчас интеллигенту? На сторону глобалистов, которые сулят светлое будущее цивилизации, искоренение пороков и предубеждений, или же на сторону националистов, которые противодействуют этому сближению всего и вся, этому стиранию всяческих границ?

Я бы ответил на этот вопрос так. Можно было бы искать среднюю линию, если бы процесс шел однолинейно-последовательно и без крайностей. Но поскольку процесс идет галсами и то и дело залетает в такие края, что не приведи господь, я бы привел в пример яхтсмена, который тоже идет галсами. И каждый раз, когда он поворачивает яхту вправо и она ложится на правый борт, он сам отваливается в противоположную сторону и висит над левым бортом. А когда яхта поворачивается налево, он, чтобы сохранить равновесие, отваливается и висит над правым бортом.

Вот так и интеллигент. Он должен чувствовать, когда начинается националистическое безумие, – тогда он должен отваливаться на сторону цивилизации, на сторону глобальных ценностей, на сторону мировых ценностей. Но если начинается безумие всемирных ценностей, которые стирают напрочь все национальное и культурное, вот тогда интеллигент должен становиться на сторону национального.

Господи, дай мне разум понять, кому больно, дай мне силу помочь тому, кому больно, дай мне стойкость вынести, если не смогу.

Госпожа Удача

Там еще и покруче: «Ваше благородие, госпожа Удача...» В 1970 году еще не принято было щеголять обращениями царского времени. По тем временам – откровенный вызов. И вложено – в уста белого офицера, которому предписано погибнуть под кинематографическим «Белым солнцем пустыни». Хороша удача... Горечь и ирония, если не усмешка – в таком повороте. Тонкая аристократическая дерзость – стилевой знак, по которому узнается Булат Окуджава. И еще что-то есть в подтексте: «удача» – явно не из советского психологического набора. Не на том строим, не на то ставим...

А теперь и в журнале «Родина» и в Вестнике актуальных прогнозов обсуждается проект, озаглавленный «Удачи XXI века». Первый вопрос, который приходит в голову: а что, теперь не от труда нашего, не от решимости, не от воли нашей все зависит, а от удачи? Как судьба ляжет?

А в прошлом? Какими словами это обозначалось в эпохи, которые «за шеломянем»? Шанс? Фарт? Талан? Ищу корни. Первый – от французов, второй – от немцев, третий от турок... А родное что? Успех?

Это слово: «успех» – лет восемь назад предложили мне откомментировать сибирские социологи. Смысл вопроса: нельзя ли «успех» положить в основу нашей мироориентации, заменив им свежеподмоченную тогда «идейность» и давно подмоченную «веру»?

Что-то, однако, мешало мне безоглядно поставить «успех» во главу угла. Может, то, что «успех» этот самый в предпринимательски-конкурентном контексте предполагает продвижение индивида в ущерб другим? За счет других? Не обращая внимания на других? Как-то это не по-русски, что ли...

Да и какой успех мог пригрезиться в самой середине 90-х годов, когда интеллигентская эйфория от упавшей на нас Гласности стала испаряться, а свобода поносить власть, причем, любую (это же главная радость нашего вольного человека... как будто власть не от нас же) кессонным давлением вышибла из меня всякую мысль об «успехе».

Теперь-то, оборачиваясь, вижу: все-таки в той ситуации вывернулись, выкарабкались. Немного пришли в себя к рубежу веков.

Четыре года, прожитые в новом веке, вряд ли позволяют судить о самом веке, но о последнем десятилетии века ушедшего – вполне. Если по вехам: 1991 – распад страны, изумление, оторопь, дурные предчувствия... 1993 – распад власти, отчаяние, бессилие: дальше некуда, теперь или сгинем, или, оттолкнувшись, начнем всплывать... 1998: дефолт... а это что за зверь такой? Э, нет, нас не возьмешь, мы уже оттолкнулись, выплываем...

В сущности, на всех этапах решается один и тот же вопрос: как развязать инициативу, если при этом ослабляется устойчивость? Где тут успех, а где расплата? Страна неизбежно должна была сбросить панцирь, спасший ее в эпоху мировых войн, но что делается со страной без панциря?

Или, в другом ключе: права человека замечательно ценная вещь, но что с ними делать, если не бережен сам человек, его жизнь?

А в одиночку – как его бережешь?

Освобождение каждого – через освобождение всех? Или освобождение всех – через освобождение каждого? Спор марксистов столетней давности... Кто прав?

Права каждый раз ситуация. Стоит вам шевельнуться в вашем «индивидуальном бытии» – как вы чувствуете на шее хомут «государства», но стоит вам из этого хомута выскользнуть, как вы начинаете искать «крышу», то есть в пределе – тот самый хомут.

Когда-то это называлось: диалектика.

Я не хочу еще и еще раз решать головоломку: был ли распад Советского Союза следствием расшатывания советской психологии (и головокружения интеллигенции), или само это

головокружение (от успехов Гласности) и расшат союзных структур – следствия геополитических потрясений, фатально охватывающих мир при переходе к третьему тысячелетию? Я просто хочу понять, где мы. Как будем расплачиваться за существование? И в каком виде намерены существовать?

Разве кто-нибудь хотел распада страны? Горбачев – хотел? Да он крутился, как кучер на бешеной тройке: и поводья надо ослабить, и в кювет не слететь. Я ему сочувствовал, я был даже с ним согласен, только одно мучило: ведь не удержит... И не удержал.

Ельцин, что ли, хотел распада? Да он его получил готовеньким, ему не до жиру было – только бы остановить дальнейшее падение. Он был малоэлегантен как президент, он раздражал «людей со вкусом», но вопрос-то стоял только один: удержит ли? Удержал.

Распад России теперь остановлен. Или приостановлен – боюсь предсказывать. Это главная, спасительная, может быть, единственная пока эпохальная УДАЧА, которым наградило нас начавшееся тысячелетие. Мы можем и дальше кричать все, что хотим, на всех перекрестках. Но только при условии, что есть, где кричать, кому кричать и о чем кричать. Есть Россия. Любой крикун может через слово повторять, что виноват Кремль, и поносить президента. Не будет России – и кричать будет не о чем.

А перекрестки, на которые сейчас выводит нас история, не легче тех, через которые она нас проволочила в XX веке. Перекрестки такие, что и имени не подберешь. Сплошные псевдонимы. «Юг против Севера». «Глобалисты» и «антиглобалисты». «Международный терроризм». Язык не поворачивается связать «глобализацию» с «Севером», как раньше связывали нечто подобное с Западом. Или совместить «терроризм» с «исламом».

Да ведь сложнее все в геополитике. Ислам – не источник, а только форма. Без всякого ислама в XIII веке лавина монгольских всадников дошла до Европы. Ислам может «санкционировать» такую энергию, или, как сказал бы Гумилев, такую пассионарность, но рождается она и ищет выхода – там, где огромные массы людей уверены, что им не прокормиться без насилия.

Где место России в этой переделке?

И там, и тут. И в Европе, и в Азии. И на Севере, и на Юге. Как раньше – и на Востоке, и на Западе.

Удачна ли эта позиция? Как повернуть...

Пересматривая фильм «Белое солнце пустыни», нынешние культурологи говорят вовсе не о юморе красного воина, который пишет письма своей русской хозяйшке, и не о точеной красоте басмача, имеющего гарем, и даже не о песенке, сочиненной для белогвардейца знаменитым бардом. Другое выявилось в фильме: именно – то, что ни на бытовом, ни на бытийном уровне не смешаться, не слиться русскому и среднеазиатскому опыту в нечто всечеловеческое.

Будет диалог. Взаимоупор. Взаимообмен. Взаимонужда.

Для этого Россия должна крепко стоять на своих ногах.

Да не покинет нас в этой новой ситуации Госпожа Удача.

«Прежде здесь проходил караван...»

Не знаю, что околдовало меня тогда в строчке Хасана Туфана. Может, ледяной озноб, через который душа поэта прошла в лагере прежде, чем по Оттепели вернуться к жизни. И вынести этот полыхающий жар пустыни, этот холод, через который идет караван истории и замирает в забвении. Пронзили меня мощь и бесстрашие стиха, в котором стынет жар и горит лед. С мирным пейзажем Казани туфановский стих вроде бы не соотносился: «караван из Багдада» ступал по облаку. В страшном сне не привиделось бы в ту пору все, с чем суждено было ассоциироваться Багдаду полвека спустя. Но что-то таинственно роднило в туфановских строках запредельный пылающий Багдад и оттаивающую Казань.

Оттаивающую – потому что дело происходило в пору ранней осторожной Оттепели; я служил тогда в «Литературной газете», в ее неперменном отделе братских республик; по младости мне «республики» доверить боялись и держали на «автономиях», среди которых самой влиятельной была Татария, татарская литература. Но и ее мне не решались отдать под единоличную ответственность: отчеты со съездов и форумов казанских литераторов я писал не один, а вместе с собкором Булатом Гизатулиным; работали мы душа в душу (кажется, впоследствии, уйдя из газеты, он стал министром культуры республики).

Сквозь выверенные узоры социалистического реализма едва улавливались отсветы легенд: падение казанской царицы с башни... подкоп немецких инженеров-«розмыслов» под стены... взрыв, штурм города... Кое-как уравнивались «эти и те» легенды; копия «суюмбекиной башни», возведенная в Москве, украсила в свой час Казанский вокзал, породив два города железной дорожной связью. И еще была саднящая параллель: взятие Казани – взятие Рязани (три века раньше), сроднившее прыжок татарской царицы с башни (на самом деле этого не было, но легендой стало) с прыжком русской княгини со стены обреченного города (было и стало легендой). Две женские беды сплетались в одну.

В общем, ехал я в Казань через полвека после давних «литгазетовских» набегов со смешанным чувством радости и тревоги: что там теперь? «Что там» – я немного знал и из печати, и из телерепортажей, когда праздновалось тысячелетие города, и президенты жали друг другу руки, а на заднем плане сверкающими иглами пронзали казанское небо минареты новой мечети, – каковую картинку в 1958 году я не мог бы себе представить иначе, как вкупе с миражным видением багдадского каравана, волею великого поэта оказавшегося «здесь».

И вот я стою перед минаретами, пораженный изяществом и величием мечети, возведенной недавно в пределах Казанского кремля. Это не та красота, что падает на тебя из недоступности, не та мощь, которое обезоруживает тебя, например, в Тадж-Махале. Здесь все как-то ближе, человечнее. Может, оттого, что хоть архитектура и «держит канон», но в декоре сплетаются и дышат линии татарского народного орнамента. Пораженный этим соединением величия и душевности, я слушаю рассказ экскурсовода. О том, что здесь – в считанных шагах отсюда – стояла когда-то старая деревянная мечеть. О том, как преграждая дорогу опьяненным яростью воинам Иоанна, встал на ее пороге мулла. Кажется, у Нечволодова в «Сказании о Русской земле» эта жуть обретала мистические масштабы; мулла встает на пороге мечети с Кораном в руках – протягивает завоевателям Священную Книгу в надежде, что она пробудит в них человеческие чувства, а завоеватели рубят все: и книгу, и муллу... Здесь, на пороге своей мечети, Кул Шариф принял смерть: умер на груди тел и был сволочен в общую яму...

Как мне вместить все это, как выслушивать это, как жить с этим? Вот я знаю, что «те» татары совсем не «эти», и тринадцатый век – не шестнадцатый, и племена перемешиваются, и имена перебрасываются... И те половцы, от которых происходят (по версии этнографов) нынешние, вот «эти» татары, – были союзниками русских князей, когда на Калке русским приказали от них отойти...

Кто приказал? Кто в тот роковой час пришел в эти степи под стягами Чингиза? Кого винить и перед кем каяться, если русские как народ сложились в конце концов (по версии Ключевского) из всех трех составляющих: из славян (с их эмоциональной импульсивностью, спонтанностью чувств и соответствующей чувствам непредсказуемостью), из финнов (с их мистической глубиной и таинственностью духа) и из татар (с их ясностью рассудка и талантом государственности)? Я наследую им всем – как я разрублю душу на части?

А как я расчленю надвое это «татаро-монгольское» чудо-чудище, которое «упало» на нас, как мы до того «падали» на греков – неведомо, откуда и непонятно, за что? (Понятно-то было – им, татарам, которые гнались за половцами, а налетели на русских). А нам – понятно ли? Мы – можем ли объяснить себе хотя бы то, что назвали «иго» татаро-монгольским (непонятно как соединив Темучина, вышедшего из «китайской бездны», с племенами, которые со времен «Слова о полку...» с нами братались и роднились?)

Ах, понятно же и это. Верхушка ордынского войска – монголы, они там и стратеги, и тактики. А солдатское мясо нашинковано из побежденных племен, и именно эти первыми лезут на приступ, их боевым остервенением выстилается путь, неважно уже, за страх или за совесть дерутся под стенами городов и на караванных путях эти покрытые кровью воины – по первоочевидности – «татары». Они и запоминаются – в схватках, пока «монголы» в белых юртах соображают, кому какой улус облагать «федеральными налогами».

Темна, страшна история. Смешивается пролитая кровь встречными потоками. Блуждает боль. Надо брать на себя эту боль, эту кровь, эту непоправимость. Надо поправлять, выправлять, вправлять вывернутые кости.

Царь Иоанн доламывал: на месте уничтоженной мечети приказал возвести православный собор.

Советской власти все эти мечети и соборы были по хрену: в каменном основе собора (закрыв фрески) она разместила архив (хорошо еще, не склад боеприпасов).

Постсоветский Президент Татарстана оказался перед выбором. Доламывать? Достраивать? Восстанавливать? Что: мечеть? Собор?

Он принял решение, выверенное с микронной точностью. Одновременно подписал указы: один указ – строить новую мечеть... не восстанавливать старую, уничтоженную когда-то, а строить новую – в память о мученике Кул-Шарифе – рядом. Рядом с тем местом, где стояла старая, а теперь стоит – собор. И другой указ – собор восстановить (выселив архив куда следует).

Я стою под сводами восстановленного Собора, всматриваясь в ожившие на фресках лики, – а в сотне шагов от меня простирает к небесам минареты ожившая мечеть. Я знаю, сколько слез и крови пролито на этом пространстве в сто шагов. Сколько сил еще нужно приложить, чтобы эти сто шагов стали частью тропы, соединяющей нас?

«Прежде здесь проходил караван... Караван из Багдада большой...»

Что смешалось в «Доме Ростовых»?

«Дом Ростовых» – журнал, учрежденный Международным сообществом писательских союзов. Редакция находится в старинном особняке, описанном Львом Толстым в «Войне и мире» и известном в Москве как «Дом Ростовых».

Раньше журнал такого типа (и такой толщины) назывался «общественно-политическим и литературно-художественным». У этого подзаголовок короче и конкретнее: «Литературная жизнь Евразии».

В передовой статье говорится (постав пера выдает руку главного редактора Феликса Кузнецова): настроения людей на постсоветском пространстве ощутимо меняются; деструктивные явления уступают место стремлению восстановить культурные связи...

«Дом Ростовых» – предлагаемое место для таких новых творческих встреч.

Я думаю, что только будущее покажет, что из этого получится. Все зависит от очередного поворота колеса Истории. От того, во что превратится «парад суверенитетов»: в «базар суверенитетов», в «музей суверенитетов»? Может, обернувшись, скажут словами Толстого: все смешалось. А может, его же словами: все переверотилось и начинает укладываться. А уложившись, все сделаются счастливо похожи друг на друга. Или несчастливы – каждый по-своему.

Может, инициированное казахстанским академиком Джангаром Пюрвановым «Великое Сокрестие Континентов» заново свяжет шелковыми путями человечество XXI века, растерявшее себя в обломках века XX. А может, по Льву Гумилеву (и по Арнольду Тойнби, и по Николаю Данилевскому) пойдут народы от очередного перекрестка каждый к своему концу («у каждого свое»).

Нынешняя книжка журнала (казахстанская по вектору) замечательна по составу авторов и по кругу идей. Не обозревая всего, я сосредоточусь на работе Шуги Нурпеисовой «Культура – государство – традиция – личность», потому что своими трудами уважаемая Шуга Абдижамилловна уже снискала среди казахов (и не только среди них) славу своеобразной Степной Пифии, блестяще и фундированно отстаивающей «казахский путь» в мировой истории (позволяю себе эти характеристики, потому что читаю ее давно и даже написал десять лет назад предисловие к ее первой книге). Теперь же – откомментирую не казахский аспект ее философствования, то есть не то, что значит для Евразийской перспективы Сары-Арка, матушка Степь, а то, чего может ждать в этой перспективе матушка-Русь.

Концепция Шуги Нурпеисовой такова.

Суверенитет – понятие призрачное, исчезающее перед лицом необходимости распределять ресурсы, сферы влияния, рынки. Стандарты демократии все менее доступны пониманию казахов и не дают им опомниться, эти стандарты еще больше всех запутывают и раскалывают. Воцаряется всеобщий стиль – стиль подростка под кайфом. Диктует этот стиль Европа, вся – с давних пор – по духу протестантская, даже если кое-где, де-юре, католическая. Все пронизывает атмосфера ненасытного потребительства, нарциссизма, погруженности в бесчисленные, неустанно провоцируемые прихоти, с принципом относительности всего и вся. Жизнь стремительно расчеловечивается. Вырвавшись из-под верховенства и диктата духа, материя начинает занимать пространство, меня привычное и насущное со столь яростной скоростью, что в царстве прогресса человеку и вовсе не остается места. Очень скоро мир может стать настолько гомогенным, единообразным в каждой своей точке, что смысл суверенитета вообще окажется уже никому не ясен. Можно сказать, что человечество вновь объединилось, но объединение это прошло по самому низу – по стандартам потребления, которые всех равняют в очень агрессивной, давящей форме. Все прекрасно осознают, что досматривать мрачный финал этой сказки, рассказанной идиотом, предстоит другим поколениям, до которых дела никому нет. Так что европейский (и вообще западный) менталитет казахам не по духу; им больше подходит

государство традиционного, идеократического типа... (Здесь Шуга ухватывает то самое звено ускользающей гремящей цепи, за которое схватился и наш Вадим Кожинов. Так что идеократия для России понятие явно традиционное). Если иметь в виду, конечно, не государственное устройство, а человеческий аспект. Формально строй может быть любым: капиталистическим, социалистическим и т. д., но человеческое лицо у строя непременно должно быть.

Как его определить?

Самое адекватное сути традиционной культуры определение – это «искусство жизни», нечто целостное, касающееся всего уклада, стиля. Только культура в состоянии очеловечить политику и экономику, направить их в нужное русло. Какая модель развития более предпочтительна: то ли научно-техническая, утилитарно-потребительская, то ли прямо противоположная, подчиняющая любые параметры основному – гармоничному, полноценному человеку?

Ответ Шуги на этот вопрос самоочевиден. Но мне интересно другое: то, как, обрисовав развилок, Шуга Нурпеисова оборачивается на советскую модель:

«Советское общество, – пишет она, – только двигалось к культуре потребления, застряв между идеократией и технократизмом».

Стоп. Зависнув в этом промежуточном положении, я покидаю казахскую степь и начинаю думать о нашей буче, боевой, кипучей. То есть о России.

А что, если Шуга Нурпеисова права? И мы действительно «висим между»? И это «между» – вообще наш рок, наш путь, наш вечный удел? Между Европой и Азией. Между анархией и деспотией. Между идеократией и технократией. Между «да» и «нет».

Разумеется, с точки зрения последовательной идеократии это не что иное, как разброд и шатание. А с точки зрения последовательной технократии – склонность к беспочвенным мечтаниям и химерическому бреду.

Но не тем ли и вложилась русская культура в мировой духовный опыт, что билась на границах, распиналась на разрывах, собиралась на пепелищах?

Что такое «Слово о полку Игореве»? Битва на гибельном рубеже. «Война и мир»? Битва на гибельном рубеже. «Тихий Дон»? Битва на гибельном рубеже.

Достоевский, вослед Пушкину, всеотзывчиво озирается на мировые горизонты, а как публицист вязнет в Восточном вопросе. Как и Толстой, начавший с «Севастополя» и кончивший тем, что отправил своего Вронского на турецкий фронт.

Но Пушкин, Пушкин?..

«Наше все»... Непостижимая, неповторимая, неуловимая гармония. Жар-птица, опалившая и улетевшая. Ухватишь, а в руке – ничего. Перышко...

Берет русский человек перышко, описывает «дом Ростовых» – и опять на рубежи, где «все смешалось»: кони, люди, и залпы тысячи орудий... и надо отбиваться от последовательных технократов и последовательных идеократов.

Ущелья расчетов, загадки вершин

Кавказская драма пронизана ежемгновенной расчетливостью. Федералы хотят зачистить шесть сел Панкисского ущелья, населенного кистинами, потому что укрывшиеся в ущелье боевики по горным тропам переправляются с оружием в Чечню, где «методично отстреливают русских солдат и офицеров». Грузинские же власти не хотят, чтобы федералы вычищали боевиков из Панкисского ущелья, потому что предвидят: в результате шесть сел превратятся в пепелища, боевики («сто, двести, пятьсот или тысяча пятьсот») благополучно уйдут в Чечню, а восемь тысяч чеченских беженцев плюс десять тысяч кистин, потерявших кров, хлынут из Панкиси в Кахетию.

Над этими тесными, как ущелья, расчетами высятся на уровне снежных вершин Кавказа не разгаданные за столетия загадки.

Например, такая.

Кистины (так грузины называют чеченцев, которые после присоединения Грузии к России переселились из Чечни в Панкиси) за полтора века «сильно огрузинились и даже стали переходить в христианство, но после революции этот процесс прервался: Грузинскую православную церковь Советская власть загнала в угол, миссионерство было запрещено, и в Панкиси снова возобладал ислам».

Советская власть что же, ставила это целью?! Нет, она имела целью коммунизм. Но, видно, рассчитывая путь в ущелье, никогда не знаешь, куда сверзишься.

Еще пример.

В первую чеченскую войну в Грозном район индивидуальной застройки почти не обстреливался: «Дудаевцы действовали в основном в многоэтажных жилых массивах. Парадокс в том, что большую часть жителей многоэтажек составляли русские, они же и приняли на себя удар российской артиллерии».

Не факт, что Дудаев рассчитывал на такой эффект, но что русские артиллеристы отнюдь не рассчитывали убивать русских жителей Грозного, – факт. Однако убивали. Такой парадокс истории.

И еще. Перебрасываемся через обе чеченские войны к сегодняшнему моменту. Мир объявлен, вчерашние боевики, не запятнавшие себя кровью, амнистированы, беженцам предложено вернуться домой – и в районы индивидуальной застройки, и в многоэтажные массивы.

Результат (цитирую эксперта):

«Не бомбят, не врываются в дом, не тащат в тюрьму или фильтрационный лагерь. Но все равно не жизнь... Женщины хоть делом заняты: готовят еду, стирают, за домом смотрят. Дети в школе учатся, потом уроки готовят, играют. А мужикам – хоть с тоски вешайся или бери автомат и уходи к боевикам...»

Не будем перечислять, кто в этом виноват, спросим себя: что делать?

Ответ эксперта: строить! Строить современное общество с соответствующим материальным фундаментом. И тем самым давать мужикам работу – на уровне XXI века.

Тотчас – первая ласточка: объявили тендер на сооружение в Панкисском ущелье гидроэлектростанции. Выиграли тендер китайцы. «Они не стали строить буддийского храма и проповедовать кистинам буддизм». Они построили ГЭС, и ГЭС дала ток.

На этой оптимистической ноте автор кончает свой очерк.

Вопрос: а что, Советская власть не строила на Кавказе электростанций? Не старалась втянуть горцев в новую жизнь – как ее понимали сто лет назад «передовые умы»? И, за исключением Великой Отечественной войны, когда отбивалась власть от Гитлера под Москвой, дралась против него в Сталинграде и выселяла из ущелий народы, на которые Гитлер делал ставку, – за исключением трагедии войны (война – всегда трагедия), – Советская власть что же, только

и делала, что рисовала серпы и молоты на фасадах? Или все-таки старалась вытянуть народы из ущелий на «светлый путь»?

Китайцы храма не построили? Слава богу. А если китайцы, цивилизуя Кавказ, завезут строителей в таких количествах, что тем понадобятся храмы (не буддийские только, а, скажем, конфуцианские), – что будем делать?

Что делают сегодня в Панкисском ущелье кистины, ожившие после войны, известно: возобновляют виноделие и вино-питие. А еще? А еще строят мечети на деньги, пожертвованные единоверцами из Саудовской Аравии. За переход в ваххабитскую веру им платят сто долларов, за регулярное посещение мечети – пятьдесят долларов в месяц. Так что китайцы могут отдыхать.

Дудаев, объявляя войну России, рассчитывал, конечно, на нефтяной куш, но скорее всего чувствовал за спиной силу, куда более мощную и загадочную. Превыше всех расчетов. Силу, с которой мы теперь и имеем дело. Так что остается уповать за «спор между собой» суннитов и шиитов, меж коими, как пишет комментируемый мной автор, «такая же разница, как между католиками и протестантами, и такая же «любовь».

Теперь несколько слов об авторе.

Валерий Каджая – блестящий журналист и публицист, хорошо запомнившийся читателям «Известий» и «Труда» по статьям и очеркам на протяжении последних десятилетий. Еще важнее: пресс-секретарь, сопровождавший в 1995 году Уполномоченного Кремля на театре боевых действий. Знаток Кавказа, родившийся в Грузии и окончивший Тбилисский университет. И – что еще важнее – перворазрядный альпинист, в молодые годы исходивший родные горные тропы и хорошо знающий, что можно пронести по этим тропам автоматы (из которых потом «методично постреливать русских солдат и офицеров»), но провести по этим тропам ишака, навьюченного минометом и семенящего над пропастью во тьме Панкисского ущелья», – шалишь, нельзя: сверзится ишак!

Хорошие расчеты. Еще бы разгадать парадоксы глобального бытия. В чем и помогает нам эксперт.

Вселенная сверху

Желание нарисовать дерево, просто дерево, как это делают европейские мастера, соединилось с желанием посмотреть на вселенную сверху...

Орхан Памук «Меня зовут красный».

Как только стало известно имя Нобелевского лауреата 2006 года – Орхан Памук, – книгоиздатели объявили его «одним из лучших ныне писателей». Знаточи взрастившей его словесности уточнили, что это «самое яркое явление турецкой литературы за все время ее существования». Премия присуждена «за поиск души меланхолического города – Стамбула», – и читатели действительно находят очарование в стамбульских очерках: просвечивают горизонты – мифология сквозь воспоминания, явь сквозь сон, фантастические видения сквозь достоверные реалии «города и мира»...

В большом «красном» романе Памука, над которым он работал все 90-е годы, меньше «города» и больше «мира». Но та же уникальная способность показывать одно сквозь другое.

Европа – сквозь Азию. Реальность – сквозь миф. Конкретное, реально растущее дерево – сквозь древесина, вечностью отшлифованные в сознании.

В романе действует мальчик по имени Орхан; имя, разумеется, не случайно: именно этому мальчику предназначено «записать» рассказываемую «историю» так, «чтобы она была интересна». То есть: «развлекаясь словесными играми, соревнуясь в иносказаниях, двусмысленностях и метафорах», – так, чтобы получилась «не очень правда, но и не очень ложь» (замечательная самохарактеристика Памука-писателя, если говорить о поверхности текста).

Поверхность занимательна и головоломна. Рассказчики меняются – слово дается не только живым, но и мертвым (зверски убитым) участникам действия. Такая стереофония в мировой литературе не новость: классический пример – «Расемон» Акутагавы, можно вспомнить и «Лунный камень» Коллинза, но четыре евангелиста останутся вне конкуренции. Памук работает с профессиональным блеском, но это для него не самоцель: задача глубже.

«История», рассказанная в романе, происходит за три с половиной века до рождения *этого* Орхана, то есть автора. Сквозь 1950-е (годы его детства) просвечивает время, когда османы, разгромившие византийцев, еще только утверждают на их земле. Главное же – сквозь то и это время просвечивает вечность.

С точки зрения вечности – жизнь рассыпана на фрагменты, на бесконечно повторяющиеся сюжеты, на листки рассыпавшейся книги; эти листки летают, кружатся, встречаются, не опознавая друг друга, и только мастер-художник способен соединить их – по ведомым ему вечным признакам.

Нарисованное обладает способностью магического «наведения». Чуть изменишь на рисунке черты красавицы – и в реальности она разлюбит своего героя. Нарисуешь смерть – погибнешь. Спрыгнет с твоей кисточки на бумагу шайтан – и убедит тебя в том, как прекрасно убить собственного отца...

«И из-за этого вздора они убивают друг друга»?!

Именно. Красный цвет разливается по изящным, скрупулезно выписанным миниатюрам: рубин горит на эфесе сабли; красное покрывало скрывает от чужих глаз невесту; красные чернила смываются в воды Тигра с брошенных в реку книг; с красной краской смешивается вытекающая из жил кровь... «Есть только красный цвет, и только ему можно верить». Не очень ловкое (в переводе В.Феоновой) заглавие программного романа Памука – «Меня зовут красный» – точно передает ауру повествования, пронизанную мотивами страдания, насилия, гибели... иначе говоря – конца света.

Откуда это ощущение?

Здесь мы подходим к осмыслению главной коллизии Памука. Запад – Восток... Одно просвечивает сквозь другое. «Когда я на Востоке, я хочу быть на Западе, а находясь на Западе, стремлюсь на Восток». Естественное желание, когда видишь оба берега Босфора... Шайтан – вот кто все разделяет, Аллах же все объединяет. Но объединяет так, что именно ему, Аллаху, «принадлежат и Восток, и Запад».

Далее начинается драма. Европейцы – против подобного вселенского порядка. Их художники рисуют мир не так, как велит видеть его Аллах, а так, как хочет видеть человек. Отдельный человек, который смотрит на мир в перспективе. И художник, зараженный таким зрением, пишет перспективу. Отдельный человек не похож на других людей – в его изображении появляются индивидуальные черты. Возникает «портрет», который европейцы вешают на стену, словно это бог. Человек, со всеми его потрохами, оказывается на месте бога... И это знак конца света.

А раз так, то на месте бога может оказаться что угодно. Лошадь. Или дерево. Или – с особым вкусом поминаемая – собака. Изобразить мир в перспективе – значит изобразить его с точки зрения собаки. Да и собака не с каждым будет говорить, а только с тем, кто понимает ее собачий язык.

Этой европейской манере (венецианской, как чаще формулирует Памук) противостоит... он не говорит «азиатская», он говорит «восточная». В рассуждении, которое я взял эпиграфом, западной манере противопоставлено искусство персидское. Но может быть и китайское, и монгольское, и индийское. Наконец (переступая красную границу Иран – Туран) может быть и османское. Праведную вселенскую жизнь пишут в Тебризе и Багдаде, в Герате, Ширазе и Самарканде... Главное – как пишут, как увидел их Аллах. Без всякого намека на «стиль», «манеру» и «индивидуальные особенности». Художнику вообще лучше ослепнуть, чтобы его не сбивал с толку внешний мир, – писать лучше всего по памяти, проникая в суть вещей. А суть неизменна. «Птица, летящая среди звезд, должна застыть в неподвижности, будто приближая к небу».

«Старые мастера, ожидающие бархатной тьмы Аллаха, хорошо знают, что если днями, неделями, не шевелясь, смотреть на такие рисунки, то душа, в конце концов, растворится в бесконечном времени...»

Въедливый западный рассудок, конечно, задаст ехидный вопрос: а художник, мечтающий запечатлеть мир таким, каким его увидел Аллах, – не ставит ли себя на место Аллаха, и не больший ли это соблазн, чем европейский культ человека?

Этот провокационный вопрос Памук относит на счет зараженных европеизмом скептиков. Настоящий художник не дает смутить себя таким мелким хитростям. Его дух – во вселенной.

«Вселенная» – вот точка отсчета. Это слово чаще всего встречается в миростроительных рассуждениях Памука. Какой-нибудь местный «падишах», все владения которого простираются на десяток-другой кварталов (описанных Памуком с доскональной точностью стамбульского краеведа, прозревающего сквозь нынешние проспекты проулки XVII века, когда идешь на ощупь в темноте, натываясь на стены, и слышишь «кашель и храп спящих людей и стоны животных в сараях»), – владыка всех этих сараев зовется непременно: «падишах вселенной».

Я вовсе не склонен иронизировать над подобным титулом – Русь познала его цену в XIII веке, когда владыкой вселенной стал монгол Чингис... Я хочу почувствовать душевное напряжение современного художника, который пытается соединить отдельно стоящее дерево (мир как массу отдельных) с желанием посмотреть на вселенную сверху (то есть объять мир как целое) – и при этом не лишиться рассудка..

Горгуд, где твой гонуз?

Вдумчивый читатель не заплутает в представленном тексте. Всяческие предварительные комментарии претендуют на статус некоего научного введения, мы же далеки от подобных притязаний.

Камал Абдулла, «Неполная рукопись №А-21\733». Роман

По примеру уважаемого Камала Абдуллы, да продлит Аллах его дни, полные трудов, мы тоже не станем претендовать на ученость предисловия. Тем более что поколения филологов, тюркологов и фольклористов уже написали горы научных работ и прокомментировали сказания огузов, рожденные в пору, когда этот народ еще не объявился в южнорусских степях и в Византию еще не вторгся, ведомый сельджуками. А передал нам эти сказания неутомимый Горгуд, которого в России принято называть Коркутом и книги которого – «Китаб деде Коркут» – давно вошли в мировую сокровищницу культуры.

Сокровищница эта соблазнительна для мастеров прозы не менее, чем для ученых литературоведов, и роман современного азербайджанского писателя Камала Абдуллы – блестящее тому подтверждение. Читатель, прошедший огни, воды и медные трубы XX века, найдет в этой книге материал для вполне злободневных раздумий.

Ловят шпиона. Ищут свидетелей. Сличают показания, иногда выбитые, иногда добытые хитростью. Устраивают очные ставки. Перечисляют виды казней. Четвертовать, изрубить на куски, снести башку одним ударом, сбросить в пропасть вниз головой. Появление кнутобойцев из пыточной чередуется с хитроумными диалогами, где слова могут означать не совсем то или совсем не то, что имеется в виду, и уж абсолютно не то, что имеется в реальности.

«Бывает ли звук от одной ладони? – Бывает, господин мой, почему не бывать? – И какой же звук издает одна ладонь? – Одна ладонь издает звук тишины, мой господин». Восток – дело тонкое.

С толстого Запада прибывает посольство. «Из далекой страны, чей главный город, говорят, выстроен среди вод». Венеция, что ли? – соображаю про себя, ища вторую ладонь. Венеды от Аттилы уже бежали или еще нет? «Почтенный посол, сколько времени, говорите, были вы в пути? – Больше года, повелитель. Надо учитывать огромное число разбойников на больших дорогах». Господи, уж не Россия ли магушка? И город посреди вод – не Питер ли? Но беру себя за шиворот: до основания Питера – еще тысяча лет.

Возвращаюсь на тысячу лет назад. Где шпион? Как только подозрение падает на очередного царедворца, является старуха по кличке Брюхатая и заявляет, что это ее сын. А поскольку в молодости она сумела переспать со всем двором и сыновей у нее много, то, поди, теперь проверь... Соскоб надо делать! – опять вскидывается во мне современный биокриминалист. – «Это все парфюмерия, – улыбается дед Горгуд. – А суть...»

А суть у деда – под семью покровами. «Тайна в тайну заключена и тайной укрыта». И не вспоминайте Черчилля, который сказал нечто сходное тысячу лет спустя о стране, которой дед Горгуд знать не может. Но знает другое: «Мы никого не обманываем. Внутренняя скрытая сущность для большинства людей не имеет никакого значения, для них все дело во внешней сущности».

Внешняя сущность – это, в частности, все официальные знаки отличия, все регалии, которые слетают с человека от одного богатырского удара сабли. Или от умелого подлога. Или от собственного желания человека уйти от своей роли. Человек исчезает, а роль остается. Правитель подменяет себя двойником. Одна из проникновеннейших сцен романа Камала Абдуллы, да сделаюсь я жертвой его художественного воображения: «Справишься, еще как справишься!» – приговаривает шах (Шах Исмаил ибн Гейдар ибн Джунейд Селеви, имеющий

за собой десятиколенное родословие) и тайно передает власть безвестному засекреченному преемнику...

В моей неотсеченной читательской башке бьется мысль о президентских сроках Буша-младшего (или старшего), путается с мыслью о двойниках Саддама (или их не было?), но дело тоньше: что шах, что холоп – это в *сущности* одно и то же, ибо есть невидимая сущность и есть видимая оболочка – батин и закир, да поможет нам древняя арабская мудрость избежать дурацких аналогий с современностью.

Как?! Значит, шпионом может оказаться кто угодно? Именно. Неважно кто. Шпион может быть назначен. Ловля шпиона и расправа над ним – хитроумная операция, задуманная самим Шахом, она должна сплотить огузов и спасти народ от смуты...

Эдак на роль шпиона можно найти и добровольца. Как это предположил – тысячу лет спустя – Артур Кестлер в «Слепящей тьме»: Бухарин добровольно берет на себя роль врага народа, чтобы облегчить родной партии дело сплочения...

Сгинь, несчастный! Возвращаемся к шейхам, мюридам, дервишам и нукерам, описанным в книгах деда Горгуда, да оградит Аллах память его от наших страстей. Дед же предупредил: «Все, о чем скажешь, о чем подумаешь, может сбыться в этом бренном мире». Слово опасно, тут нужна осторожность. Магия слов – художественная аура Камала Абдуллы, его героя деда Горгуда и в свою очередь героев деда, знающих, что наведенное слово – реальность, а удачно найденное слово – спасение от реальности. «Скажи, разве виноградный сок не есть то же самое, что и вино? Это и есть вино, только через три месяца брожения. Какая разница, как его назвать?»

Дед делает вид, что слушает, а сам созерцает скрытый смысл слов. И шах делает вид, что слушает. Так и беседуют. С той «косметической» разницей, что собеседник шаха время от времени падает ниц и видит ноги его. А потом делает в своей рукописи (будущей «Китаб деде Коркут») ремарки вроде такой: «Когда он молча сучит пальцами, это значит, разгневан».

Тонок дед, однако.

Современный читатель, получающий его сказания из рук Камала Абдуллы, натывается на мысли, пробуждающие активный встречный отклик. От бесспорного: «Уважение к дому своему – главное условие выживания в наши трудные времена. Как можно ожидать уважения со стороны других, если сам ты не уважаешь себя и свой дом?» – до спорного (во всяком случае, для нас, русских, заикленных на том, что во всем всегда виновата власть): «Кого он интересуется, этот несчастный шпион? Все дело в нас самих».

Самое ценное в этом художественном эксперименте – непрерывное мерцание параллельных миров. В мире шаха – свой Горгуд, а в мире Горгуда – совсем другой шах, хотя они сидят и беседуют, один – прищурясь мимо собеседника, а другой – склонившись над свитком и высматривая, не сучит ли тот пальцами ног.

Что мир мюридов просвечен сегодняшней проблематикой, и так он делается для нас вменяем, это понятно. Но почему мир современного человека должен быть переоформлен в мир мюридов? Чтобы стать вменяемым? Это, я думаю, главный вопрос, возникающий (у меня) при чтении романа Камала Абдуллы. И ответ на него есть.

Вдумаемся в название романа. «Неполная рукопись №А-21\733».

Пятизначный шифр, извлеченный из каталога Третьего сектора в Отделе некоего грандиозного Института и прикрепленный к средневековой легенде, может показаться юмористической подначкой. Но только до третьего абзаца повести.

В третьем абзаце в качестве места для публикации запроса о происхождении рукописи названа «525-я газета».

Не знаю, сколько газет должно выходить в городе масштаба Баку, чтобы появилось такое название, но ясно вижу, что магия больших чисел входит в художественное условие романа.

Мир смутен, огромен, непостижим, невменяем. Все тонет в месиве утверждений, опровержений, достоверностей, мнимостей, фактов и антифактов, истинных и ложных сведений. Сверить варианты рукописи невозможно, приходится верить «пожелтевшим листам бумаги», понимая, что написанное там давно потеряло с реальностью внешнюю связь, а связь внутренняя все равно до конца непостижима. Того общества, которое породило эти сказания, давно нет... Мгновенная аллюзия: а есть ли *теперь* то, что мы привычно называем *обществом*? Или это такой же мираж, как ставшая легендой древность? Да и что такое «древность» на тонущей в небытии шкале времени? Вы можете знать, кто древнее: Гомер или какой-нибудь безвестный певец Огузов? Полифем или Тепегез? Одиссей или Бейрек? Агамемнон или Салур Газзан?

Какая, собственно, разница, подлинна ли рукопись деда Горгуда или поддельна? Все равно мираж. Может, пропуски в тексте случайны, а может, это намеренная путаница, чтобы спрятать концы. Ведь не может же быть так, чтобы огромное сказание без искажений передавалось из уст в уста, от певца певцу: никакая человеческая память этого не выдержит. Значит, один певец прячется в другом. Сквозь одну тайну проглядывает другая. Мусульманские письмена опасливо прячутся за христианскими, словно ожидая своего часа...

...Так что пропуски в рукописи и «дыры» в сюжете могут не только обеспечить необходимые в повествовании «петли» и «стоп-кадры», они могут иметь и мистический смысл, который необязательно соотносить с исторической истиной. Ибо ее нет. Ни тогда, ни теперь. Есть лишь танец канатоходцев на натянутых струнах Божьего инструмента.

– Если Творец знал, чего Он хочет, и независимо от внешних форм этого знания переслал это в мой мозг, то мое дело...

Кто это говорит? Дед Горгуд? Или современный романист, воскрешающий деда при помощи монтажа фрагментов его рукописи? Или любой из героев потусторонней уже старины, пропущенной сначала через святую наивность деда, а потом через скептическое отчаяние современного человека, довольствующегося «полнотой неполного»?

Ну, а раз все это так, то оба они: и средневековый книжник, и современный романист – могут с полным правом сказать:

– ...Мое дело маленькое.

И отдаться пению.

– Горгуд, где твой гопуз? – И руки тянутся к перу, перо к бумаге, минута, и стихи свободно потекут...

А что такое гопуз? – успевайте вы спросить.

Автор охотно задерживается для объяснения в сноске:

«Гопуз (*тюркск.*) – двухструнный смычковый инструмент, высоко натянутые струны которого при нажатии на них не достают грифа и издают звук свистящего оттенка».

Хорошо сказано. Там, где не удается зафиксировать вольные струны на ладах внешней достоверности, – возникает в мелодии оттенок свиста, в который с тревогой вслушивается закрученный в путанице шифров и кодов человек XXI века.

А может, это свисток локомотива, готового рвануться в светлое будущее?

Грива и шкура

Черчилль считал необходимым заметить, что интересы Британии и России «нигде не пересекаются».
Из записей посла И. Майского, 1939 г.

Если не считать цирка и зоопарка (где хищники разных широт тоже тщательно ограждены друг от друга), есть ли в природе точка, в которой лев «пересекается» с медведем?

Иными словами: можете ли вы объяснить многовековую историческую взаимотягу англичан и русских?

Оставим мифологию. Что мы – медведи, понятно всем, кто побывал в наших «углах», но каким образом царь зверей из южных пустынь ухитрился сигануть на пустынные берега северного острова, – это пусть объясняют специалисты по геральдике. А мы примем данность: два народа, раздвинутые на края континента и разделенные толщей других народов, никогда друг с другом напрямую не сталкивавшиеся (исключение – Крым, куда британцы явились в числе других продемонстрировать воинскую доблесть, а мы от тех и других отбиваясь, других глухо ненавидели, а британцев предпочли бы иметь союзниками), так при всей пестроте ситуаций, при всем том, что история иногда, как дрессировщик, стравливала нас, делая врагами, – почему лев и медведь веками так увлеченно общаются?

Насчет «врагов» – феерический эпизод из общения «нашего» Ивана Грозного и «ихней» Елизаветы. Наш считает, что если уж дружить, то так: кто нам недруг, тот и вам недруг. «Ихняя» отвечает: дайте нам список ваших врагов, мы их сделаем друзьями. Можно ли представить себе более рельефный контраст подходов?

Британец – мастер компромиссов. Русский – герой бескомпромиссности. Британец практичен, невозмутим, тверд, он относится к русскому как к капризному ребенку, которого можно водить за нос, но не нужно обижать. Русский же – из тех, кого все норовят обидеть, он всегда ждет подвоха и к британцу относится как к хитрецу, тайные замыслы которого приходится все время разгадывать: то ли там коварство и лицемерие, то ли надежность и верность.

Мы их так и воспринимаем – по контрасту с собой.

У них в доме все лежит на своих местах, а у нас? У них все устроено, как тысячу лет назад, а у нас? У них парламент, а у нас?

У нас, впрочем, теперь такая Дума, какой они и придумать бы не могли. Так что их парламенту можем не завидовать. Но в дом к ним эдак запросто не завалишься. Пока не пригласят. Если пригласят, то уж окружают комфортом. Изумительный комфорт – для себя и для своих. А у нас свое и чужое от веку и на века неразличимы. Мы всегда на миру.

Пожалуй, лучше виден британец не там, где он укрыт в доме-крепости, а там, где он устраивает нечто вроде дома на полпути в мир. Это – клуб.

Вы можете ли представить себе русского, который часами сидит в клубе и притворяется, будто читает газету? Или заключает там пари на предмет того, какая из двух дождевых капель первой соскользнет к подоконнику? Ну, положим, наш подвыпивший купчик, из ндравных, может поставить на кон бешеные деньги, побившись об заклад из чистого куражу. Это запросто. Но вот другой эпизод. Вносят в клуб потерявшего сознание прохожего. Джентльмены заключают пари: помрет или не помрет? Тут является «скорая помощь» и начинает откачивать бедолагу. Джентльмены протестуют: это нарушает условия их спора! Вы можете вообразить такое на Руси? Да наши спорщики рубахи бы с себя посрывали на бинты страдалцу!

Что же нас так завораживает в британцах? Все то, чего в нас нет и никогда не будет. Хотя и мечтается...

Искусство одиночества. Искусство недосказанности. Искусство общения, при котором не переходят границ, не братаются, не сливаются в единопуты, но ни на миг не теряют контакта. И лица не теряют. И правил не меняют. И в дом не пускают без приглашения.

Дом снаружи – крепость, зато внутри – рай! Всю неделю пиджак – на все пуговицы, зато в уик-энд – шлепанцы, старая кофта и полная свобода вымазывать тарелку хлебом и есть руками, если хочешь.

Самообладание. Самоуважение. Самоконтроль.

Но вот все это ставится под вопрос. Что-то неладно в английском государстве. В английский пейзаж плохо вписывается фигура фаната, громящего трибуны. В наш – пожалуйста, у нас и на футболе душа горит, но – на родине футбола?! Неужели неповторимо британский склад жизни исчезает в водомоинах «европейского союза» и разводях «глобализма»? Леденящая перспектива...

Расскажу случай, внушивший мне на этот счет некоторые надежды. Лет десять назад я попал в Лондон для участия в одной политологической конференции, о которой сейчас уже нет интереса вспоминать, а запомнилось то, что составляет для меня, русского, загадку Англии: быт, дом и кров. Меня поселили недалеко от университета в аспирантском общежитии, на пятом этаже сравнительно нового дома, под крышей, в маленькой комнате-келье, дверь которой выходила в общий коридор и к местам «общего пользования». Меня это вполне устраивало, ибо было привычно.

Но в один прекрасный день хлынул знаменитый лондонский дождь. От него меня сверху отчасти спас зонтик, а снизу ничто не спасло: хотя тротуары в Лондоне искусно покаты, и вода быстро уходит в кюветы, но хлестало так, что мои кроссовки мгновенно промокли. Добравшись до дома, я исхитрился высушить их, повесив на электросушилку в умывальнике, и все это удалось. Потрясло же меня при этом такое непредвиденное обстоятельство: во всю ширь туалетно-умывальной комнаты красовалась огромная, прямо-таки миргородская лужа. Напоминаю, дело происходило на пятом этаже, и причиной наводнения явно была дырка в крыше.

Служитель в форме, застегнутый на все пуговицы, с бакенбардами диккенсовского отлива, появился в тот самый момент, когда я, отключив электросушилку и сняв с нее кроссовки, косолапил к выходу, как медведь, переходящий реку по камням. Служитель спокойно наблюдал. Его невозмутимость показалась мне опасной: мало ли, вдруг я не имел права сушить здесь свою обувь? Я решил нанести упреждающий удар. И спросил ехидным тоном:

– Скажите: почему у вас тут такая лужа?

– Потому что дождь, сэр, – ответил британец.

И пошевелил гривой.

Мы в глазах соседей

Люди, выбравшиеся из-под обломков советской империи и из советских переименованные обратно в российских, переглядываются с людьми, выбравшимися из-под тех же обломков и переименованных в свои национально-исторические титулы.

Не мы первые и не мы последние переживаем такое. Империи возникают и умирают: возникают в крови и умирают в гное, они приходят под звуки фанфар и уходят под похоронные марши, воцаряются под приветственные клики и рушатся под ядовитые насмешки. То, что русские переживают теперь, пережили англичане при конце Британского Содружества, турки при конце Османской Порты, татары при конце Золотой Орды, немцы при конце Священной Империи... Будут это переживать и те, кто сегодня создает межнациональные цитадели, будь то Атлантический блок, Европейский союз, мировой Халифат или Шанхайская шестерка. Так что наш психологический опыт может пригодиться нашим потомкам, как и потомкам тех, для кого мы за 60 лет из «освободителей» превратились в «оккупантов».

В последнее время этот сюжет реализовался для меня дважды – в романах двух писателей, двух живых классиков, двух всемирно известных авторов, каждый из которых является не только несомненным лидером в своей национальной культуре, но и знаменосцем ее идей.

Это Венгрия, Петер Эстерхази. И это Грузия, Отар Чиладзе.

По неистребимой марксистско-гегельянской закваске я искал третью точку опоры. И она неожиданно реализовалась в последний момент – в сообщениях журналистов о том, что произошло в стране, традиционно считавшейся самой дружественной Советскому Союзу в социалистическом лагере.

В Софии создан гражданский комитет, требующий немедленно убрать из центра города памятник воинам Красной Армии. Потому что «на нынешнем этапе он оскорбляет чувства болгар». Потому что Красная Армия принесла на своих штыках «не освобождение, а коммунистический террор». Потому что нормальное европейское государство не может ассоциировать себя ни с Октябрем 17-го года, ни с лозунгом «Вся власть Советам».

Интересно, а с чем ассоциировало будущее нормальное европейское государство русских людей в пору, когда они погибали под Шипкой? С царским орлом? Так царский орел тоже стал жертвой коммунистического террора... А что русские люди умирали под Шипкой, вовсе не подозревая, что их внуки отдадут всю власть Советам, – так на этот счет нынешние болгарские освободители оговариваются: они «не хотят обидеть тех русских людей, которые умирали в борьбе с фашизмом, ибо тем людям тоже было несладко, а виноваты те, кто посылал их в бой террористическими методами»...

А что, миллионы немцев, кричавших «хайль» вождям, посылавшим их в бой, уже микроскопически отделены от них в сознании нынешних историков? Или на расстоянии в три четверти века это неважно? А еще через три века что останется от такой сепарации? Я понимаю, что топорные памятники Советским войскам в европейских столицах не вписываются в изящный стиль этих столиц (в центре Будапешта я помню это приземистое скифское «захоронение», задевающее вкус). Но сталинградские руины, оставленные для памяти в центре Волгограда, еще менее красивы. Я догадываюсь, что фигура солдата на холме под Пловдивом оскорбляет чувства нынешних членов ЕС более всего тем, что солдату присвоено в народе имя «Алеша». Но через пару веков это имя уже не будет пахнуть властью Советов. Или не дает покоя рвение талибов, для которых и тысячелетние изваяния буддизма опасны как подкоп под Коран?

И, наконец, надо поосторожнее с термином «русские люди»: в 1941 году с обеих сторон сражались интернациональные армии; из Европы шли под немецким флагом не только немцы, но и венгры, австрийцы, румыны, даже испанцы (в 1812 году такой же европейский интернаци-

онал вторгся к нам под французским флагом); только при нынешнем нациобесии все обратно перекрасилось в цвета крови и спермы.

При новом геополитическом повороте истории, при грядущем появлении новых многонациональных сообществ (ритм истории не отменим) нынешние «нормальные европейские государства» начнут либо сливаться в очередные славные империи под звуки фанфар, либо разваливаться под натиском неевропейских межэтнических сообществ (скорее с Юга, чем с Востока). Тогда, может, и Алеша на горе под Пловдивом будет вновь востребован болгарями и мобилизован в союзники, и памятник «русским людям», polegшим в боях с «немецкими людьми» в две мировые войны XX века, раскопают в каком-нибудь провинциальном археологическом отстойнике.

Мне этого не увидеть. Я вообще уцелел «по ошибке». Победы немцы в ту войну, нынешние болгары ругали бы за дурной вкус памятники доблестным германским войскам, спасшим европейскую цивилизацию от азиатских орд. Только меня уж точно не было бы на этом празднике демократии: цивилизованные европейские освободители сожгли бы меня в печи в 1942 году как полуеврея. Но вот остался жить. И 60 лет спустя превратился из «освободителя» в «оккупанта». В каком-то качестве и приветствую граждан новой Европы из-под обломков старой.

Евреи же для меня – особая тема.

Мы и наши евреи

Среди гоев

Апокрифический «еврейский царь России» Лев Троцкий крайне негативно относился к евреям и любил русских. Он с восторгом рассказывал, что простые солдаты считали его русским, а Ленина – евреем.

Израэль Шамир. Еврейские ручьи в русском море.

Простые солдаты не хуже царей соображали, кто есть кто: они считали, что русский – это тот, кто ведет себя как русский, и не копались в анкетах. «Апокрифический» царь России крайне негативно относился не к евреям вообще, а к тем евреям, которые вели себя как евреи – в ущерб революции; при случае он мог рассказывать что угодно, но по убеждениям был твердокаменный интернационалист. И угробили его такие же твердокаменные интернационалисты: не удалось мексиканцу Сикейросу, так добил выдававший себя за француза испанец Меркадер, а травила – сверхнациональная команда, в которой действовали, не определяя себя по национальной шкале, – евреи и русские, верховодил же – неапокрифический «грузинский царь России», который (по тем же апокрифам) куда больше любил русских, чем своих этнических соплеменников.

Много ручьев путается в этом море, если переосмысливать тогдашние дела в теперешних анкетных терминах.

А все-таки эпизод с Троцким весьма эффектен и весьма уместен в нынешнем русско-еврейском диалоге – Израэль Шамир поминает его вовремя.

Шамир, напомню, известный публицист «правого» (я не ошибаюсь?) толка, вырос в Сибири, эмигрировал из СССР на Запад (в Швецию), потом на Юг (в Израиль), вернулся книгой «Сосна и олива», а затем и лично. Новая его статья опубликована в «левой» (так, кажется?) газете «День литературы» и достойна, я думаю, пристального внимания. В нынешнем очередном (или окончательном?) бурном выяснении русско-еврейских отношений, где сшибаются волны, поднятые книгами Костырченко, Солженицына и Резника², здесь можно уловить, как я думаю, некий проблеск трезвого, то есть здравого, смысла.

Суммируя все, что произошло с евреями в России, Шамир предлагает к обдумыванию следующую модель:

Российская империя случайно наткнулась на спящую еврейскую общину Польши, растормошила, постаралась оживить, а евреи проснулись и рванули завоевывать империю. Когда имперские власти попытались их сдержать, те с помощью своих союзников форсировали рево-

² В интереснейшей книге Семена Резника «Вместе или врозь? Заметки на полях книги А.И. Солженицына» (Издатель Захаров, М, 2003) есть касающаяся меня частность, которую хочется откомментировать. С. Резник полагает, что я восторженно принял труд Н.Лескова «Еврей в России», а потом «пылко восторгался» книгой А.Солженицына «Двести лет вместе». Как в моем сознании совмещается восторженное отношение к тому и другому, для Резника, как он признается, загадка. Конечно, С.Резник вправе вычитывать из моих текстов то, что ему нужно, но я, честно сказать, пылких восторгов за собой не помню ни при чтении Лескова, ни при чтении Солженицына. А был – *счастливым трудом* при осмыслении их текстов. От какого не отрицаюсь и теперь, при чтении книги Резника, который по многим направлениям дополнил, уточнил, а то и опроверг Солженицына. Загадка не в этом, я думаю, а отгадка такая: по сверхзадаче Солженицын мне действительно ближе. Он, как может, пытается положить конец счетам и разборкам между русской властью и еврейской диаспорой в России. Резник же, куда более изощренный и осведомленный, жаждет эти счета свести. Все это было бы не так важно, если бы в широком общественном контексте не пахло реваншем. Рискую навлечь на себя очередные обвинения в восторженности, скажу, тем не менее, что осмысление книги Резника для меня – *счастливым трудом*, и его повесть об эпохе Николая II – «Коронованный революционер» – по-своему захватывающее чтение.

люцию, перебили русскую интеллигенцию и заняли все командные посты в стране. В 1937—1938 годах Сталину удалось оттеснить евреев от власти и русифицировать элиты. Евреи разочаровались в коммунизме и стали уезжать – кто в Израиль, а кто и на Запад, хуля Россию и коммунизм...

А ведь зря хулили, – замечает Шамир. В 90-е годы XX века история сделала очередной вираж, и тогда евреи, вместо того, чтобы продолжать бегство из оскверненной и проклинаемой России, тоже сделали очередной вираж:

...Они свергли Советскую власть и снова вытеснили русских из элитного эшелона. Так, роскошная квартира на Арбате, в которой до революции жил князь Пожарский, перешла в 1919 году в руки наркома Натансона, в 1937-м, после расстрела одного, досталась члену ЦК Петрову, а в 1992 году она была куплена олигархом Рабиновичем.

Квартирный вопрос давайте оставим для особого рассмотрения: мало ли еще кто поселится на Арбате, когда олигарх станет жертвой очередного русского бунта. А вот геополитические горизонты, открывающиеся из окон этой квартиры, тема интересная.

И еврейских ручьев, наблюдаемых в бассейне русского моря, Шамир прослеживает два. Один отворачивает к югу – на Ближний Восток, на историческую родину, в Израиль. Другой остается здесь.

Какой путь лучше?

Есть ли объективный критерий, позволяющий нам выбрать?.. Есть. Если олигарх Рабинович женит сына на дочке Пожарского, а дочь выдаст за сына Петрова и сыграет свадьбы в храме Вознесения у Никитских ворот, значит...

Освободитесь от матримониальных чар, уважаемый читатель, там все в порядке, а самое главное будет сказано сейчас:

...значит, русский народ смог подмять еврейскую волну, как до этого он справился с татарами, варягами и остзейскими немцами, не отразив, но поглотив и использовав их энергию...

А если это не получится?

Если же дети Рабиновича будут проводить полгода в Израиле, а олигарх подтолкнет Россию к войне с исламским миром на стороне Америки, значит, слияния не произошло...

Ну да, по анекдоту: большой перед смертью потел? – Да, доктор. – Это хорошо.

В таком контексте свадебные подвиги Рабиновича теряют смысл. И «слияние» с ним тоже. Новые масштабы беды обрушат все старые мерки. В случае «войны с исламским миром», миру иудео-христианскому придется заново оценивать и роль израильтян в этом светопредставлении. Кто они, эти ребята, которых Шамир тактично называет «филосемитами», а сами они себя довольно бестактно (по отношению к другим народам) называют божьими избранниками? Разведчики боем? Передовой отряд, роль которого ребе Штайнзальц любит сравнивать с ролью штурмующего авангарда (ребе имеет в виду человечество, штурмующее твердьны грядущего, но, кажется, метафору придется сузить).

Приведу суждение, донесшееся с той стороны «фронта». Знаменитый албанский интеллектуал Ибрагим Ругова в пору, когда албанцы еще только начинали задирали сербов, поставил западных интервьюеров в тупик фразой: вы еще не знаете настоящей исторической роли Албании. Те оторопели: а чего там знать-то? Крошечная страна, малозаметная в мировом культурном поле... И, однако, позволяла же себе дразнить таких гигантов, как СССР, США, да и Китай. И откуда такие амбиции, и с чего бы такая уверенность в своих силах?

Теперь ясно, с чего? Передовой отряд...

Но вернемся к другому передовому отряду: к евреям.

Итак, евреи должны выбрать: ехать или остаться? Здесь они или там? Что их ожидает здесь? И что там?

Большая часть людей, называющих себя «русскими евреями», – дети смешанных браков. В глазах филосемитов это неисправимый изъян. Известно, как относятся к «неполноценным

евреям» в Еврейском государстве: их не венчают, не берут на работу и хоронят за забором кладбища. Перед ними выбор – быть «неполноценными евреями» или обычными русскими людьми. С небольшой особинкой, но не больше, чем у потомков татар или мордвы, или остзейских немцев. Жуковский был наполовину турком, Пушкин – на четверть эфиопом, Набоков вел род из татар, но это не мешало им быть русскими...

Много имен можно еще добавить к этому культурному синодику..., но не будем ломиться в открытые русские ворота. Проследим за тем еврейским ручьем, который катится на Ближний Восток, где его ждет что-то вроде генной сепарации. Она-то и возмущает Шамира (и меня тоже).

Состояние русских евреев, оказавшихся «там» и решающих, кто они, описано следующим образом:

«Нет «еврейских генов», плохих или хороших, а еврейская культура давно утеряна, равно, как и язык, и кухня. Говорящих на идиш, поедающих фаршированную щуку религиозных евреев не так много, а евреев по культуре и того меньше. Одержимые еврейские националисты свалили в Израиль, но и там русские евреи по-прежнему едят гречневую кашу, пьют водку, поют русские песни, а по воскресеньям украдкой ходят в православную церковь. И даже ярые еврейские ура-патриоты из Хеврона имитируют Баркашова и читают «Лимонку».

Наверное, в русских библиотеках Израиля можно найти тексты не хуже «Лимонки», но речь не о том. Речь о генах, которые сами по себе ни плохи, ни хороши. Зато доктрины, на этих генах построенные, оборачиваются к людям не только хорошей, но и весьма плохой стороной.

Вот носители генов приезжают в Израиль. Гречневую кашу они понемногу доедают, Баркашова сменяет кто-нибудь поближе, у детей-внуков слабеет и утрачивается русский язык, потом иссыкает и память о России. Увы, это неизбежно. Снявши голову, по волосам не плачут. Ужасно не это, а та селекция, которая свершается в точках перелома.

На войне, как на войне: в Израиле либо ты становишься стопроцентным израильтянином: идешь сражаться за родину, стреляешь в палестинцев, взрываешься и взлетаешь на воздух вместе с ними, – либо ты не нужен. Не нужен – как «всемирно-исторический интеллект-туал», как очкарик галута, уповающий на политкорректность. Там, где корректируют огонь, реверансы не корректируют.

Еврейский расизм, или филосемитизм, не пострадал от «политической корректности». Мы справедливо негодуем, услышав: «не смей выходить замуж за еврея», но ни одного еврея еще не осудили за сравнения смешанных браков – с Освенцимом. А такие сравнения делались и Голдой Меир, и нынешними американскими и израильскими идеологами.

Возможно, Голда Меир и сказала о смешанных браках что-нибудь подобное; надо бы узнать, когда, кому и в каком состоянии. Но странно: мне не хочется это узнавать. Это уже «их дела», «их выбор», «их драма». Может, какой-нибудь «отец общины» в Израиле и полагает, что «жизнь еврея важнее жизни гоя настолько же, насколько жизнь гоя важнее жизни животного». Ну, так сказавший это пусть и отвечает как «избранный» перед теми, кого он считает животными. Я в ту сторону головы не поверну.

Я тревожусь о моих друзьях, на моей памяти отъехавших в Израиль, и я горюю о погибших там людях. Но надо смотреть правде в глаза: рано или поздно, со сменой поколений – эта боль у русских евреев «абстрагируется» до степени той солидарности, какую мы в пионерские времена питали к «сражающейся Испании» или «пробуждающейся Африке». Конечно, надо сочувствовать страдальцам, но они так далеко, на берегу чужого моря, там, где когда-то испытывали судьбу крестоносцы, а до того гуляли римляне, а до того праотец Авраам провожал взглядом служанку Агарь, уходящую с Измаилом... Где они, а где мы!

Как там решится дело? Не угадать. Может, устоит форпост иудео-христианского мира (и тогда что? начнутся разборки внутри этого мира?), а может, не устоит (и тогда, как с усмешкой

авгура говаривал мне Владимир Максимов, Россия очередной раз раскроет объятия беженцам из Святой земли), а дальше? Разборка между тем, кто спас, и теми, кого спасли?

Не знаю. Не могу знать. Не хватает сил думать об этом. Там «идет другая драма, и на этот раз меня уволь».

Моя драма – те евреи, что остаются в России. «Русские евреи». Этот ручей протекает прямо через мою душу.

Возвращаюсь к мысли Шамира: русский народ смог подмять еврейскую волну, как до этого он справился с татарами, варягами, остзейскими немцами...

Да будет так!

Можно, конечно, «политически откорректировать» вышеприведенную формулу. «Подмять»? Только в ситуации, когда и тебя нороят «подмять». Тонкость тут в том, что логика «подминания» (господства, насилия, властвования) не только не исчерпывает общечеловеческой сверхзадачи (на которую русские, как известно, особо отзывчивы), она сверхзадачу обесмысливает. Татары вовсе не строили этнического государства, они замахивались на Вселенную для человечества. Поди еще разберись, где там татары, а где монголы, где народ, а где структура... Поди также разберись, что такое Русь: то ли дружина, то ли племя? А варяги – племя? Или устроители международного порядка? Да, действовали топорно, но ведь не везде и не всегда. Если уж верить мифам, то на Русь их как-никак позвали. И остзейские немцы не Германию же в Питере и в губерниях строили, а Россию, нашу общую страну, и опять же с нашей же санкции (если учесть, что немка, «захватившая» трон, не «сама» это учинила, за нее Орловы и Зубовы стеной встали, и потому встали, что делала она то самое, что им было надо). И евреи, «захватившие» ЧК и ОГПУ, не еврейское ж государство укрепляли, а советское; а когда задумали этнический проект в Биробиджане, он «не пошел», а за этнический проект в Крыму жизнями заплатили такие люди, которых евреи по сей день оплакивают.

Вывод?

Да вольется в русское море и этот ручей.

А небольшая особинка? То есть форма носа, что ли? Так и у татарина форма носа, то бишь разрез глаз, однако ни Тургеневу, ни Булгакову, ни Карамзину это не осложнило русской самоидентификации.

Сама наша идентичность – смешанная. То есть русские стали русскими, слившись воедино из множества этнических ручьев (читайте Ключевского). Если угодно кому-то помнить свои корни – да ради бога! Максим Грек помнил, Феофан Грек помнил, и Никон, и Багратион, и Барклай, и Брюллов, и Растрелли, и Кантемир, и Фонвизин, и Фет... Иные гордились, иные горевали, это уж как кому судьба ляжет, дело индивидуальное. Сохраняется такая память ровно столько, сколько ты сам хочешь ее хранить. И сохраняется именно в твоей душе, а не в «команде», чем бы эта команда себя ни осеняла.

А вести себя будешь – как русский.

Куда лучше быть евреем среди гоев, нежели гоем в еврейском государстве, – итожит свою замечательную статью Шамир.

С точки зрения «еврейского государства», все мы тут, может быть, и гои.

Но если ты гражданин Российского государства и если ты человек русской культуры, то... как бы это выразиться пополиткорректнее...

– Гой еси!

Курица и яйцо

В работе Семена Резника «Вместе или врозь? Заметки на полях книги А.И. Солженицына» (имеется в виду книга «Двести лет вместе») есть рассуждение, к еврейской теме прямого отношения не имеющее. И это рассуждение кажется мне более существенным, нежели тот счет к начальственным держимордам и идеологам погрома (имена опускаю), который у Резника был и остается главной целью его работы.

Вот это рассуждение.

Согласно доминирующему мнению, Первая мировая война открыла путь к революции. Такова основополагающая концепция советской историографии... Между тем внутреннее положение России было таково, что война отодвинула революционный взрыв, а не приблизила его.

Конкретно: вот – объявлен манифест о войне, и, словно по волшебству, революционные выступления превращаются в «патриотические» манифестации. Улицы запружены народом, но вместо красных флагов над толпами развеваются национальные, вместо революционных песен – звучит «Боже, царя храни!»; с балконов и с возвышений раздаются пламенные речи, но не «долой самодержавие!», а – в защиту «братьев-славян». Председатель Думы Родзянко, смешавшись с толпой, с изумлением узнает, что она состоит в основном из тех самых рабочих, которые только что «ломали телеграфные столбы, переворачивали трамваи и строили баррикады».

Далее цитируется Родзянко:

«Аграрные и всякие волнения в деревне сразу стихли в эти тревожные дни, и как велик был подъем национального чувства – красноречиво свидетельствуют цифры: к мобилизации явилось 90% всех призываемых, явились без отказа и воевали впоследствии на славу. Настроение было далеко не революционное, а чисто патриотическое и воодушевленное».

Все это подкреплено у Резника обширным историческим материалом (как историк, он предпочитает опираться на первоисточники) и – действительно переворачивает привычную схему.

Привычно считать, что источником губительных войн являются ненасытные империалистические режимы, возникающие на почве бесчеловечного буржуазного образа жизни. Если переломить это революционным образом, то есть сменить капитализм на социализм, а затем выстроить во всем мире коммунизм, – войны прекратятся. Потому что войны – следствие, а строй – причина.

Что-то не сошлось на весах Истории. Два народа – немцы и русские – после дикой мировой войны сменили капитализм на социализм и втянулись в такую вторую мировую войну, перед которой померкла абсурдность первой.

Поневоле закрадывается сомнение: не попробовать ли осмыслить события, перевернув пресловутый вопрос о том, что из чего: яйцо из курицы или курица из яйца? Что, если причина – именно столкновения народов, подчиняющиеся какому-то глобальному геополитическому ритму, каким-то тектоническим законам Истории (и географии, как чувствовал Лев Гумилев), а все чресполосье режимов и их оттенков: демократий и диктатур, утопий и антиутопий – как раз следствие этих фатальных (пока мы не поняли их логику) «Дрангов нах Остен», «Дорог на Океан», «Фронтиров на Дальнем Западе», взаимоостервенения на Ближнем Востоке... И прочих абсурдистских драм Новой (и не только Новой) истории?

Двадцать первый век заставляет оглянуться на дела двадцатого и идеи девятнадцатого веков под углом зрения нынешних дел и идей. Конечно, были авантюристы во главе партий и народов, были безумцы, прожектеры, зацикленные на «Дарданеллах» (например, Милоков,

человек вроде бы трезвый). Но были и разумные люди. В том числе и здравомыслящие венценосцы.

Александр III – башибузук и грубиян, много неосторожных глупостей сказавший на разные темы и про разные народы, неспроста в памяти остался – как Миротворец, успешно на протяжении своего царствования избегавший войн и в результате оставивший своему сыну наследство, как признает Резник, в отменном порядке.

Сын, правда, оказался бездарен: пустил все под откос, и именно потому, что ввязался в войны. Фаталист скажет, что мало что зависело от его жалкой воли, но ведь и сам лез в петлю, не сопротивляясь! Резник перечисляет умных людей в его окружении, которые, стоя подчас на противоположных позициях, сходились в одном: воевать нельзя! Удерживали царя от губительных решений!

В 1910 году роковое развитие событий предотвратил Столыпин, в 1912-м – Коковцов. В 1914-м (премьером был уже «вынутый из нафталина» Горемыкин) отчаянную попытку остановить царя предпринял Витте. Давний сторонник континентального союза (Франции – Германии – России), он понимал, что война между ними может привести только к гибели. Но Витте был ненавистен слабому и лукавому самодержцу и повлиять на него не мог. Если у кого был шанс остановить его, то только у Распутина. Старец был убежден, что, будь он в тот момент в Петербурге, войны бы не допустил.

Распутин, конечно, самый экзотический вариант. Распутник, бес, хитрован, он вряд ли что-нибудь предотвратил бы, а оказавшись уже в потоке событий, включился в «патриотический хор», но накануне фатального срыва пытался же остановить безумца: «Папочка! С немцем не вой! С немцем – дружи! Немец – молодец!» Работало чутье у святого черта.

В конце концов, большевики потому и обратали страну, что первейшим и безотлагательным делом объявили выход из войны, любой ценой, хоть через «похабный мир»! Когда тем же большевикам пришлось готовить страну к очередному смертельно надвигавшемуся германскому нашествию, – они наплевали на мировую революцию и уперлись в патриотизм, коммунизм же сохранили как анестезию, позволившую выстроить армию из народа, склонного к поэтической самодеятельности. И народ на это пошел.

И в 1914 году готов был, свернув революционные лозунги, пойти с властью. Власть завалилась – от непосильности войны. Народ загривом чуял опасность нашествия – безотносительно к режиму. В 1941 году все подтвердилось.

А почему в 1905 году японскую войну народ не поддержал?

Резник объясняет почему.

Войну в Европе, в непосредственной близости от жизненных центров страны население восприняло иначе, чем далекую японскую.

Далеко на Востоке геополитическая энергия русских иссякает – это край, предел, за которым действительно начинается чужое. А из Европы удар нацелен – в самое сердце, тут действительно жизнь или смерть.

Отвечая современным историкам, ищущим «антирусские силы» среди «масонов», Резник резонно замечает: главной антирусской силой в то время была Германия.

В наше время это, конечно, не Германия. Пока параметры геополитической драмы XXI века не определились, на этот предмет возможны только «мистические» предчувствия, которым так охотно предавались «все Романовы». Но не спасли своей страны ни Романовы, ни мучившиеся рядом с ними Гучковы, Львовы, Родзянки, Милюковы, Керенские...

Где евреи?! – задаю я сакраментальный вопрос. – Какую роль они играли в этих событиях?

Никакой, – отвечает Резник. – Или почти никакой.

Поэтому в этом комментарии я с облегчением обхожусь без них.

Всклень

Хотя в перечень русских воспоминаний, которые сохранили для Меира Шалева его дедушка или бабушка, входят, наряду с волками и березами, снежные просторы, – Россия овеяна в воспоминаниях внука соразмерным теплом. Это тепло согрело и его «Русский роман», принесший автору в 1985 году международную известность; согревает оно и его статью «Русский след», которую я хочу теперь откомментировать.

Меня в этой теплой статье обожгло одно место, с которого и начну.

Новоприбывшим репатриантам, заявляющим, что они из России, дедушка или бабушка устраивают нечто вроде экзамена: смотрят, как те пьют чай. Чай должен быть очень горячим, а чашка полна до краев...

Прочтя это, я поразился точности примет: чай моего детства был именно таким – он обжигал, а наливали его... есть такое замечательное русское выражение: всклень, то есть в стеклень, вровень с краями стакана.

В мое детство эта привычка вошла с нищетой эвакуации: воду грели на керосинках (а если на электроплитках, то экономя каждую минуту: свет «давали» на два часа в сутки). Как тут не ценить кипяток да еще в нетопленном доме – ведь не греть же заново! Раз приготовлен чай, то ни капли не должно быть потеряно, и налито – до краев, и выпито до дна. Потому что добавки не будет. Поэтика военного детства, экономика 1942 года... Меир Шалев, родившийся шесть лет спустя, этого знать уже не может, его отец, Ицек Шалев, родившийся за четверть века «до», знать еще не может; дед, эмигрировавший с Украины за полвека «до», вообще жил совсем в другие времена.

И все-таки этот чисто русский жест: ладони, осторожно, чтобы не расплескать, охватывающие кипяточно-горячий стакан, – не потеряян, он достигает моей души полвека спустя через границы и фронты.

Обожгло душу... А дальше? Есть ли хоть краешек надежды, что «русский след» увековечится у потомков еврея, вернувшегося на Землю обетованную из проклятого галута? Да ни краешка! Все уйдет за край, будет потеснено уже в сознании детей, едва откликнется у внуков, а у правнуков вообще исчезнет миражным отсветом: снега, березы, волки...

«Через одно-два поколения «русский след» можно будет уловить только в музыке, в кухне да в ностальгических рассказах о бабушках и дедушках...

Тогда зачем хранить?

На вопрос «зачем» есть только один рациональный ответ: незачем. Но есть другой вопрос, вернее другой уровень бытия, на котором задаются другие вопросы. Зачем Багратиону было помнить, что он грузин, Барклаю – что он шотландец, Брюсу – что швед, Шафирову – что еврей?

Зачем евреям галута было помнить, что они евреи?

Сохраниться, чтобы вернуться?

Ну, вернулись. На Земле Обетованной выяснили, что по психологии они уже непоправимо русские, так что Меир Шалев вынужден напоминать приехавшим, что в Израиле они – израильтяне, и зря они привозят из Москвы Жириновского с его идеями.

Хорошо. Жириновского оставьте нам: мы его породили, мы и разберемся в его идеях. Речь о другом, о том, что генетические и культурные корни индивида должны быть хранимы в памяти личности без малейших перспектив делового употребления. Багратион и Барклай, Брюс и Шафиров были российские граждане, русские патриоты (длить список? Дерibas, Крузенштерн, Лазарев, Даль...). Они имели полное право обрусеть без остатка и забыть, кто их предки.

Обрусели. Но не забыли.

Возвращаю разговор на израильскую почву. Алия предполагает возврат души и тела в лоно Отечества, избранного душой и телом. То есть: евреи, вернувшиеся в Израиль, должны стать израильтянами. Вести себя они должны – как израильтяне, а не как пятая колонна России, Америки или Сирии.

Помнить, что они русские – это их интимное, святое дело. Как святое и интимное дело было – русским евреям, которые гибли за Советский Союз в Сталинграде, – помнить, что они евреи. «Несмотря ни на что».

Можно считать, что это мистика, а можно – что это нормальное самоощущение полукровок. Потому что несмешанных народов на планете нет, и всякая нить в ковре мировой культуры, сплетенная с другими нитями, не должна быть потеряна.

Но как быть с тем, что гремучие смеси, хлынувшие в Израиль, делают гремучей смесью саму израильскую культуру? *«Я понимаю, – пишет Шалев, – как отпугивает многих из новоприбывших наш «левантийский» быт – шум, беспардонность, нахальство, отсутствие приличных манер...»*

Я тоже понимаю. Но отвергаю эту характеристику в качестве еврейской. Беспардонность, нахальство, отсутствие приличных манер свойственны и русским провинциалам, являющимся «завоевывать Москву», и вообще всем нуворишам – это обратная сторона их робости, компенсация ужаса от сознания отсутствия манер. Но сам факт «вавилонности» израильской культуры подмечен и описан Меиром Шалевом с замечательной трезвостью:

«Со временем европейские и американские веяния сильно потеснили русскую культуру в израильском обществе: молодое поколение конца пятидесятых и шестидесятых годов прошлого века уже не слышало русской речи у себя дома, они увлекались песнями «Битлз», читали европейских и американских авторов. А еще через некоторое время на нас накатилась мощная «восточная» волна. И сегодня об израильской культуре можно говорить как о культуре полифонической, в ней много тонов и оттенков, и мне лично это очень нравится.»

Готов проникнуться тем же чувством по отношению к русской культуре, в которой полифония славянских, финских и тюркских начал дополнилась в Новое время элементами западноевропейскими, кавказскими, еврейскими – этими особенно в советскую эпоху. Только у нас это называется не «полифонией». У нас это – «всеотзывчивость».

Кстати, полифония Израиля ставит под вопрос пресловутую этническую чистоту «титупной нации», сохраняемую в замкнутых общинах. И слава богу. Поскольку это, так сказать, не моя епархия, сошлюсь на моего собеседника:

«У бабушки с дедушкой было семеро детей. Одна часть из них – блондины, а другая – жгучие брюнеты, смуглые, темноволосяе – возможно, эти последние пошли в деда, который был очень похож на Пушкина. И до сих пор в нашей семье светловолосых называют «русскими», а брюнетов – «арапами.»

Я совершенно не приемлю разговоров о том, что некоторые из русскоговорящих репатриантов не являются евреями. Вглядитесь в лица представителей любой еврейской этнической общины – будь то «бухарцы», «румыны», «марокканцы», «поляки» – вы всегда встретите среди них тех, кто на евреев вроде бы и не похожи... Потому так ненавистны мне утверждения, что, дескать, этот – еврей, а тот – не еврей...».

Потому что еврей – это тот, кто называет себя евреем. Тот, кто хочет быть евреем. Тот, кто ведет себя как еврей и согласен терпеть все то, что терпят евреи.

Заменяю в моей ситуации слово «еврей» словом «русский» и закрываю вопрос. А корни мои прошу оставить мне для ощущения таинственных глубин бытия.

Но ведь из этих глубинных корней может произрасти нечто такое ботаническое, такое зоологическое, такое сверхчеловеческое, рядом с чем образные идеи Жириновского, которые Меир Шалев отказывается понимать, покажутся образцом вполне приличного поведения.

Очкарики галута и задвохлики Скотопригоньевска знают, на что я намекаю: это ведь русские научили израильтян презирать интеллигенцию.

Мекир Шалев пишет об этом так:

«Помню, как в детстве, в Нахалале, моя семья тяжело переживала, едва ли не сгорала от стыда, когда выяснилось, что мне придется надеть очки. Очкарик? Да ведь это еврейский заморыш, который корпит над книгами».

И дальше:

«Наши дети должны быть сильными, широкоплечими, зоркими, с орлиным взглядом. Наш парень должен быть крестьянином и солдатом».

И взвешенно, как бы уже подводя базу под идею израильского возвращения к земле:

«Это «возвращение к земле», эта мечта о сильном и свободном человеке труда привели к тому, что в нашем обществе, впитавшем «русские» идеи, да и состоявшем на заре своего формирования в основном из уроженцев Российской империи, сложилось некое презрительное отношение к интеллигенции. Более того, интеллигентность отвергалась и высмеивалась. Первопроходцы, или, как их принято называть на иврите, «халуцим», вынашивали в своих мечтах образ «нового еврея» – рослого, мощного, вспахивающего землю, причем одной рукой он направляет свой плуг, а другой сжимает меч. Он обеими ногами твердо стоит на земле, его мускулистое тело дочерна загорело под палящим солнцем...»

А теперь представьте себе, что среди таких людей появляется мой отец Ицхак Шалев – бледный горожанин, в очках, поэт, преподаватель ТаНаХа. Над ним все смеялись, его презрительно называли «интеллигентом».

О, господи! Да его и в России называли бы «интеллигентом» – с той же мерой презрения. Да еще и гнилым. Было время, когда в русском языке это существительное без этого прилагательного вообще не употреблялось. Но поскольку советской власти со временем понадобились – взамен ликвидированных – свои «толковые банкиры, умные финансисты, расторопные торговцы», а также учителя и врачи, – существительное реабилитировали, снабдили новым прилагательным, и тогда появилась «советская интеллигенция», и сделала свое дело, напоследок забросив в демократическое болото целое поколение «шестидесятников».

Поскольку я имею честь принадлежать к этому оплеванному поколению, не буду уподобляться тому кулику, который хвалит только свое болото. Скажу о тех «солдатах», которые в Израиле должны были твердо стоять на земле, *«одной рукой направляя плуг, а другой сжимая меч».*

В истории всякого народа бывают этапы, когда нужны именно такие люди. И Россия, вечно воюющая за ту «шестую» (теперь пятую) «часть суши», которую подсунил ей для жизни вездесущий Всевышний, – периодически опирается на таких людей. Это и воины Куликова поля, сопровождаемые крепкими монахами Сергиева посада. Это и бойцы Кутузова при Бородине – «небитые дворяне», тринадцать лет спустя, в декабре 1825-го, побитые другими «небитыми дворянами», кстати, такими же героями Бородина. Это и солдаты 1945-го (те, что не полегли в 1941-м); вообще-то они были богатыри скорее калибра Васи Теркина, чем Ильи Муромца или Святогора; однако увековечивая победителей, скульптор Вучетич дал ему в руку плуг, который вместе с тем меч; эту перековку меча на орало Меир Шалев, возможно, созерцал перед зданием ООН в Нью-Йорке.

Разумеется, в моменты штыковых атак или при столкновении танковых армий на Прохоровом поле очкарикам лучше посторониться. Но это очкарики дали русской армии трехгранный штык, сообразив, что он вспарывает животы врагов лучше, чем нож, и это очкарики рассчитали наклон брони, сделавший советский танк лучшим в мире.

Так что не стоит устраивать погромы интеллигенции – ни в Израиле, ни в России. А если погромы все-таки устраивают, то тут мы уже соскальзываем в те самые тайники психологии,

где здравый смысл сроду не ночевал. И лучше не выпускать их из тайной прапамяти личности на общественный простор.

Я хочу вернуться с исторических полей России (их, как сказано, три: Куликово, Бородинское и Прохоровское) на изрезанный рельеф Святой земли, в «складках» культуры которой таятся (и должны таиться) необъяснимые голоса прапамяти.

Меир Шалев знает это чувство:

«Вдруг на улицах Иерусалима я услышал выговор моей бабушки, которая до последних своих дней так и не смогла избавиться от характерного русского акцента... Вдруг я увидел лица, которые так напоминали мне бабушку... И я хотел, чтобы из тех краев прибывали еще и еще. Я увидел в новоприбывших «своих» и с радостью подумал: «Слава Богу, теперь и у меня тоже есть своя «эда» – этническая община». У всех была своя этническая община – у «марокканцев», у «болгар», у «иракцев», у «тунисцев»... Теперь она есть и у меня – «русская». Я не подозревал, что в моей памяти хранятся и русский выговор, и запахи русской еды (я ощутил это, когда начали открываться так называемые «русские» магазины)... Во мне живет ощущение, что они, эти новоприбывшие, как-то принадлежат к моей семье».

Ну, раз магазины, то самое время сбегать за бутылкой, законтчить друг с другом на интеллигентской кухне и налить, как у нас принято, всклень.

Бедненькая, как же ты выжила?

Сознаюсь в плагиате: это внучка Корне Чуковского ахнула, впервые осознав, что дед жил при проклятом царизме: бедненький, как же ты выжил?

А я эту историю выудил из детективно-мемуарной книги израильтянки нашенского происхождения Нины Воронель «Без прикрас». Книгу недавно издал Игорь Захаров и, перечислив на задней обложке чертову дюжину знаменитостей, заметил, что о них в книге сообщены такие подробности частной, а порой и тайной их жизни, что знающие пытаются скрыть, «а большинство не знает и вовсе...».

Соглашусь с издателем: детективная сторона дела здесь не менее увлекательна, чем мемуарная. Тем не менее, детективную часть я оставляю в стороне. Эта часть книги посвящена истории борьбы группы еврейских отказников за выезд из СССР; Нина Воронель играла в этой борьбе видную роль, стоя плечом к плечу со своим мужем, знаменитым физиком, публицистом и идеологом сионизма Александром Воронелем, и описала она все это так ярко и яростно, что язык не поворачивается назвать ее бедненькой. И вообще это уже, наверное, часть еврейской истории и еврейской жизни, судить о которой нам приходится уже несколько со стороны и издалека.

Сосредоточусь на русских частях книги: в них показано вызревание души, вынесшей такую ярость (и яркость).

Три качества отмечу сразу в характере рассказчицы. Прежде всего, это бесстрашная откровенность, затем – психологическая проницательность и наконец – страсть к разгадыванию тайн. Чисто читательски эти качества, доведенные до степени вызова, должны обеспечить книге интерес и внимание тех, кто не знает материала вовсе, не говоря уже о тех, кто знает, да пытается скрыть. Тем более что материал (в частности, нашумевший когда-то процесс Даниэля и Синявского) все еще волнует многих, хотя за сорок лет много воды утекло и в Москве-реке, и в Сене, и в мордовской Суре, не говоря уже об Иордане.

Должен сказать, что хотя запретные подробности из жизни замечательных людей весьма выигрышны, литературная искушенность Нины Воронель в принципе и без них могла бы обеспечить интерес читателей: в книге есть прекрасно написанные новеллы. Например, о том, как по республикам советской Средней Азии возят мистера Аверелла Гарримана. Стремясь обеспечить комфорт американскому гостю, стюардессы гоняют по самолету наших безответных граждан, а один – Вася Кнопкин – не желает быть безответным и протестует голосом, взвываящимся почти до плача. Это – к вопросу о правах человека. Или – новелла о кошке, которую задумали выгнать из дома, а она, озверев, накликала на головы обидчиков такие беды, рядом с которыми арест Синявского и Даниэля кажется просто частностью. Мистика! Или – новелла про больную Ахматову, которую рассказчица навещает; та, догадавшись о подлинной цели визита, человеколюбиво разрешает: «Вы небось хотите почитать мне свои стихи? Прочтите одно...» (Пастернак не был так человеколюбив – сразу отрезал: «Чужих стихов не читаю и не слушаю, они мне мешают писать свои»). Нина читает Ахматовой: «Меня пугает власть моя над миром... Чтоб на паркете люди спотыкались, чтоб на шоссе машины заносило». Ахматова слушает, хвалит и отпускает гостью, а потом спрашивает вслед, когда та уже у двери: «У вас и вправду есть такая власть?»

При жесткости воронелевского пера и непрощающей памятьности такие эпизоды, полные юмора и самокритичности, сильно смягчают ситуацию.

А есть, что смягчать. Бесстрашная откровенность, с которой Нина Воронель живописует неприкосновенные фигуры давней и недавней российской истории, не просто достойна комментариев, а явно на комментарии провоцирует. Чтобы не задевать фигуры слишком близкие, нырну в достопамятный XIX век: жена великого писателя ложится перед ним в постель и,

обнажившись, посвящает в подробности своей любви к другому, затем протягивает ему для поцелуя ногу и тут же выгоняет из комнаты. Такой крутости не достигала и Авдотья Панаева, чьи записки когда-то потрясли читателей... хотя русской литературы и не пошатнули. Не пошатнут ее и мемуары Нины Воронель, притом, что многим будет любопытно подсмотреть вдову знаменитого советского поэта, какова она в бане. Иных же обрадует реплика, адресованная к не менее знаменитому советскому публицисту: «Вы думаете, что вы дерьмо, а вы – собака дерьмо». Передавая нам эту полувековой давности инвективу, Нина добавляет со знанием дела: дерьмо – «любимая субстанция раннего Сорокина». Очко!

Теперь насчет психологической проницательности. На сей раз придется потревожить не классиков позапрошлого и первой половины прошлого века, а фигуру близкую, к тому же мне лично близкую, это – Андрей Синявский, которого я знал лично и имею некоторые основания считать своим учителем.

Застав его однажды пьяным и получив возможность сопоставить некоторые цитаты в его черновых и белых бумагах, Нина отмечает «многослойность и непрозрачность» этой натуры и приговаривает: «Я всегда знала, что он – человек с двойным дном».

Пока в вашем сознании маячит непрозрачность, мысль о двойном дне кажется интересной и даже – в русском историческом контексте – многообещающей. Тут уже не Авдотья Панаева-Головачева простирает руки над ситуацией, тут Розановым пахнет, и не тем, который может показаться всего-то родственником жены Синявского Марии Розановой-Кругликовой, а тем, какого преподнес нам загадочный Веничка Ерофеев в своем пьянящем эссе.

Разгадывая вместе с Ниной эту загадку, мы получаем от нее следующее объяснение «эксцентричной расхристанности» Синявского: «когда все вокруг либералы, интернационалисты, он играет в националиста, славянофила и верующего. А когда вокруг все оказываются славянофилами, верующими и православными, – он тут же выходит из общих рядов... Потому что он может быть только один. Это его главная черта. Быть одним: единственным».

Ну, разумеется. Быть одним-единственным – вообще черта (мечта) любого человека, наделенного художественным (и интеллектуальным) даром. Пусть Нина заглянет в собственную душу.

А вот насчет того, чтобы специально заботиться о собственной непохожести... И вы в самом деле думаете, что это – «главная черта» Синявского?! Полно, скорее, это про Гробмана, чемпиона Израиля по «выпендриванию»: в августе ходит в гости в сапогах, а зимой – в шортах. Вот ему действительно важно быть не как все.

Я-то думаю, что талантливому человеку просто неважно, как все он или не как все. Или: первый он или не первый. Художник, занятый своей болью, вообще существо без номера. А если кто такой нумерацией озабочен, это плохой признак.

Боль Андрея Синявского – русская история, русская судьба, русская реальность, невменяемость наша, вечная неизбывная «дурь» и безнадежное тягание с западной успешностью. И от этой русской боли было Синявскому, я думаю, в высшей степени наплевать, кто там где его окружает и в какие «общественные движения» его вербуют. Он жил своей сверхзадачей.

Это очень хорошо понял Александр Воронель. Именно поняв Андрея Синявского как *русского* мыслителя, он ощутил себя мыслителем *еврейским*! Физик, распятый на «мерах и весах», естествоиспытатель, чья наука «не имеет национальности», затрепетал от забот иудейских. И Нина, верная еврейская жена, из несчастной русской поэтессы, самое это слово «поэтесса» ненавидевшей, превратилась в тигрицу отказа, к которой с уважением и на «вы» обращались приставленные гебешники!

Так если Воронелю хорошо быть евреем, почему бы Синявскому не быть русским?

А если быть русским в его ситуации, когда национальная идея идет вразрез со всемирной ролью, – если в этом положении быть русским – означает непрозрачность, так, извините, прозрачность тут ничего не прибавит, и оттого, что вы выведете такого мыслителя на чистую

воду, смутность ситуации не исчезнет, и проблема к разрешению не приблизится. Потому что масштабы задач несоизмеримы.

Тут я подхожу к третьей ипостаси Нины Воронель: к ее детективной фантазии. Она скрупулезно расследует: неспроста же в лагере позволили Синявскому писать «Голос из хора», а потом дали вывезти во Францию дорогую мебель! А что, если вся эта история: и публикации «Абрама Терца» за границей, и судилище, и срок, и высылка – на самом деле многоходовая дьявольская операция советских спецслужб с целью внедрить Синявского за рубежом в эмигрантские круги (и вообще под корку западной интеллигенции) как агента влияния?

Интересно. Панаевой такое в голову бы не пришло. Боюсь, что и Розанов, он же Варварин, не додумался бы. Разве что Юлиан Семенов?

Так вы допускаете, что наши идеологи и контрразведчики настолько дальновидны и последовательны, что способны задумывать и осуществлять такие долгоиграющие операции? Что-то не верится. Не ближе ли к истине другое: что эти службы между собой сговориться не умеют: одни чету Воронелей выпускают в Израиль, а другие гадят и препятствуют...

Ну, пусть даже так: запустили они агента влияния (попутно уморив Даниэля, пристегнутого к операции ради эффекта достоверности). Ну, и что получили? Синявского, который пошел направо, когда все (там, во Франции) пошли налево? Или: он налево, а все направо? Да кого это интересовало уже тогда, когда они там очередной раз передрались? Пусть лучше Нина вспомнит сплоченный единым порывом «миллион задниц», еще при Советской власти вогнавший ее в ужас, когда в Гиссаре она подсмотрела исламский праздник «из-за полуприкрытой двери медресе». А потом пусть продолжит свои изыскания на предмет того, сотрудничал ли Синявский с гозбезопасностью.

Ах, сотрудничал! И сам сознался! И Хмельницким подтверждено: в сороковые годы в Париж за казенный счет летал. На бомбардировщике! Француженку обольстил, чтобы тексты свои там опубликовать.

Вот тексты и останутся. А подробности биографии, как догадывается сама Нина, быльем порастут. И интересны лишь постольку, поскольку интересны тексты. На какую разведку работал Иван Посошков? Был ли двойным, то есть чекистским, агентом деникинский офицер Александр Попов, взявший впоследствии в качестве псевдонима имя и фамилию своего погибшего брата: «Михаил Шолохов»? Это интересно? Интересно. Потому что «Тихий Дон» интересен.

А вот кто на Руси писатель номер один, решительно неинтересно.

Ну, как же: Синявский, поди-ка, рассчитывал, что, выйдя из лагеря, он займет место главного русского писателя, а нет: место успел занять Солженицын.

Это еще что! Вон Геннадий Айги как-то заявил, что в поэзии всего три гения всех времен и народов: Гете, Рильке и Красовицкий.

Первых двоих слушатели проглотили, а насчет третьего переспросили ехидно:

– Красовицкий? Лучше тебя?

– Почему лучше? – обиделся Айги. – Вровень!

Мне бы ваши заботы, господин учитель...

Покину-ка я литературные ристалища с их обидами и обращусь к кинематографу, благо Нина Воронель дает к тому отличный повод: уже в качестве израильянки она посетила Каннский фестиваль как раз в тот день, когда Андрей Тарковский показывал там свою «Ностальгию».

Вот ее отчет.

В зале – «обезумевшие от напряжения кинозвезды и понукаемые ненасытными продюсерами режиссеры»; умопомрачительные наряды, придающие всем дамам товарный вид, и атласные лацканы, делающие всех мужчин похожими на официантов.

На сцене – Андрей Тарковский: «печальный ангел» под сенью «неоглядного полотна Экрана»: «бледное треугольное лицо нервно подергивается, вскидывая левый угол усатого рта к затравленному лермонтовскому глазу».

Оценили портрет? Рад засвидетельствовать точность и беспощадность пера. Могу также засвидетельствовать точность и беспощадность анализа фильма в ее очерке: о «Ностальгии» ни один кинокритик, кажется, не написал так пронизательно: не вскрыл, как Нина Воронель, нашу вечную русскую жажду проклясть свое и отлететь на чужое, чтобы тотчас, исчужа, изойти тоской по своему... Вот оно, двойное дно, дорогие соотечественники.

В этом поразительном разборе только одна фраза написана в жанре кинокритики: что на всей этой каннской киноярмарке «Ностальгия» Тарковского – *единственное* произведение искусства.

В контексте всего написанного эта фраза кажется фиговым листком, так что кинодеятели (включая и самого Тарковского), справедливо пропустив эту фразу мимо ушей, на Нину Воронель обиделись.

Я бы на их месте поклонился ей до земли. Но речь не об их амбициях. Речь о том, почему на фоне каннской кинобутафории ее зарисовка кажется такой вызывающей.

Потому что она из ситуации начисто, демонстративно, издевательски выпадает. И тем самым ситуацию просвечивает, высвечивает, выворачивает насквозь: ситуацию всеобщей «товарности», купли-продажи, в обстановке которой не только кинодивы и кинодеятели придают себе «товарный вид» (сама Нина, не стесняясь, делает с собой то же самое; рискну добавить от себя: есть из чего делать), но даже произведение настоящего киноискусства, порожденное глубинами духа, – приобретает клеймо рыночного торжища.

Теперь обернем эту киномодель на литературную ситуацию, описанную у Нины как «Вариации на тему Золушки».

Прибывает она из Харькова завоевывать Москву с ненужным дипломом университетского физмата и с воображаемой волшебной туфелькой, которую нужно в нужном месте потерять.

Потерять, понятное дело, лучше всего в ресторане Центрального дома литераторов. Откуда при удаче ляжет путь в Переделкино, заветный писательский город. А там, если опять-таки повезет, и какой-нибудь добрый дедушка Корней поможет, – откроется путь в еще более недоступный Союз писателей.

Нине везет. А дальше к ней, уже завоевавшей место под литературным солнцем, идут косяком земляки-харьковчане, начинающие поэты, которым охота в Москве «проветриться».

Врут. Не «проветриться». А зацепиться в той «сладкой жизни», которая чудится им на месте литературы.

«В Москве можно пробиться по-настоящему». «Мы, совсем зеленые, только что из провинции, тычемся, как слепые котята, в джунглях чужого, равнодушного к нам, огромного города». «Только бы найти заветный ключик, и распахнется волшебная дверь».

Распахнули. Что же за дверь? Освоив секреты проходных дворов и служебных дверей Дома литераторов, предприимчивая Золушка обнаруживает, что сверкающее здание советской литературы – мираж, что оно рухнуло (не от напора ли штурмующих? – Л.А.), и оказывается в конце концов эта Золушка со своей туфелькой «на жердочке в одноэтажной времянке израильской литературной тусовки» вместе с такими же перелетными птицами. И там, наверное, продолжает думать, что ей – завидуют! Все! От неудачливых поэтов, продолжающих мыкаться в окрестностях ресторана ЦДЛ, до гебешников, гадающих отказникам вплоть до самого трапа самолета, который должен отвезти избранных на историческую родину.

Что-то плохо верится мне насчет зависти. Надо же быть абсолютно пустым внутри, чтобы зависть (Нина пишет ее с прописной буквы: Зависть) числить универсальным двигателем эмоций. Не верю, что Нина Воронель в это верит. Не зависть же двигала ею, когда сквозь немую

музыку математических формул услышала она карканье Ворона Эдгара По! А потом зарази-лась ритмами Оскара Уайльда! Это же одаренность, а она по определению исключает зависть.

Но соблазн – остается?

Остается. Особенно, когда выворачивается в свою противоположность, и тогда противоположности сходятся. То есть из армии карьеристов, мечтающих прорваться в систему (и в литературу), штурмующие переходят в армию диссидентов, мечтающих эту систему (и литературу) сровнять с землей.

Нина признается, что, сойдясь с диссидентской братией поближе, она ухудшила о ней свое мнение.

Еще бы! Биологическая жизнь так устроена: с кем ни сойдись «поближе» – мнение «ухудшится». Так, может, лучше не сходитьсь? Не лезть в кучу?

Да как же не лезть, когда кругом – сплошные кучи! Не делать же все наоборот, как Гробман! Но тогда – принимай законы кучи. А это значит: вламываются в дом, когда хотят, без приглашения: «друзья, друзья друзей, случайные знакомые, случайные знакомые случайных знакомых... И все вокруг суетятся, что-то пишут, читают написанное дрожащими от волнения голосами». Думают, что атакуют тоталитарную державу, а на самом деле штурмуют, только с тыла, ту же самую «сладкую жизнь».

«Переходим к бесовщине, – догадывается Нина. – Без бесовщины никакое революционное движение невозможно».

Правильно! Недаром Веничка Ерофеев преподавал нам Розанова, который в свою очередь преподавал нам Достоевского. И Андрей Синявский недаром, по примеру давних русских своих предков, делавших два-три потайных выхода из лесного убежища, – нащупывал два-три запасных дна в наших безднах, и писал одно и то же на разные лады. Тяжелая страна. А душу спасать надо.

Спасает душу и Нина, она же Нинель, она же Неля.

Как?

Тут я обращаюсь еще к одной сфере ее жизни, описанной с особенным блеском: к туристским походам и путешествиям, каковым она, как истинная «шестидесятница», отдала щедрую дань в годы молодости.

Несколько зарисовок.

...Рыбнадзор на Нижней Волге:

– Е-мое, ты кефаль знаешь? А какие у ей кишки, знаешь, е-мое? А вот и не знаешь! Нет у нее кишок, е-мое! Нет, все!

...Капитан на Енисее:

– Раньше Полярный круг проходил на четыре километра северней...

– А потом он что, взял и сместился?

– Не то, чтобы сам... Нашлись такие, которые его сместили...

– А кому он мешал на четыре километра севернее?

– Товарищу Сталину он мешал. Товарищ Сталин ссылку отбывал при царе в Туруханске, а Туруханск четыре километра до Полярного круга не дотянул. Так вот, когда объявили, что товарищ Сталин отбывал ссылку за Полярным кругом, Полярный круг пришлось передвинуть.

...Мичуринец в Норильске:

– Это наш городской парк! Мы разбили его только год назад...

Тут Нина замечает карликовые деревца, взлелеянные северянами, и приходит в ярость:

«...Продолжают жить, как на Луне – в совершенно искусственных условиях, противоречащих всем нормам человеческой природы...»

«Сердце мое разыграло ненавистью и обидой за людей, бесследно исчезнувших, без вины виноватых...»

«Сколько их было? Кто они были? Они канули в безвестность – над их могилами нет ни плит, ни крестов, да и могил самих тоже нет. Их останки поглотила земля и засосала вечная мерзлота...»

Посвятив памяти этих людей стихотворение, божией милостью поэтесса продолжает туристский маршрут по дороге Норильск – Игарка.

А у меня так и вертится на языке вопрос, подсказанный внучкой старого сказочника:

– Бедненькая, как же ты выжила?

Светильники в море света *Диалог с Амосом Озом*

Л.А. Хотя и не первый раз я вступаю в диалог с уважаемым Амосом Озом, однако чувствую необходимость представиться. Не потому, что по формальному признаку отношусь «к тем и этим» (отец – русский, мать еврейка), а потому, что должен определиться по признаку содержательному: кто я – еврей или русский?

Определяюсь: русский. По судьбе, по культуре, по языку, по характеру, по самочувствию, наконец. Да еще и ассимилятор впридачу. Согласно завету Пастернака: «не собирайтесь в кучу!» То есть: раз остались жить в России – обрусевайте!

Мне русеть не надо – я никем другим никогда себя и не мыслил.

Однако какой русский не находит у себя инородных корней? Забыть ничего нельзя, особенно в такой полиэтничной стране, как Россия. Помнить все, что в тебе смешалось! Хранить то, что завещали нам «эфиоп» Пушкин и «литовец» Достоевский: всеотзывчивость! Жаль, во мне только две известные мне крови, было бы больше – все бы помнил. И оставался бы при этом неискоренимо русским.

В каком качестве и решаюсь вступить в диалог с моим уважаемым собеседником, который предстает передо мной человеком неискоренимо еврейским.

Отлично. Себя как в зеркале я вижу, а льстит ли мне это зеркало, станет, надеюсь, ясно по ходу диалога.

Далее – фрагменты из размышлений Амоса Оза о еврейской культуре, озаглавленных: «Припадая к великому источнику».

В мире зеркал даже один светильник дает море света. А уж два...

Зеркальная проекция

А.О. На мой взгляд, наша культура – это все, чем обладает народ Израиля, все, что накоплено со времен праотцев и до наших дней, то, что родилось внутри, и то, что усвоено извне, но стало своим, то, что в ходу ныне, и то, что было в ходу во времена минувшие, то, что принималось всеми, и то, что принималось лишь частью народа. Все это и составляет культуру еврейского народа – в нее входит и то, что создано на иврите, и то, что появилось на других языках, и то, что существует в устной традиции.

Л.А. Итак, пробую зеркальную проекцию. Русская культура – это все, чем обладает народ России, что накоплено со времен пращуров и до наших дней, что родилось внутри и что усвоено извне. То, что сочинил дедушка Крылов, но и то, что он взял у Лафонтена и пережил как русский, и даже то, что он взял у Эзопа, которого в свой час пережил Лафонтен... Для русских это существенное уточнение: мы, можно сказать, берем что хотим и где хотим – на Востоке и на Западе, и все делаем своим. Следствие этого – вечная распря западников и славянофилов, но в русскую культуру входят они все и вообще все. И то, что принималось лишь частью народа: дворянством в пику черни, крестьянством в пику барству, пролетариатом в пику буржуазии, буржуазией – в пику пролетариату.

А вот язык я оставил бы один – русский. При переводе с русского на другие языки зеркальная проекция может обернуться комнатой смеха. О том, что передаваемо и что непередаваемо при переводе с русского и на русский можно прочесть у Набокова в предисловии к «Лолите».

«Никто не вправе указывать, что нам делать!»

А.О. Я думаю, что определенные особенности нашего поведения и, более того, некоторые «реакции», являющиеся следствием нашей коллективной памяти, тоже должны быть вклю-

чены в понятие еврейская культура. Нельзя не увидеть, скажем, того легкого налета юмора, которым окрашен наш подход ко многим явлениям жизни. Четко просматривается несомненная тенденция критического отношения к происходящему: «Никто не вправе указывать, что нам делать! Мы сами знаем это лучше других». А от внимательного взгляда не ускользнут и такие проявления нашего характера, как склонность к самоиронии, стремление выглядеть изоциренно умным или вспыхивающая временами жалость к самому себе. На многие явления культуры наложила отпечаток богобоязненность, благочестие, особое, исполненное искренности и глубины, отношение к праведности и к праведнику. В нас, а значит, и в нашей культуре уживаются прагматизм с фантазерством, экстаз со скептицизмом, эйфория с самыми мрачными прогнозами, ликующая радость жизни с меланхолией. Нетрудно заметить и такую особенность нашего восприятия мира, как недоверие по отношению к любой власти: похоже, этот «ген анархизма» заложен в нашем геномном коде – не в «физическом», а в «культурном», и, где бы мы ни жили: в России, в Америке, в Германии, в Марокко, в Йемене, в Израиле, он неизменно и властно давал знать о себе. Так же, как и явная наша склонность к протесту против любой несправедливости...

Л.А. Насчет справедливости и несправедливости – чуть позже, а пока насчет общего подхода.

Юмор? Это скорее у наших братанов-украинцев. А у нас? Фантастическая серьезность, прерываемая фантастическими же взрывами дикого веселья! Жалость к себе – сокрушительная, и рядом – безжалостность к себе, самопожертвование, самоуничужение паче гордости. Рядом с фантазерством – прагматизм (американская деловитость), рядом с экстазом – скептицизм (апология «лишнего человека», перешедшая в апологию «гнилого интеллигента»), а уж эйфория (светлое будущее) – компенсация самой мрачной мизантропии (вечно близкий конец света и вечно ожидаемая гибель России). В одном стакане – ликование и меланхолия (пьянка и похмелье).

Недоверие к любой власти – это у русских первейшее дело. Ругань в лицо и в спину начальству. «Русский бунт, бессмысленный и беспощадный». И покаянное оплакивание опрокинутой власти – задним числом.

Так же, как и явная наша склонность к протесту против любой несправедливости... Это у нас тоже вечное: вопль о попоранной справедливости и о немедленном реванше. Независимо от общего миростояния, то есть от истины. Мы истину расщепляем на две: есть правда-истина (нечто недостижимо-непостижимое, ибо правда у каждого своя), и есть правда-справедливость (постичь и достигнуть немедленно: Даешь передел! Наша берет! Было ваше – стало наше и т. д.).

Оказывается, и евреи «трехнуты» этой идеей? Замечательно! А может, это вообще общечеловеческий удел? У Фолкнера Сноупс говорит:

– Я не хочу, чтобы было хорошо, я хочу, чтобы было по справедливости!

Родная душа, на сей раз американская.

Потому и говорим сегодня американцам:

– Никто не вправе указывать, что нам делать!

А Всевышний?

А.О. Всевышний все время говорит о «жестоковыйности» еврейского народа, о том, что он по любому поводу готов вступить в пререкания: народ спорит и пререкается с Моисеем, Моисей спорит и пререкается с Богом и даже подает ему «заявление об отставке», которое, в конечном счете, забирает обратно, – но только после ведения переговоров, после того, как Господь принимает его главные условия.

Л.А. Евреи с Богом пререкаются, спорят о законности, качают права. О, какая «жестоковыйность»! А у нас со Всевышним не спорят. Ему хаят: «Ну, ты, недоучка, крохотный

божик!» Мы его норовим пырнуть ножичком из-за голенища, пришить, прибить. Потом ползаем в слезах: каемся. Какие там «условия»! Мы народ безусловный. Все или ничего!

Величие и обширность

А.О. Еврейская культура – это нечто гораздо более великое и обширное, чем ортодоксально-жесткий круг верований, моральных принципов и жизненного уклада, сложившихся некогда в среде восточноевропейского еврейства и известных в современном мире под общим названием «идишкэйт». Признавая все значение «идишкэйт», я в то же время убежден, что это – всего лишь эпизод в истории нашей культуры. Она существовала задолго до того, как в шестнадцатом веке раввин Иосеф Каро опубликовал свой кодекс «Шулхан Арух», регламентирующий религиозную, семейную и гражданскую жизнь евреев. Существует и ныне, через несколько столетий после выхода этого основополагающего свода правил и понятий. Существует не только у нас в Израиле, но и в Америке, Германии, Венгрии, Йемене, Марокко, Ираке... И, разумеется, в России, где «возраст» ее исчисляется столетиями.

Л.А. Русская культура – это нечто гораздо более великое и обширное, чем ортодоксально-жесткий круг верований, моральных принципов и жизненного уклада, сложившихся некогда в среде восточноевропейской России, – памятных в современном мире как Московское царство, Российская империя, Советский Союз. Все это – лишь эпизоды в истории русской культуры. Она существовала задолго до того, как в шестнадцатом веке ее регламентировали на Стоглавом соборе, а до того в «Русской правде», она существует и ныне... но, боюсь, только в России, ибо в Америке, Германии, Венгрии, Йемене, Марокко, Ираке... русские вряд ли удержались бы в форме галута. Опыт русской эмиграции показывает, что русские – как вода, принимающая форму сосуда, они теряют русскость, или уж – возвращаются под родные осины и восстанавливаются как русские – в своей тарелке.

Вот только родная территория у нас – как тарелка: плоская и без естественных границ.

Русское блюдо

А.О. Я намеренно подчеркиваю слово *еврейское*, а не *иудейское*, потому что слово *иври* – *еврей* более древнее, чем *иехуди* – *иудей*. Сравнивая то, как называют евреев в разных странах, скажем, в Германии, Англии, Америке, я предпочитаю русский вариант, поскольку русское слово *еврей* значительно ближе к его ивритскому собрату *иври*. Если бы царю Давиду сказали: «Ата иехуди» (Ты – иудей), он ответил бы: «Да, я из колена Иехуды». Так он понял бы сказанное, а все остальное, включая и «идишкэйт», было бы вне его понимания.

Л.А. Русский вариант еврейства (опыт сохранения «зова крови» независимо от языковых, религиозных и прочих «форм») в настоящее время подкреплен так: мы не евреи, но мы и не русские; мы – *русские евреи* – особый субэтнос в составе России.

Идея – теоретически абсурдная (ибо нет у русских евреев точки опоры, точки приложения, точки расселения, – если не считать опереточного Биробиджана), практически же идея здравая. И неопровержимая – то тех пор, пока существует сама Россия – «мир миров», в котором русеют и перекликаются «особые субэтносы», оставаясь при этом «россиянами» (слово, узаконившее этот живительный абсурд).

Но какой абсурд не имеет шанса оказаться спасительным в вертящемся мироздании?

А закон?

А.О. Вернемся к Аврааму. Каков смысл его слов: «Судия всей земли поступит ли неправосудно»? Говоря современным языком, он заявляет высшей власти, скажем, президенту, что тот не может быть выше конституции. «Хотя именно Ты установил законы, но и Ты должен поступать согласно этим законам, и Ты не вправе относиться к закону с пренебрежением».

И это – одна из самых глубоких, самых принципиальных идей, которые питают культуру Израиля. Это – залог демократических устоев. Любой человек, любой простолюдин, любой пастух может, подобно пророку Амосу, вступать в спор даже с Всевышним. Это – наша традиция, идущая из самой глубины веков и не утраченная поныне: уже в двадцатом веке хасидские раввины, потрясенные Катастрофой, вызвали Бога на «Суд Горы».

Л.А. Про евреев все правильно: закон – превыше всего. У русских ничего в этом духе не выходило, и нашелся грек, который освободил русских от законобоязни. Он сказал: не по закону здесь надо жить, а по благодати.

Так и живем.

Интересно: что происходит с законопослушными евреями, когда они попадают в карусель русской благодати? Как им крутиться в этой свалке любви-ненависти? За что держаться? За ту же «справедливость»?

А.О. Эта извечная тяга к справедливости мне видится одной из глубочайших основ нашей культуры – всюду и во все времена. Неслучайно во всем мире евреи были в первых шеренгах борцов за справедливость, пусть даже их участие в этой борьбе оказывалось трагической ошибкой, как это случилось в России в двадцатом веке. В любом уголке Земли, на любой баррикаде евреи занимали боевые позиции, сражаясь за справедливость – так, как они понимали ее. Во время Гражданской войны в Испании они были по обе стороны баррикад. Порою их ошибки носили даже трагикомический характер, но они не могли не броситься в бой с несправедливостью, потому что с молоком матери впитали мысль, что каждый еврей лично отвечает за порядок в мире.

Готовность встать на защиту справедливости, точнее сказать, особая чувствительность к любой несправедливости и стремление восстать против нее – это то, что лежит в самой сердцевине еврейского характера. Не Мессия, который придет, нет, ты лично несешь ответственность за все. Нередко это вело к ошибкам – трагическим, высоким, святым, комическим, преступным, абсурдным, просто глупым. Но источником всех ошибок было одно заблуждение: «Я иду исправлять этот мир!»

Л.А. Что до страсти исправлять весь мир, то русские тоже отметились в этой школе. «Мы за все в ответе!» «Принявши целый мир в родню». «Чтоб на первый крик «Товарищ!» оборачивалась земля»... Как удержаться при таком экстазе от «трагикомических ошибок», о которых так пронзительно пишет Амос Оз? Может, попробовать, как мы, русские, сверяться с благодатью, а не с законом, который, как известно, что дышло?

А.О. Разумеется, «исправители мира» есть и среди других народов. Но мне кажется, что этот импульс – исправлять сей мир – изначально «запущен» культурой еврейского народа, даже если у «исправителя» дедушка православный, а бабушка – католичка. Дело не в происхождении. Я говорю о том, что повлияло на этого человека: он читал Библию, он читал Пророков, или, по крайней мере, он читал литературу, возросшую на этой почве.

Л.А. Ну, и мы читали Библию, и мы читали Пророков, сначала на уроках Закона Божьего, потом, при безбожной власти, – из-под полы (что еще лучше усваивалось, как всякий запретный плод). И уж точно: вся русская литература возросла «на этой почве». Так в чем первородство евреев? В том, что им посчастливилось сохранить свои тексты с наиболее давних времен?

Лехайм!

Михаэль и Мандельштам

А.О. Известный израильский писатель Сами Михаэль рассказал, что в молодости он входил в центральный комитет нелегальной коммунистической партии Ирака: в этом комитете было тринадцать членов – один мусульманин, один христианин и одиннадцать евреев. «Сегодня, – подчеркнул Сами Михаэль, – я не коммунист, но и того, что я входил некогда в руководящий орган компартии Ирака, я отнюдь не стыжусь». И тут поднимается один из наших

«русских» гостей и заявляет: «Я не могу сидеть за одним столом с человеком, который был коммунистом и не стыдится этого. Если я позволю себе сесть с ним рядом, это равносильно тому, что я плюнул бы на могилу Мандельштама». Тогда я попытался утихомирить страсти, представив эту проблему так, как понимаю ее я: разве Мандельштам оказался диссидентом (хотя в его время это слово в России еще не было в ходу) не по тем же самым причинам, какие побудили Сами Михаэля присоединиться к коммунистам? Если бы этим двум людям удалось побеседовать друг с другом хотя бы в течение нескольких минут, они распознали бы друг в друге тот общий потаенный «код», который мгновенно обеспечил бы им взаимопонимание. Потому что двигали ими одинаковые импульсы, одинаковые побуждения – **непримиримость к власти, попирающей свободы.**

Л.А. Русский гость, наверное, употребил другое выражение: «я с этим человеком на одной десятине испражняться не сяду». Остальное точно: и про евреев, сражающихся по разные стороны баррикад, и про русских, которые, находясь по одну сторону, самозабвенно дерутся между собой. И двигает русскими один импульс: непримиримость к власти. К любой. И, разумеется, к попирающей свободы тоже.

Надо только заменить «свободы» на единственное число: «свободу», а еще лучше – на «волю» (волюшку), и получится нечто неповторимо русское.

А все-таки: если закон выше любой власти, даже Божьей, – то Закон должен быть выше и свободы («свобод» – по-западному)? Или на русских баррикадах еврей действует уже не по Закону, а... по благодати, что ли? Русские «исправители мира» действуют именно по благодати, замешанной хоть на вере, хоть на атеизме.

А еврей? Или у него свой источник энергии (свое право), которым он руководствуется (питается) в окружении других «языков»?

А.О. Единственный шанс для продолжительного и плодотворного существования еврейской культуры на различных языках – это реальное подключение в определенные периоды к источнику энергии. И пусть не обманывает нас тот факт, что эта «батарея» может довольно долго давать «ток», не имея возможности для подзарядки. Да, мы это наблюдали на своем веку. Россия, например, – самое яркое тому подтверждение. Десятки лет не было никакой связи с *источником*, но «батарея» все же не разрядилась полностью. Если бы, не приведи Господь, «напряжение» упало бы до нуля, то, скорее всего, не развернулось бы в 60-е годы движение евреев за право репатрироваться в Израиль, не было бы еврейского «самиздата», не было бы и многого другого, о чем мои русскоязычные читатели знают лучше, чем я.

Л.А. Я как русскоязычный читатель поворачиваю эту перспективу на свой лад. Если Россия развалится, если очередная перестройка (переименовка, перекрутка, перетасовка-перету-совка) приведет вообще к утрате понятия единой страны и единой культуры (не приведи Господи) и русская «батарея» разрядится полностью, – хватит ли русским энергии без подзарядки? Не уверен...

Нам бы жесткую еврейскую выю! А у нас что? Крутое народное тело – и огромная, набитая чужими идеями голова на тонюсенькой интеллигентской шее – вот-вот шея переломится. Горькая правда – недаром и высказал ее Горький.

Религиозность или секулярность?

А.О. «Песнь песней» – это религиозное произведение или секулярное? Хасидские притчи и истории – это религиозные произведения или секулярные?

Я даже не уверен, что в данном случае можно оперировать понятием *секуляризм*, ибо секуляризм обязательно сопряжен с весьма сильными теологическими переживаниями, он «настоен» на теологии и без нее лишен смысла. В противовес христианству, где довольно четко прослеживается линия *Богу – Богово*, иначе говоря, то, что принадлежит церкви, именно ей и принадлежит, а то, что вне церкви, – это секулярность, у нас дело обстоит совершенно по-

другому. Почти все существующие у нас тексты в основе своей – это тексты, принадлежащие культуре: они не могут принадлежать церкви, потому что у нас нет церкви. Есть, разумеется, тексты, предназначенные исключительно для богослужения, но сейчас я веду речь не о них.... И четкого водораздела между религиозным и нерелигиозным здесь провести невозможно.

Л.А. А «у нас» (в православии, в католичестве, в протестантизме, – меня в данном случае волнует русское православие) – у нас и впрямь Богу Богово, кесарю кесарево, а нам, многогрешным, – волю грешить и каяться. Как это у Шукшина в романе о Разине – перекрестился, вышел вон из церкви: «Ну, это дело сделано» – и пошел воевод вешать, детей топить. А если бы у нас было так, как у вас в иудаизме – и церкви нет для отмаливания грехов, и от законнической культуры некуда деться, – куда бы мы, русские, делись с нашей всеотзывчивой душой (отзывчивой в том числе и на подначки нечистого), с нашей непредсказуемостью (когда с колокольни ударят в набат бунташный)?

А.О. Кстати, самого себя я считаю, безусловно, человеком религиозным в самом широком смысле этого слова и думаю, читатели моих книг ощущают, что в моих произведениях почти всегда присутствует некий мощный метафизический пласт.

Л.А. Кстати, я себя считаю, безусловно, человеком внецерковным (видать, хорошо поработали в моем детстве атеисты-родители). Нынешний поход вчерашних атеистов в церковь со свечками вызывает у меня изжогу. Для меня веру сменить – не шапку сменить. Утешаюсь тем, что атеизм – тоже религия (с отрицательным богом). О чем современный философ хорошо сказал: «Надо очень сильно любить Бога, чтобы Его отрицать».

А.О. Моя религиозность сосредоточена в той самой точке, где каждый из нас глубинным образом, трансцендентно связан с величайшей тайной Вселенной, с непостижимой сущностью жизни. И каждый понимает, что нам не дано найти рациональный ответ на фундаментальные вопросы бытия, понимает, что лишь шепотом следует говорить перед лицом Великой Тайны. Но нужна ли мне для этого синагога? Нет.

Л.А. И церковь не нужна. И костел. И кирха. И мечеть. Но, с другой стороны, как уловить Тайну, если она растекается, впитывается, прячется? Нужно же какое-то место, чтобы сосредоточиться и настроиться. И для диалога тоже нужно *место*.

А.О. Дошла, к примеру, до меня весть о московском альманахе еврейской культуры «ДИАЛОГ». И я не могу не порадоваться тому, что российское еврейство стремится к диалогу с нами.

Л.А. Вот на страницах этого альманаха я и имею возможность вести с вами диалог, уважаемый Амос Оз.

Это не спор?

А.О. Это отнюдь не спор прагматиков, намеревающихся извлечь из ситуации максимальную пользу, – речь идет о главных ценностях иудаизма, о том, какое место в жизни народа занимают и должны занимать «святые места», о жестоком и невозможном выборе между справедливостью и человеческой жизнью, о том, каков удельный вес «исторического права» в системе общечеловеческих ценностей.

...Я приветствую намерение российского еврейства вести интенсивный диалог с нами и надеюсь, что у каждой из сторон есть желание не только высказать свою точку зрения, но и выслушать противоположную.

Истинная культура – всегда *полифонична*, ее основа – хор разных, гармонично сливающихся голосов. Верования и идеи, а не одна-единственная вера и идея. Море света, а не единственный светильник.

Л.А. Да! Вопрос только в том, каков будет контекст этих благотворных словообменов. В смысле: какова будет в наступающем времени судьба еврейства на Ближнем Востоке (и в мире,

который рвет эту ближневосточную землю на части), и какова будет судьба России (и мира, от которого Россия, находясь на стыке миров, зависит смертельно).

Нас ожидает светлое будущее?

Сомневаюсь... Верил я уже в это светлое будущее. Скорее всего, ожидает нас очередная фаза всемирной драмы. Мировая схватка, на этот раз не Запада с Востоком, а Севера с Югом. Севера, ошестинившегося ракетами и таможнями. С Югом, нависающим массами, которые ищут лучшего жизненного пространства и не хотят знать никаких прежних законов и границ.

Так что море света вполне может оказаться заревом пожара, в котором человечество либо сгорит разом и окончательно, либо обгорит так, то станет дотлевать и догнивать – без уточнения конфессий и национальностей.

Вспомнятся ли Богу в том море света наши честные светильники?

Отрезание ломтя

*Ну, что ей, Копыловой, этот Коренблом?
Алла Марченко, «Почувствовать чужое как свое». Предисловие к
книге Татьяны Копыловой «Волжский богатырь Иосиф Коренблом»*

Книгу Татьяны Копыловой в издательстве «Типография Новости» Алла Марченко отредактировала отчасти по старой дружбе – как давняя университетская однокашница, отчасти как литературный критик, не имеющий сил пройти мимо яркого текста, отчасти же – по тому душевному импульсу, когда задет нерв и невозможно удержаться от сочувствия и соучастия.

Вот и я не удержусь.

Нерв обнажен в финальном абзаце предисловия:

«Вовсе к тому не стремясь, она (Копылова – Л.А.) вплотную подошла к разгадке загадочной для русского ума еврейской витальности, хотя, повторяю, такой задачи себе не ставила».

Ну, уж и «не ставила».

А если и не ставила, то нам позволяет поставить. То есть кое-что додумать.

Но, концентрируя внимание на этой загадке, я вынужден буду оставить за рамками разговора многие поразительные страницы этого жизнеописания.

Например, первые страницы. Начало войны. Самолеты с крестами, тяжело гудя, пролетают на восток над пионерским лагерем. Крики: «Мама!!» Потом: «Ложись! Спокойно! Не двигаться!» Потом: «По отрядам! Выходи строиться!»

Похоже, это вообще лейтмотив: в первый день войны – пионерский лагерь. Первая задача: из-за города добраться до города. Я это читал у Слуцкиса. Там дело происходило в Литве, тут – в Пинске, оттяпанном нами (все по тому же по пакту Молотова – Риббентропа?). Десятилетия спустя повзрослевший мальчик станет искать политкорректную формулировку: «нас забрали... присоединили... освободили в тридцать девятом»... («Он запутался в определении исторического процесса», – прокомментирует Татьяна Копылова, пряча улыбку в уголках рта). Я бы докомментировал: а то, что два советские лета детей отправляли в пионерские лагеря, тоже признак «оккупации» или там... присоединения... воссоединения?

Одиннадцатилетний пацан ничего этого знать не может. Он бежит к маме из лагеря в город. Звериным чутьем он знает одно: немцам, входящим в город, попадаться на глаза нельзя.

Зато мама знает все:

– Нам уже не покинуть этот город без разрешения немцев. Беги, мое солнышко! Пробирайся на восток!

На восток? Это куда же? В чужую страну? В азиатскую глушь? В страну «оккупантов»?

Оставляю за кадром путь мальчишки через выжженную землю войны. Много лет спустя, приехав в Москву из Израиля (в гости) и отстояв таможенный контроль, Иосиф Наумович пошутит:

– Снег. Зима. Очередь. Значит, я дома.

Я вытаскиваю слово «очередь», опрокидываю его в военное время. Отловили беглеца – в очереди. Стоял за хлебом. Засекли, что без карточек. Что нет ночлега. Что нет ничего. Отвели в детприемник.

Опускаю дальнейшие годы войны. Будни сына полка. Взрыв бомбы, угодившей в землянку, из которой он вышел за несколько секунд до того. Гибель старшины, который заменил отца.

Опускаю детдом, одиннадцать побегов, «жестокый закон банды, царивший в детских домах времен войны: никого, кто знает о побеге, не оставлять!»

Опускаю музучилище, в которое отправляли воспитанников армии, обнаруживших артистические способности. Опускаю упоенную игру на кларнете в первые годы после демобилизации. Опускаю момент, когда в консерваторию Коренблюму поступить не дали (он не сразу понял, почему), но зарабатывать музыкой не запретили (и он начал зарабатывать). Играл в Зеленых театрах, в фойе перед киносеансами, на свадьбах, в ресторанах. Впрочем, и в составе коллективов «Цирк на сцене» и «Веселые ребята» – были такие в эпоху «бестелевизионного отдыха трудящихся» (блестящее определение эпохи заимствую у Татьяны Копыловой).

Еще один штрих времени, правда, уже позднейшего. Черниговская прокуратура клеит обвинение «особо крупного размера». Мне бы в голову не пришла технология, раскрученная в этом эпизоде Татьяной Копыловой (поработавшей на своем журналистском веку не только в «Пионерской правде», но и в журнале «Человек и закон»). Тут вся соль в видеомагнитофоне, которым Коренблюм снабдил ОПС (Объединение общественного питания). Объяснение: «Кто-то из областных бугров положил глаз на эту штуkenцию. Поэтому тебе и клеят статью с конфискацией. Видик конфискуют, потом «по закону» оценят и за гроши продадут этому инициативному».

Такую технологию Коренблюму объясняет кореш уже на зоне. В анкете остается – десять месяцев отсидки. В памяти – стиль допросов: «Ну, жид, понимаешь свою вину?» В горле – спазм, отрезавший кларнетисту возможность дальнейшей музыкальной работы.

Способность играть возвращается в момент первого посещения Израиля. И это – последний штрих из жизнеописания, которое я оставляю за скобками. Коренблюм, потрясенный тем, что к нему вернулась способность играть, садится «у стены синагоги» и выдувает из своей дудочки мелодию, вошедшую в душу еще со времен войны: «Бьется в тесной печурке огонь»... Прохожие останавливаются и слушают.

Он покрывается красными пятнами стыда, когда в футляр его кларнета шлепается первый шекель: жить в нищете ему приходилось, но нищенствовать – никогда.

Его успокаивают: здесь никакого унижения жалостью! Здесь так принято: это не подаяние, это плата за труд.

Все. Более я не поддамся искушению излагать здесь жизнеописание Иосифа Коренблюма, вышедшее из-под пера Татьяны Копыловой. Могу только сказать, что жизнеописание это – полноценный и полновесный роман, с выверенной художественной мелодией. А что написан он на документальной основе, так симбиоз журналистского расследования и писательского сопереживания – самый наисовременнейший литературный жанр, недаром нон-фикшн на книжных ярмарках собирает сегодня побольше народу, чем беллетристическая развлекаловка.

А теперь – главное: та самая «загадочная для русского ума еврейская витальность», коей, «не стремясь к тому», озадачивает нас Татьяна Копылова.

Само заглавие ее романа: «Волжский богатырь Иосиф Коренблюм» – звучит лукаво-загадочно. На Стеньку Разина герой не похож. На богатыря тоже. Особенно на русского. То ли тут тонкая усмешка, то ли простодушный комплимент.

А может, и то, и другое? «Волжским богатырем» окрестили Иосифа соратники, когда при дембеле помогли ему справиться штатский костюм. Это прозвище так приклеилось к щупловатому иудею, что он всю последующую жизнь носил его с гордостью, не исключаяющей, разумеется, чувства юмора. Однако сквозь эту гордость и сквозь этот юмор сквозит у Копыловой (в названии книги) и некоторая подначка: она словно бы провоцирует в предполагаемом русском читателе легкое остоленение перед еврейской витальностью.

Мое же читательское остоленение вызывает следующая авторская самоаттестация в первой главе:

«Пояснение «по пятому пункту». Для тех, кто в авторе книги о еврее (а книга именно о еврее, как на то указывают его имя, отчество, фамилия) захочет найти примеси каких-либо, кроме русских, кровей, скажу: не мучайтесь, не ищите. Их нет. Отец мой – Алексей Петрович

Федосеев – из калужских крестьян. Мама – Вера Викторовна Исаенко – полудонская-полукубанская казачка, то есть из сословия, которое неизменно относилось к православным, русским людям. Муж, Юрий Филиппович Копылов, родился в рязанской глубинке, в семье, которая, кроме российских крестьян, дала стране сельских учителей и деревенских священников».

Отлично. А теперь объясню причины моего остолбенения. Будучи знаком с Татьяной Алексеевной с момента нашего поступления на филфак МГУ (1951 год), я за эти 56 лет успел узнать о ней многое. Что она – лауреат литературных премий Московского Союза журналистов, а до того – премий Союза писателей СССР, ЦК ВЛКСМ, Министерства культуры СССР. Что вместе с матерью Юрия Гагарина она написала документальные повести о ее жизни. И даже – о, боже – что за свои правозащитные дела получала не только премии, но и звездочки на погоны Министерства внутренних дел.

Студентка Федосеева (еще не Копылова), кажется, не подозревала о своих будущих лаврах. Нам, недавно вышедшим из конюшен мужской школы, важно было другое. Чтобы любоваться ямочками на щеках наших однокашниц, нам вовсе не надо было знать о рязанских или кубанско-донских корнях их родителей. Мы и не знали. Как, встречаясь взглядами с иной сероглазой красавицей, не подозревали ни о ее литературно-критическом будущем, ни о том, откуда она взялась: из России, из Белоруссии...

Я остолбенел от самого факта выше цитированного «пояснения по пятому пункту». Значит, если кто-то пишет о евреях, то надо ждать, что начнут искать у него еврейские корни? В таком случае у меня одна из двух рук должна отпасть от такого дела немедленно! Какую же националистическую муть надо предполагать в умах нынешних читателей, чтобы загодя ограждать себя от такой реакции? И не без оснований?!

Боюсь, что так.

Ну, будем считать, что это первый шаг к разгадке русского взгляда на еврейскую витальность. То ли это «они все заодно», то ли это мы так уверены, что они все заодно.

Кто – они?

Рискну заметить, что книга Копыловой – вовсе не только о евреях, и даже не столько о евреях, сколько о том, что их делает таковыми в контексте нашей общей «витальности».

И потому – взгляд «в сторону».

«...Как-то вечером в кутерьме слов, шумов, скрежета кастрюлек и сковородок Иосиф различил тихий незнакомый напев... Пение раздавалось из дальнего угла, где «квартировал» их немногословный контрабасист Колью Сядэ...

– Это эстонская песня? – высказал предположение Иосиф. Колью кивнул.³

– А у тебя, оказывается, красивый голос... И песня необычна, можно сказать, эффектна. Хорошо бы подготовить ее в программу.

– Никогда, – резко, как отрезал, бросил Колью.

– Почему?!

– Потому! – Колью явно не собирался объяснять причину отказа.

Объяснил чуть позже и только Иосифу, к которому расположился еще при первом знакомстве:

– Если кто-то в зале не поймет песен моей родины или кому-то они не понравятся, мне будет очень больно. Я и так, Юська, натерпелся. То мне внушали, что я иностранный шпион, то говорили, что я много о себе воображаю, то заявляли, что я должен всю жизнь быть благодарен за то, что Эстонию освободили от рабства. Какого рабства, Юська? В Эстонии была хорошая жизнь. И мы никого не просили нас освободить!

– Но фашисты... – пытался возразить Иосиф.

³ Возможно, что все-таки Каалю. Как и фамилия Иосифа, в истоке (на идиш) могла быть: Корнблом. Но это ничего не меняет. – Л.А.

– Неизвестно, кто хуже».

Отчего же? Известно. Когда-то формулировали: «Оба хуже». И даже в неразличимой степени. С одним условием: оценка должна делаться с изрядной исторической дистанции. В масштабе эпох.

Отодвинемся на подобную дистанцию и предположим, что Вторую мировую войну выиграла Германия. Такое предположение для меня кошмарно, но... в порядке опыта. Итак, Третий рейх осуществляется в масштабах Европы. Эстония попадает в границы Нового Порядка. Откуда и выцарапывается по мере ослабления хватки режима и либерализации эпохи. Гитлер выкинут немцами из всех мавзолеев, но воинские памятники освободителям континента от большевистской заразы стоят по его краям. В Таллине такой памятник изваян портретно не с бойца Эстонского корпуса Красной Армии, а с юного эстонского эсэсовца, но стиль тот же. И рьяность новой эстонской власти та же – при раскручивании идеи сноса этого памятника. «Кто хуже?» – с расстояния в шесть десятилетий это уже и впрямь «неизвестно».

Но это с расстояния в шесть десятилетий. А тогда – в ситуации конкретного выбора? Куда пристать несчастному Юське? К русским? К немцам? Это вам тоже «без разницы»? – там тоталитаризм и тут тоталитаризм...

Позвольте же сравнить.

Что ждет его у русских?

Известно, что. Обворуют. Последнюю шинель стащат. (Потом, впрочем, и с себя последнее стащат: поделаются из жалости.) Обзовут «жидовской мордой». (Потом, впрочем, с тою же мордой выпьют на брудершафт.) Откажутся впустить в старый дом в Пинске, куда Иосиф Коренблюм приедет в поисках следов своей исчезнувшей матери: пошлют через дверь к такой-то матери, объяснив, что ордер получили, когда тут уже никого не было; еще добавят: «Знаем эти ваши еврейские штучки! Ничего не получите!» (Впрочем, на крик отзовется другая русская соседка, которая успокоит Иосифа, объяснив, что эта – ненавидит и оскорбляет всех без разбора.)

А у немцев? Никаких оскорблений, никакой личной ненависти и, разумеется, никаких брудершафтов с низшими расами. Аккуратные списки на расстрел. Включая женщин и детей!? Да, женщин и детей в первую очередь, потому что везти их в Германию в качестве рабочей силы нет расчета.

Поскольку речь идет пока что о еврейско-немецком варианте межнациональных отношений, продолжу сюжет. Иосиф, счастливо избежавший встречи с немцами летом 1941 года, встречается с ними зимой 1943-го: барак для военнопленных выстраивают близ их школы, и воспитанники, несмотря на запрет замполита, начинают таскать военнопленным хлеб. Из жалости.

Один немец, взяв хлеб из рук Иосифа, произносит следующий монолог:

– Мальчик, ты еврей? Я – не убивал!! Никогда! Клянусь! У меня тоже есть дети...

Но самое жуткое даже не это, а то, что происходит потом. Мальчик, не ведающий генезиса своего идиша, недоумекает, как это он понял немецкую речь. И бежит за объяснением этой загадки... куда? Естественно, в школьную библиотеку. К Александре Ивановне, выдающей книги. К тете Шуре.

Та, выслушав вопрос, бледнеет?

– Откуда ты узнал, что я немка?..

Вот она, главная жуть. Честный немец в ужасе от содеянного зла может дойти до отчаяния. Но он дисциплинирован, он не делает зла лично, а только в рамках той Системы, в тисках которой, как правило, пребывает. И он не кается. Ибо каяться должна Система. Честный немец может спасти душу только одним способом: избавившись от Системы, свалив на Систему свой душевный ужас, прокляв Систему. Лично он – невиновен.

Наши же родимые виновны все подряд по самоопределению. Не согрешишь – не покаешься, не покаешься – не спасешься. Можно жить в Зоне той или иной Системы, не очень ей доверяя и не очень ею стесняясь. Страдают и гуляют, гадят и каются в такой Зоне вполне индивидуально, часто мешая одно с другим. И Система (сталинская, в отличие от гитлеровской) не пишет на своих знаменах никакого антисемитизма, а при нужде просто попускает его из бурлящего в повседневном быту вечно грязного источника. И каяться Системе не в чем. Если кто и кается, то – в масштабах «грудной клетки». Или клетки лестничной. Каков грех, таково и покаяние. Мы где оставили Иосифа? Перед запертой дверью его бывшего дома, из-за которой несется ругань?

Здесь и подхватим его. Только дверь на сей раз другая. В Москве, в кооперативном доме, при оттаявшем социализме. Что бывает в кооперативном доме, недавно выстроенном? Правильно: текут трубы. Что говорит подмокшая соседка, явившаяся качать права? Правильно, она говорит: «Жидовская морда».

Кстати. Есть мнение, что Советская власть испортила русских людей «квартирным вопросом». То есть сделала всех соседями, а существа более опасного, чем сосед, нет в природе. Мнение необъективное и неполное. Советская коммуналка действительно сделала всех соседями, но среди соседей столько же добрых людей, сколько злых. Между прочим, с Иосифом Коренблюмом познакомилась Татьяна Копылова, а потом и подружилась, – когда они оказались соседями по этому самому жил-кооперативу на Бережковской набережной.

Однако мы чуть не забыли о «витальности». О пресловутой еврейской живучести, перед которой, как перед загадкой, стоит в недоумении русский человек.

Вы думаете, что он, стоя перед этой загадкой, и впрямь соображает, что она еврейская? У меня есть на этот счет некоторые сомнения. То есть и «жидовская морда» у него наготове, и воробы в «жидятах» ходят, и «воду выпили жиды». Но ничего продуманно этнического, как правило, нет в этой словесности. А есть – псевдонимная муть, обозначающая все враждебное, чуждое и непонятное.

Фамилия женщины, которую Коренблюм полюбил и с которой связал судьбу, – Гергасевич. Человек с наметанным этническим слухом не ошибется в происхождении фамилии. Для прочих выдано объяснение: фамилия белорусская. Но те, кто объяснение пропустят мимо ушей, скорей всего сочтут ее еврейской. По принципу: кто не русский, тот еврей.

Теща Коренблюма, веселая русская антисемитка (вышедшая когда-то за Гергасевича), искренне (по-русски!) любит своего зятя и... собирается ехать вместе с ним в Израиль – нянчить внука.

Внук реагирует на это вполне в духе описываемого сюжета:

– Бабушка! Ну тебе-то что там делать? Среди жидовни?

– Да то же, что и здесь, – отвечает гражданка Гергасевич, расставляя все по своим местам.

Интуитивно. И безошибочно. Ибо ТАМ будет то же, что ВЕЗДЕ.

А ЗДЕСЬ?

– Здесь, говорит она, – евреев не любили, не любят и любить не будут. Хоть вывернись они наизнанку.

А ТАМ?

Сказано же: то же самое. Только с переменной ролей. В роли «нелюбимых» окажутся наши бывшие соотечественники, которых станут звать русскими. А в роли «коренных» – сабры, сефарды и прочие старожилы. Начиная с таких родственников, как измаилиты-палестинцы.

А в России что будут делать оставшиеся?

За неимением евреев на их роли назначат лиц кавказской национальности. Или еще кто подвернется. Или вывернется наизнанку.

А если все нерусские отъедут и останутся одни русские? Найдут причину! Край на край! Южнорусские – это вам не поморы. Уральцы – не чалдоны. Когда в русской деревне идут сокру-

шать друг другу челюсти – край на край, стенка на стенку, тот конец улица на этот – где там евреи?

Найдутся.

Что нужно, чтобы эта дремлющая в людях *всегдашняя* агрессия обрела смертельно опасный адрес?

Нужна ситуация катастрофы. Всемирно-историческая. С погромами по фронту. Тогда на грани истребления может оказаться любой народ, не только евреи. И евреи могут стать жертвами в любой стране. Дождись Иосиф мира не на берегу Волги, а на берегу Вислы, то есть сохрани он изначально польское гражданство, – он что, был бы избавлен от риска погрома? Не в Пинске, так в Кельце... Это-то лучше всех и чувствует гражданка Гергасевич: везде – то же самое... С поправками на ситуацию Большой Войны и Катастрофы. И на характеры людей и народов.

Я не знаю, какую можно продемонстрировать витальность, когда тебя берут по списку и ведут расстреливать. И какую предусмотрительность. Мои троюродные дядья в Ростове – надеялись переждать, пережить, перетерпеть немецкое нашествие. Им бы рвануть на восток... Старики не решились. Утешали себя: немцы-де не способны на зверство, это ж культурнейший народ Европы. Дождались: один лег в ров, другого затолкали в душегубку. Наивность продемонстрировали несчастные мои старики, и никакой «витальности». Шестью миллионами жертв расплатились за эту наивность евреи, жившие в «культурнейшей Европе» и не верившие, что кошмар средневековых погромов может повториться.

Вопрос о витальности может встать тогда, когда тебя не ведут к расстрельному рву и не запикивают в душегубку. А «всего лишь» называют евреем с издевательской интонацией (сочувственной, глумливой, завистливой и т. д.).

А на это как реагировать?

Да вот так, как тот украинец, который посоветовал Коренблюму не обращать на это внимания. «Когда меня хохлом обзывают, я делаю вид, что я не слышу».

Рискну заметить, что «хохлом» обзывают наперегонки с «москалем». Если такой «хохол» обрусее, никому и в голову не придет искать в его родословии украинские корни. Российская Империя, а потом Советская Держава на треть собрана выходцами с Украины! Вы справедливо добавите: и остзейцами! И кавказцами!

Переспрошу: и евреями?

Разумеется, и ими тоже. Решает не голос крови, а верность делу. Кто верен делу, тому незачем «выворачиваться наизнанку».

А если ты все-таки слышишь голос крови и не можешь перестать быть евреем – что тогда?

Тогда – ехать на «историческую родину» Под град арабских камней.

А если остаешься в России под градом насмешек и не собираешься «русеть»? Есть даже теория: мы, мол, не русские, но мы и не евреи, мы – *русские евреи*, особый субэтнос в русском народе. Нормально. И казаки – субэтнос, и волжане – субэтнос, и чалдоны – субэтнос.

О, тут нужна витальность. Чтобы почувствовать, чем грозит тебе фраза: «Умеют же люди устраиваться». Или: «Хороший ты человек, и не подумаешь, что еврей». А если подумаешь? Еврей – персонаж анекдота. Вроде чукчи. Ну и что? Возьмут и Абрамовича сделают губернатором Чукотки. Но при том, чтобы он стал еще и вождем английских футболистов. У нас – как везде.

Права теща-антисемитка. Изрядная нужна витальность, чтобы выдерживать ее сентенции. И еще большая, чтобы выдерживать сентенции гебешника: «Сознавайся, жид. Где деньги?» На уровне Державы (тем более пишущей на знаменах нечто интернациональное) все решается с оттенком невинности: «исправили перегибы» – и вперед! Но как вынести эту бытовуху, эти «жидовские морды», эти сострадающие физиономии среди текущих жилкооператив-

ных труб? Эти шныряющие комбинации: прибрать к рукам имущество отъезжающих в Израиль соседей или родственников.

В казни Еврейского Антифашистского Комитета есть отсвет мировой трагедии. В телодвижениях рядового гебешника, берущего в долг и нагло объявляющего, что не отдаст, – только омерзение.

Выдержать такое – как раз и нужна «витальность». Жмут с обеих сторон. В нашем ОВИРе, перебрав по листику документы на отъезд, издевательски спрашивают: а чем вы докажете, что вы еврей? Метрики-то не сохранились.

А когда продерешься сквозь эту вонь, – тот же вопрос зададут в «ОВИРе» израильском: а откуда мы можем знать, что вы еврей?

Так и пилят с двух концов, так и визжат ножи, так тебя и пинают, доказывая, что ты – отрезанный ломоть.

Прорвавшись наконец сквозь те и эти кордоны, новоиспеченный гражданин Израиля Иосиф Коренблюм берет билет на самолет, летит в Самару, бывший Куйбышев, и спускается к Волге.

Не на берег Пины, заметьте, где родился и прожил первые десять лет жизни. А на берег Волги, где его, богатыря, подымали на смех, а то и грозили избить втемную.

«Поведение великой реки непредсказуемо и вместе с тем навечно предопределено», – смотрит в корень Татьяна Копылова. И завершает книгу таким жарким суждением:

«Начинала я писать, сопереживая нелегкой судьбе Иосифа. И вот закончила. И пришло осознание, что в этом процессе исхода (удаления, выживания, выдавливания) из страны моего героя вовсе не он главный пострадавший, главный потерпевший, главный потерявший. Не он. Изгнанник, как бы тяжело ему ни пришлось, найдет пристанище в иной стране. А вот народ, лишаящийся своего людского богатства, несет невозполнимые потери, которые трудно потом будет восстанавливать. Ничуть не менее сложно, чем возобновлять природные ресурсы».

Все это, конечно, верно. Но верно и другое.

Ничего не убывает в народе, величина и величие которого ослабляют в нем чувство самосохранения, и он с легкостью отпускает (и даже весело выдавливает) все, что считает чужим.

И вовсе не факт, что изгнанник так уж легко приживается на чужбине, – хотя тысячелетняя жизнь в диаспоре и накопила в его народе готовность вынести худшее.

Чтобы эта картина обрела объемность, надо добавить сюда фигуру автора. Татьяна Копылова от широкого и щедрого русского сердца жалеет изгнанника и увещевает соотечественников беречь человеческие ресурсы, столь же дорогие, как и природные, и столь же невозполнимые – при нашей-то русской беспечности.

А изгнанник меж тем, прильнув к великой русской реке, набирается от нее своей загадочной витальности.

Мы и наше прошлое

Мод и Моб

Не буду интриговать читателя: я сократил до размеров Чука и Гека имена двух главных действующих сил Истории, борьба которых составляет сюжет книги Дмитрия Андреева и Геннадия Бордюгова (книга вышла под грифом Ассоциации Исследователей Российского Общества XX века, что в сокращении выглядит так: АИРО-XX).

Краткость – сестра двух талантливых авторов, уложивших тысячелетнюю отечественную историю «От Владимира Святого до Владимира Путина» (заголовок книги) в полторы сотни малоформатных страничек и определивших жанр работы как «Краткий курс» (подзаголовок книги). То, что этот жанр назван «необычным» (аннотация к книге) свидетельствует еще и о чувстве юмора.

Место действия – «пространство власти». Это побуждает меня к вопросам. А где это пространство кончается? Жизнь на всех уровнях пронизана насилием; всякое насилие есть проявление власти; дворник во дворе – власть; охранник, остановивший меня в дверях, когда я шел на презентацию книги, – власть; муж в семье – власть; продавец в магазине – тоже власть.

Авторы уточняют: имеется в виду власть верховная. Князь, царь, император, генсек, президент. Вообще вождь.

Кто противостоит власти?

Элита. Конгломерат групп, через которых носитель власти управляет страной.

Опять вопрос: какая элита?

Ясно, какая: правящая. Но ведь элит – две. По Ахиезеру: правящая занята среднесрочными перспективами – духовная осмысляет перспективы в масштабе вечности. Где она?

Духовная элита представлена у Андреева и Бордюгова деятелями «культурно-просветительской» сферы, обслуживающими правящую элиту. К этим деятелям приложена полупрезрительная кличка «общественность» (именно так: в кавычках); это вообще не элита, это пятое колесо; пользы от нее мало, а вред возможен.

Иначе говоря, духовная элита как таковая в книге убрана за сцену.

Хорошо, оставим ее там, в засадном полку, и обратимся к главным действующим силам. Их две.

Первая – модернизационная: обустройство бытия (как отдельной личности, так и всего общества в целом) в системе ценностей либерализма и поступательного эволюционного прогресса. Социальное пространство фрагментировано, интересы сторон сбалансированы, конфликты разрешаются с помощью закона, жизнь «институциональна». Эта модель развития естественна и оптимальна для Запада.

Вторая модель – мобилизационная: развитие идет нелинейно, скачками, от кризиса к кризису, для этого необходима предельная концентрация национально-государственных ресурсов. Жизнь не институциональна, а идеократична, то есть идет не по законам, а по душе, по духу, или, как теперь говорят, по понятиям (митрополит Иларион говорил: по благодати). Это – наша матушка Россия.

Модели понятны, но вот вопрос: а что, в институционально-модернизационной Европе народы не прибегали к мобилизационным моделям? Французы при Наполеоне, немцы при Бисмарке или Гитлере, испанцы при Франко... А американцы времен Гражданской войны были или не были отмобилизованы?

Так то война!

Отлично. А матушке-России войны мешают или помогают? Если исключить 1812 год, то история России романовских времен – история относительно мирная – есть не что иное, как бесконечные попытки элиты вытянуть страну на модернизационный путь. Попытки неудачные. Почему? Потому что этот путь для России неорганичен, – отвечают авторы. – А органична для нее мобилизация. Что и доказала Советская власть.

Замечательно. Наконец-то ухабистая наша история, полная тупиков, переворотов, смут, предательств и просчетов осмысливается как нечто неотменимое, а значит, правильное. От души приветствую и принимаю такой подход, ибо надоело ходить в дураках.

Только беспокоит все та же мысль: что причина, а что следствие? И отчего наш путь так фатально ухабист?

Природа, – отвечают авторы. – Размеры территории, пестрота народонаселения, уровень просвещения.

Ну, тогда все при нас. Размеры вроде уполовинились, однако остались необозримыми. Пестрота вроде сократилась (с «советской» до «российской»), однако однородности как не было, так и нет. Уровень? Вроде бы взлетела советская культура до «Тихого Дона», а глядишь – съехала до «Голубого сала». Так что не будем предаваться иллюзиям.

А войны, украшающие нашу историю, – они «от природы» или сами по себе?

Это – самый интересный вопрос.

У Андреева и Бордюгова внешние толчки время от времени фиксируются – как помехи правильному мобилизационному развитию или как возмездие за неправильное, модернизационное. Ну, например: боярская элита ослабила Галицко-Волынскую Русь, в результате чего поляки, венгры и литовцы растащили ее на части.

Тут у меня руки так и чешутся поменять местами причины и следствия. А что, если поляки, венгры и литовцы рвали ее на части по геополитической исходной ситуации, а бояре шастали по углам, чуя эту беду? Может, взглянуть попристальнее на пространство земли, а уж потом на пространство власти?

Авторы иногда такой взгляд бросают. Например, в связи с тем, что Иван Грозный, скрутив боярскую оппозицию (там все хорошо высветлено: отмена «кормлений», организация общего войска), выходит на Волгу во всем течении, примеряется к Сибири, и в ходе этих событий «Русь заполняет естественное для себя геополитическое пространство».

Стоп. А вдруг главная собака зарыта именно здесь? Не находите ли вы, что к этому пространству с тем же чувством правоты примеривались и греки, и хазары, и половцы, и татары, и шведы, и турки, и поляки. Немцы – уже в наше время. А во времена оны – и венгры (тогда еще гунны), маркировавшие путь монголам? А если на это евразийское пространство и впредь будут претендовать властные государственные структуры, которые сумеют примирить попавшие в их орбиты народы и отмобилизовать «пестроту» в «единство»? Такие единства называются империями, но могут – и Ордой, и Портой, и Третьим рейхом...

Наш вариант – Третий Рим. Борис Годунов (татарин) отбивается от шведов и замиряется с поляками, в результате чего получает возможность проявить свою управленческую хватку (но не успевает, и тут же поляки наваливаются, да и шведы не дремлют). Петр Великий *еще раз* отбивается от шведов и, подняв за них заздравный кубок, копирует их гражданское управление. Турки продолжают нависать с юга, Екатерина (немка) отбивается от них, а также от Пугачева, за которым стоит Азиатская Русь, и выстраивает губернскую Россию... Я факты беру из книги Андреева и Бордюгова, только ниточку тяну по другой основе. Протяните же эту ниточку до того времени, когда Сталин (грузин) очередной раз отбивается от немцев, то есть делает то, чего не сумел сделать Николай (полудатчанин-полу... не хочу ковыряться в генах – все это русская власть, и ситуацию историческую она получает по наследству).

Ну, а если мы по наследству получаем то самое, что тысячу лет имела Россия, то... последний вопрос. Кто спасает Россию в моменты, когда она оказывается на краю гибели?

Элита правящая – не спасает, она бредит модернизацией, виснет на руках у власти, не дает размахнуться.

Может, автор «Войны и мира»? Автор «Тихого Дона»? Автор «Слова о полку Игореве»? Та самая духовная элита, которую Андреев и Бордюгов увели за кулисы, выпустив на сцену государственного левиафана, составленного из двух половинок: Мод и Моб?

Пустота постаментов

Вы разрушаете памятники?

Оставляйте постаменты!

Ст. Е. Лец

В разгуле русского бунта, перед которым, косясь, постораниваются другие народы и государства, время от времени проглядывает вполне здравый расчет. Заваливают в 1917 году монумент матушке-императрице. Пьедестал – сохраняют. Экономят материал для мировой революции! Ильич (полвека спустя) встает на готовый постамент.

Такой ход истории, вполне для нас традиционный, я признаю по факту и даже по рациональному расчету. Правда, отливка новой статуи из металла старой вызывает у меня сомнения, причем иррациональные. Нехорошо переливать одно в другое: из осколков того лепить это. Ощущение, будто на уроженца Симбирска натягивают платье девицы из Ангальта. Ощущение санитарного дискомфорта. Хотя по деньгам – экономия, конечно.

Во всяком безумии спрятана своя логика?

Поищем.

Памятник Екатерине II возведен в городе Ирбите в честь столетия ее Указа о возведении слободы в городское достоинство.

Сколько городов в России, уважаемые сограждане? Тысячи? И каждый в какой-то момент был признан городом. Из слободы, из крепости, из сельца, из стойбища. Ну, что, в каждом городе возведем памятник «указу», это возведение возведшему в закон? Кунсткамера какая-то. Административный восторг, как сказал бы Щедрин. Экстаз верноподданности. В другой стилистической системе – головокружение от успехов. «Колхоз имени второй пятилетки, завод имени десятилетия Октября». Во все эпохи, черт бы их побрал. И не только у отцов города, подающих в 1874 году (или в 1965) соответствующую идею. Ведь и сам народ при установлении монумента гуляет от души и на славу. «Песни и пляски возникают в разных местах».

Вникает ли при этом народ в существо Пугачевской эпопеи, которая принесла Ирбиту лавры верности Престолу и Отечеству? Вряд ли. Народ-то большею частью в пугачевском бунте и участвовал. А на следующем этапе – «поет и пляшет» при открытии монумента победительнице Пугачева.

Надо ли удивляться, что этот же народ в 1917 году заваливает памятник матушке? Заметьте, в апреле, а не в ноябре 1917 года, и не вешайте лишнего на тогдашних большевиков. Заваливают – анонимно и «беспартийно», так что злоумышленников найти невозможно.

Народ виноват?

Но, как сказал бы лучший ученик Ленина, «у нас нет для вас другого народа».

Есть предложение: если вы, отцы города, не хотите петь и плясать под бесовскую дудку, думайте, *что* делаете от имени народа. В том числе и теперь, в 2003 году.

Вернемся к истокам дела.

Кто отстоял город от пугачевского нашествия? Иван Мартышев, крестьянин, возглавивший сопротивление. Вот и ставьте памятник Ивану Мартышеву! А Екатерину – поберегите для тех мест (ну, разумеется, в Питере, ну, допустим, на Юге), где она имела честь действовать лично, а не «указом».

Но ведь это Микешин! Великий скульптор делал памятник, который раздолбали под «Марсельезу» в 1917 году!

Серьезный довод. Если монумент Сталина высек из розового гранита Меркуров, то это уже не только Сталин, это и Меркуров. Я не могу спокойно видеть, как фигура с отбитыми

ногами валяется на задворках московского Дома художника и всякая высокообразованная шпана фотографируется, попирая ее и упиваясь своим торжеством над «тоталитаризмом».

Не над «тоталитаризмом» это торжество, просвещенные господа, а над разумом, над здравым смыслом и над исторической памятью.

Но как быть, если уже раздолбано, осквернено, загажено?

Отмыть Микешина. Отчистить Меркурова. Восстановить шедевры скульптуры. Только не возвращать их на игрище Торговой площади во власть очередной песни и пляски! Сохранить в музее, что ли. Микешин не виноват в эпидемии верноподданничества. Меркуров не виноват, что стал заложником повального, бездарного, бессмысленного тиражирования памятников Сталину, которые так же повально принялись сносить.

И Ленина в Ирбите в 1991 году скинули так же бездарно и анонимно-бессмысленно, как в 1965 году поставили, перелив из матушкина металла. Что, первый Предсовнаркома бывал в Ирбите? Что-то сделал для города лично? Или хоть указ какой-никакой, записку какую-нибудь оставил на этот счет? Зачем ему *здесь* монумент возводить?

Ах, ради ощущения Единой и Неделимой страны какая-нибудь одна фигура должна стоять перед всеми фасадами, иначе развалимся?..

Ну, так приготовьтесь к тому, что со сменой очередного Отца народов (или Матушки) по всей стране и начнут эту фигуру заваливать, а ту ставить. Под песни и пляски.

Не мое дело решать, кого именно надо поставить на ирбитской Торговой площади. Может, Мартышева. А может, кого-то из пугачевцев, тоже, наверное, желавших счастья городу и миру (то есть воли – по законам русского бунта). Я-то, грешным делом, думаю, что увековечивать надо и тех, и этих. И Фрунзе, и Корнилова. При жизни не примирились – пусть в камне и чугуне смотрят друг на друга. Как в Испании смотрят друг на друга республиканцы и франкисты в Долине Павших. Пусть Дзержинский смотрит на Соловецкий камень. А Ленин, хоть и ненавидел монархию, пусть смотрит на Екатерину. В каком-нибудь Музее под открытым небом. А если на главной площади города, то... ждите взрыва песни и пляски.

Еще один довод не могу оставить без внимания. Хотя и не знаю ответа на вопрос, поставленный в журнале «Родина» безработным Виктором Носовым. На чьи деньги намерены восстановители водрузить на пустующий пьедестал статую почившей императрицы? И не лучше ли было бы эти деньги пустить на прокорм людям, мыкающим без работы в Ирбите и окрестностях?

Квадратура круга, дорогие товарищи. Конечно, прежде всего пустить на прокорм и выживание. Но держава-то не в безвоздушном пространстве существует. Именно она, держава, в конечном счете и прокорм обеспечивает миллионам своих граждан, и выживание в критической ситуации. Эту державу не станем кормить – другую кормить придется. Не Екатерина положила набок прославленный ирбитский мотозавод. И не Ленин. А лег он набок потому, что набок легла держава.

Вот и решайте, что делать: хорошие мотоциклы или хорошие памятники. Или и то и другое. Но попеременно. С перерывами на пение «Марсельезы». Впрочем, можно и «Боже, царя храни». Главное, вовремя сплясать всем вместе вокруг пустого постамента.

Грозный век

Сумасбродства этого царя настолько вытеснили из памяти потомков все прочие характеристики эпохи, что даже легендарное имя «Грозный», перехваченное у деда, изменило окраску, хотя дед был не менее крут. Псковичи и новгородцы, если бы воскресли, могли бы рассказать, как Иван III присоединил их к Московскому государству. Грозен дед. Но не безумен.

Так, может быть, и внук вовсе не изначально безумен, злобен, подозрителен до патологии, а оттиснут ситуацией, да так, что щеголяет по историческим горизонтам то в шутовском колпаке, то со следами крови на посохе?

К логике тогдашнего бытия уже почти не пробиться: ничто не остается на месте, и все бегает. Если искать эпохе Грозного какой-то образный символ, то, наверное, это беглец, бегун, беженец, и не в переносном смысле, а в прямом: человек бежит; то ли за ним гонятся, то ли он гонится, то ли все за всеми гоняются по кругу.

Андрей-то Курбский, главный перебежчик века, «предтеча Герцена», вряд ли состязался с марафонцами, он переместился в Литву в карете, окруженный конной стражей и встречаемый гимнами поэтов. Но образ человека бегущего недаром мелькает в летописях века: больно уж много этой беготни. Что делает переводчик царского лекаря, не сумевший когда-то сбежать из осажденного Озерища и пригретый Грозным? Бежит в Рим. От страха опалы. А смоленский княжич без всякой опалы просто разругался с родичами – и бежит. Бегут насельники русского Юга навстречу крымцам, бегут из Крыма обратно на Русь каяться в побеге. Бегут потомки Мамаева брата Глинские из Польши в Москву, потом бегут в Литву. Михаила, чтобы не бежал, сажают в тюрьму, откуда он выходит по тому счастливому случаю, что Елена, «князь Васильева дочь Львовича Глинского», становится женой Василия III, и рождает она царевича Ивана, при котором эта заполошная беготня делается каким-то всеобщим бедствием.

Конец эпохи: что делает Афанасий Нагой, узнав, что зарезали царевича Димитрия? Бежит. Торопится рассказать новость оказавшемуся в пределах досягаемости английскому дипломату-разведчику. А в это время в Угличе поднятые колокольным набатом люди бегут бить зарезавших царевича злодеев. Которые тоже бегут.

Магическим контрастом этому задыхающемуся аллюру становится монументальное замирание «культовых фигур» в предсказываемых ситуациях. В Вербное воскресенье царь шествует из дворца в Храм Василия Блаженного. Пешком. Медленно. По шажочку. Подобно Христу, входящему в Иерусалим. И точно так же, торжественно, неспешно, – в полоцкую Софию по взятии города.

А трапезы во дворце после аудиенций! По Соборной площади надо передвигаться «тихо и важно», за столом, перед каждым блюдом – вставать и застывать, слушая длинные здравицы. Они там, кажется, вообще не едят, только стоят. Да в таких нарядах, что не побегаешь.

(О, эти драгоценные шубы, которые гостям дают напрокат! Вспоминается мне нынешняя Америка, где есть рестораны, куда пускают только в галстук, и галстуки эти при входе предлагают напрокат. Живучи традиции! А упоить гостя до бесчувствия, чтобы выболтал затаенное, – не у Грозного ли научился такому методу четыре века спустя товарищ Сталин?).

Как связать это замирание и этот бег?

Так, как связаны две стороны неустойчивости: ритуал и разгул. Стандарт поведения – попытка смирить хаос. Приказ – заклятье непредсказуемости. Вменить «измену» – в ответ на невменяемость. На изменчивость.

Лоно этой изменчивости – Дикое Поле. Вечная карусель кочевых народов, подвижное равновесие территорий, которые никак не могут прибрать к рукам ни Московия, ни Порта, ни даже ближнее Крымское ханство, которое по инерции считает себя наследником Орды и

пробует если не вернуть «улус Джучиев», то набегом и грабежом по крайней мере содрать с паршивой овцы шерсти клочок.

Оставляем в стороне крючкотворно-юридический вопрос: чье Поле? Оно ничье. Актуально другое: куда мужику податься? С юга татары, с севера москвиты. Побегаеть тут. Мужик становится казаком. Куда ни побеги – ты «изменник».

Не отсюда ли – в мифологию вошедший «задний ум» русских, лукавый расчет на «авось» и звериная осмотрительность при невозможности что-либо реально предусмотреть (помните каламбур Ключевского?).

Как все-таки жить? Грабить – по крымской модели? Ломать «вольную службу» – по литовским или польским правилам? Или – согнуть шею под тяжким ярмом «государева дела»?

Ярмо есть ярмо, но ведь не лезет же власть в повседневную, домашнюю жизнь людей. «Паутина неформальных межличностных отношений» дает людям возможность держаться. Как пращурь дышали через соломинку в болоте.

Не отсюда ли – традиционная же русская всеотзывчивость? Такая же непредсказуемая...

Конечно, московскую власть терпеть трудно. Крутая, безжалостная. Не говоря уже об опричном беспределе, – в мор заколачивают дом, где болеет чумной, и оставляют умирать – и его, и всю семью. Это гуманно? А везти из набега похищенных детей в специальных корзинах, а коли дитя занемогло – головой о дерево или о камень и бросить подышать – это лучше? Все во вражде – звери, «и те, и эти». А где больше извели – кто считает?

Потом сочли: изведено при Иване Грозном – 3300 душ. При Столыпине – меньше? Про Сталина умолчим. Так Иван хоть каялся, синодики составлял, на коленях ползал. Пусть нынешние нераскаянные внесут поправки на масштаб и прикинут, что почем.

Главное-то острие террора Грозного против кого направлено? Главный Приказ как называется?

Разбойный.

«Лихие люди», «тати», «воры» – обыкновенность того времени. Не поверстался в войско – рванул гулять. Другой поверстался гулящего ловить. Рвать ноздри, сечь плетью, клеймить. Террор в чистом виде. Кто виноват? Что делать? Кому на такой Руси хорошо?

Так ведь эта многоруганная установка: связать души, овладеть умами, стать в Кремле чуть не вероучителем – и вообще: этот гибрид пыточного злодея и юродивого страдальца, размазывающего то кровь, то слезы, – не результат ли той разрывающей страну невесомости, в которой она оказалась в грозный век?

На Волге едва закрепились, а силы надо «транжирить» на Юге, на Западе. Хотели с Крымом замирились – литовцы не дали. Хотели поладить с Римом – поляки не дали. Ливонская война – какой-то бегучий лишай кругового бессилия. Сторон много, каждая одерживает частные победы и считает, что до окончательного триумфа немного не добрали. «Роковой конфликт» Польши и Швеции, видите ли, помешал культурным европейцам одолеть восточного варвара, московского фараона, кремлевского изверга. Как будто они в Европе могли помирились прежде, чем согласились бы на какую-то общую крышу. А уж кто крышу выстроит: швед, немец или поляк – вопрос даже не геополитический, а почти династически-вензельный. В любом варианте – это ярмо, тягло, иго.

Крыша – всегда тяжесть. Альтернатива – драка в Диком Поле. Беготня. Мор.

От невозможности создать общее регулярное государство – истерия Ивана IV. Надрыв его. Надорвалась Московия – поехала крыша у царя. Рано начал? Через столетие хватило у народа сил решить те же задачи: отбиться на Юге и на Западе, утихомирить казаков и разбойников, устроить под тяжелым скипетром относительно регулярную жизнь.

Царю, возглавившему страну сто лет спустя, не надо было слыть Грозным. Ему можно было слыть Тишайшим. Время пришло. Другой век.

Смыть Смуту

Смыть Смуту из народного сознания попыталась советская власть, переименовавшая ее в «Крестьянскую войну и иностранную интервенцию». Власть постсоветская возвращает Смуте имя. Не только из любви к исторической истине, но, надо думать, по причине более актуальной. Слишком очевидны аналогии, связывающие начало XVII века с началом века нынешнего. Четыреста лет не помеха?

Технологически все это не лишено веселости: по остроумному определению современного историка, Смута – это когда «князья и бояре командуют восставшими казаками, попы конструируют «гуляй-города» с артиллерией, казацкие атаманы спят с царицами, купцы выходят в бояре, а беглые монахи и сельские учителя – даже в цари». Так и тянет продолжить: десантники – в губернаторы, завлабы – в олигархи, партфункционеры – в сепаратисты, милиционеры – в киллеры...

Другой историк настроен не так весело: смута – это когда «все в движении, все колеблется, размыты контуры людей и событий, с невероятной скоростью меняются цари..., люди подчас молниеносно меняют политическую ориентацию».

Похоже на 1991-й? На 1993-й? На 1998 годы? Впрочем, «гуляй-город с артиллерией» теперь называется «танк».

Берем очевидность: «меняются цари».

Что за рок над Россией! Истерзанная при Иоанне и разложившаяся при Феодоре, она получает Годунова, опытного и энергичного управленца, все шансы имеющего вывести страну из беды.

Смыло дождями, побило морозами, уморило недородами, дотравило чумой. Это что, опять «ошибки Кремля»? Или горестное стечение обстоятельств, природный цикл, позволивший выявиться базисной беде?

Базисная беда – «Смута в умах».

Является из Польши следующий. Лжедмитрий I. Судьба не отпускает и ему времени. Но за тот неполный год, что он сидит на троне, он успеваешь проявиться как деятельный правитель западного типа (теперь сказали бы «прогрессивный»). Окатоличивать Русь он отнюдь не спешит, костелы строить в Москве не позволяет, а вот энергетику демонстрирует совершенно для Руси непривычную, даже вызывающую. Вместо того, чтобы ходить по палатам медлительно и величаво, – скачет, где хочет, по московским улицам «в сопровождении одного-двух человек», и даже (о, ужас) «не спит после обеда».

Не могут русские люди стерпеть на престоле такого модерниста. Однако век спустя царь Петр и скачет, где хочет, и вообще выворачивает Россию на западный манер так, как Лжедмитрию и не снилось (один Всещутейший Собор чего стоит). И что же? Стерпели! Великим назвали! Голландский строй перенимать согласились, не то что польский.

Вообще, если искать важные для истории стержневые сюжеты, проходящие через безумства Смуты, то первейший из них: насаждение в армии западного боевого строя. Кто это начал? Да Василий Шуйский, самый никчемный и презираемый царь, абсолютно не годившийся в самодержцы.

А если другим важнейшим сквозным сюжетом считать избавление от дикого самодержавия, то есть от того, как сплывал народ Иван Грозный, считавший людей быдлом и стадом, – к идее договора между самодержцем и подданными, – то первый такой договор заключил именно подслеповатый интриган Шуйский, которому судьба не дала ничего осуществить и с позором остригла в небытие.

Ах, да, иностранные вторжения помешали... Вот уж проклятье нашей истории. Ничего нельзя сделать, чтобы не набежали соучастники. Ничего нельзя вспомнить, чтобы они не оби-

делись. Сейчас выдвинута идея: учредить праздник в память освобождения Кремля в 1612 году – так ведь поляки обидятся! И что ни возьми – тут как тут обиженные. 1812 год нельзя отпраздновать – французы обидятся. За 1945-й – немцы обидятся. За 1380-й – татары...

Итак, Смутное время. Поляки, шведы. Где поляки, там и литовцы, и немцы, и венгры (для равновесия: на стороне Руси – татары, башкиры...). Но что интересно: никто ведь не «вторгся», всех так или иначе «позвали».

И кинулись на зов – прямо по звериному инстинкту. На запах добычи, кто как мог. Тут не столько спланированные акции, сколько стремление ухватить то, что плохо лежит. (Нечто сходное – «борьба за испанское наследство». Или за наследство слабеющей Османской Порты – «Восточный вопрос».) Применительно к России рубежа XVI—XVII веков – тогда она еще писалась через одно «с» – устоявшегося определения нет, и потому современные польские историки выражаются, как они полагают, в стиле В.В. Путина: плохо лежит русская котлета. Иногда, трезвея, говорят: русский мираж.

Мираж – да. Если смотреть с их стороны. Если с нашей, то котлета – вполне годится. Ибо позволяет почувствовать, в какой степени мясо перемолото, а в какой угощение сохраняет костистость, то есть может застрять у едоков в горле.

Иван Грозный хорошо перемолол страну. При Феодоре даже дух пошел падалый. Как тут не набежать.

Кто набежал?

К списку интервентов добавим... да не добавим, а положим в основу – воинство черкасское, которое на первых же порах, первой же дружиной влилось в армию первого Лжедмитрия. Именно запорожцы пошли тогда в «разведку боем», а поскольку до Переяславской рады оставалось еще полвека, то украинское участие в русской Смуте вполне можно считать иностранным – под русские внутренние порядки (или неурядицы) его не подведешь. Завершается же этот братский сюжет репликой Богдана Хмельницкого, который отказался выдать Кремлю очередного беглого вора-самозванца, сказав, что у него на Украине всякому вору жить вольно.

Ну, хай им грэць. Возвращаемся на Русь, не теряя, однако, воровской темы. Ибо воровской прикид не только окрашивает русскую Смуту, но в сущности направляет в ней ход событий. Речь о казаках. Этот слой или тип людей в нынешних исторических исследованиях иногда определяется как «наиболее радикальная сила в русском обществе». В тогдашней реальности он определялся короче: ворье. Никому до конца не подчиняются, переметываются на ту или на эту сторону в зависимости от выгоды, промышляют разбоем и грабежом. В глазах поляков, привыкших к воинскому строю, это – «распоясавшаяся солдатня». С русской стороны из уст патриарха Гермогена звучит не менее рельефное определение: «казачье атаманье». Поляки уточняют: битвы Смутного времени – это в конечном счете «баталии казаков с казаками же». Те еще битвы! Дмитрий Пожарский опасается ездить в «таборы» Дмитрия Трубецкого: боится «казачьего убийства». Неспроста боится: убийства, удары в спину, резня, непредсказуемая агрессия – лейтмотив русской Смуты.

А ведь именно казаки – военная сила, казалось бы, не знающая регулярности, – вынашивают в себе, в собственных душах, противовес хаосу. Именно казаки на Земском соборе 1613 года «выкрикивают» мнение, склонившее чашу весов, колеблющуюся между тремя кандидатами на престол, в пользу Михаила Романова.

А довод-то какой! У Романова – «царское приращение». Раскапывают родство, выясняют, что царица Анастасия, первая жена Грозного, Михаилу двоюродная бабка. Ни слова о личных качествах – сплошной морок генеалогической плутологии. Как будто у Владислава польского нет аналогичных прав!

Он же Ягеллон, потомок Ульяны Тверской. Как будто у Карла шведского нет варяжской анкеты – его и продвигают из Стокгольма как прямого Рюриковича!

Спаситель Москвы князь Пожарский поддерживает, между прочим, шведского кандидата. Что же до польских кандидатов, то когда российскую корону в роковые годы взвешивали с мыслью передать (и не малолетку Владиславу, а самому папаше Сигизмунду) бояре, среди них был и папаша будущего русского царя Федор Романов, будущий патриарх Филарет. Есть отчего смутиться чувствам нынешнего человека, когда он пытается извлечь уроки из четырехсотлетней давности событий Смуты!

Урок извлекла Марфа Ивановна Романова, но о ее приговоре чуть ниже. Суть же, думается, вот в чем. Если бы поляк или швед, занявши русский престол, попытались бы привести Русь в вассальную зависимость от Польши либо от Швеции, их очень скоро забили бы в такую же пушку, как Лжедмитрия, и отправили бы по аналогичной траектории.

Да и не рассчитывали ни в Польше, ни в Швеции совладать с русской «котлетой», не надеялись переварить откушенное. А только наспех подкрепиться за русский счет в драке за Балтику. Ну, еще пару-другую городов отхватить, ну, еще пару-другую полков на вербовать (из тех же бегающих туда-сюда казаков).

И не только королям западных держав это было понятно, но и ставленникам их, залетевшим на Русь. Якоб Делагарди, железным шведским задом севший в Новгороде Великом, – чем там занимается? Учит русский язык! Готовится править в соответствии с русскими нравами и обычаями! (Для равновесия: Иван Грозный гордился тем, что понимал по-польски. Я уж не вспоминаю Софью-Августу-Фредерику Ангальт-Цербстскую, выучившую русский и правившую Россией треть века так, что ее величали «матушкой». А мужа ее, Петра III, пытавшегося сделать Россию филиалом Пруссии, забили до смерти, несмотря на его «царское приращение».)

Нет, не посмели бы ни польский, ни шведский мальчишки передать под чужие скипетры свалившуюся на них страну. Но могли бы сделаться полновесными государями – только русскими!

Не дала им этого судьба? Не дала. Дала – Михаилу Романову. Судьба – сцепление случайностей, но и сцепление закономерностей, под хаосом шевелящихся. Смел невидимый режиссер в небытие одного за другим актеров этой драмы, храня свято место до поры пустым. Годунову помешал Лжедмитрий, Лжедмитрию помешал Шуйский, Шуйскому – еще один Лжедмитрий, тому – защитники Троице-Сергиевой лавры, которым Шуйский был отвратителен, так что один из них, понимавший, что служить столь непопулярному царю братия не станет, нашел замечательную формулировку: «Служить тому государю, который на Москве будет».

То есть: кто там будет, в Смуту не угадаешь, может быть, и проходимец, но если он и править попробует как проходимец, то его удавят, растерзают, забьют в пушку. Если же суждено кому на престоле удержаться – то при том условии, что и сам окажется крепок, и страна сильна. Чем сильна?

Да отвечено же: мнением, да, мнением народным.

Мнением народным приговорены и обречены сменяющие друг друга на исторической сцене активисты и проходимцы. Решающий фактор – состояние народа. Смута в умах.

Вот тут-то и объявляет свой приговор Марфа Ивановна Романова, отказывая посланцам Земского собора, избравшего ее сына на царство: «Не отдам Мишу!» – Когда же посланцы просят ее (причем, как полагается по русскому обычаю, просят слезно), – то объясняет и причину отказа:

– Измалодушествовался народ!

Из истории известно: кризис разрешился – отпустила матушка Мишу царствовать, и стали первые Романовы собирать державу. До очередной смуты в умах.

С матушкиной помощью можно поставить 400 лет спустя вопрос: способны ли нынешние ловцы удачи и завоеватели счастливой жизни представить себе, что чувствует народ, и согласится ли он превратить страну в котлету?

Этот урок и пытаемся мы сегодня извлечь из хаоса, кавардака, миража, чреполося тогдашних событий. Хотя они иногда и кажутся исчерпывающе осмысленными в трудах историков.

Пропущен хаос через две художественные модели, ставшие уже в свою очередь несдвигаемыми факторами русской культуры. Во-первых, это опера Глинки «Иван Сусанин» и, во-вторых, памятник Минину и Пожарскому напротив Московского Кремля.

Нынешние следопыты дознались, что с того болота, «куда и серый волк не забегал» и где Сусанин утопил поляков, – видны крыши и маковки ближайшего села. Ничего, миф – тоже реальность.

Так же и насчет памятника: никак не сомневаясь в роли Минина и Пожарского, замечу все-таки, что Скопин-Шуйский – фигура не менее достойная, а того пуше: что триумф ополчения, победоносно вступившего в Кремль после того, как отощавшие поляки из Кремля отковыляли, – триумф этот стал результатом отчаянной драки у стен Китай-города: гетман, шедший на выручку осажденным, был отброшен «нагими и голодными» ополченцами, бросившимися в бой вопреки запрету их начальника Трубецкого... Им-то, ополченцам, может, тоже стоило бы поставить памятник: Федору Межакову да Дружине Романову, а то и Пантелеймону Матерому, уведшему своих казаков еще от Тушинского вора.

А может, лучше не лезть в эти дебри, а просто принять душой Обращение Межрелигиозного Совета России с призывом учредить 4 ноября праздник Народного Единства. Почему 4-го? Я думаю, чтобы было близко от 7-го, но не совпадало (то есть чтобы люди, для которых Красный Октябрь остается красной датой календаря, тоже могли бы по-своему отметить праздник). Да и не в числе дело. В 1612 году освобождение Москвы растянулось чуть не на неделю, по старому (тогдашнему) стилю капитуляция поляков пришлась как раз на 25 октября. Но это детали. 4-го так 4-го.

«Пусть праздник станет Днем добрых дел». Призыв несколько романтичный в связи с той резней, которая красной нитью (буквально) проходит через Смуту. Но не призывать же к злым делам: к мести, к сведению счетов, к выяснению отношений между красными и белыми, между русскими и нерусскими, между православными и прочими...

Подписали Обращение, кроме православного владыки: буддист, армяно-грегорианин, раввин, евангелист, пятидесятник, баптист, адвентист седьмого дня, а также муфтии юга, запада и востока.

Не хватает для полного счастья – подписи русского католика.

История продолжается.

Квадратура казачьего круга

Лейтмотив истории казачества уловил, рассказывая мне о своей жизни, мой дядя, уроженец Дона, окончивший в Петрограде Мореходный кадетский корпус Императорского русского флота аккурат к весне 1917 года. Императорский флот был распущен, выпускники решали, кто куда. «Ты с кем?» – допытывались однокашники. В ответ писал слово «казак»:

– А прочти его хоть слева, хоть справа – казак казаком останется.

С кем вы, мастера нагайки, виртуозы лавы, любострастцы сабельной сечи? – семь столетий допытываются у казаков историки. Кажется, это и теперь главная тема казачьего самоопределения. С либералами против тоталитаризма? С патриотами против разброда и шатаний? На щите? Со щитом? Поди разбери, когда луна – казачье солнышко. Не тот казак, что на коне, а тот, что под конем. Вроде бы устойчив и равен на все стороны казачий круг, но со всех сторон давят на него, тянут к себе, вербуют сходящиеся в соперничестве державы.

Дело не в том даже, что под российскими стягами казаки побывали чуть не во всех странах; не менее интересно то, что они запросто оказывались по ходу баталий и под чуждыми нам знаменами. Некрасовцы ушли в Турцию, и турецкий султан перед русским царем сделал вид, что не знает, где они. Но ведь и русский царь делал вид, будто не знает, как его казаки грабят на Волге всех купцов подряд, включая и турецких! А Польша! Сколько раз какой-нибудь Остап Гоголь переходил из-под московской руки под руку короля польского или того же султана! Русь, Речь Посполита, Оттоманская Порты – три стороны квадрата, а четвертую сторону оставим на случай призыва любых вербовщиков, будь то горцы, идущие против крымчаков, а до того ордынцы, идущие на русичей («налог кровью» с московского улуса), а еще Китай, принимавший казаков на императорскую службу... Не говорю уже о фон Панвице, простершем над казаками знамя гитлеровского рейха (за что казаки, преданные англичанами Сталину, заплатили под Лиенцем слезами и опять же кровью).

Так что такое казаки? Воины, придвигаемые державой к границам и обязанные служить державе верой и правдой? Да, так – применительно к тем азийским просторам какие осваивает Россия во второй половине тысячелетия. Казаки – служивые... тут историки делают оговорку: за исключением случая Ермака. Ничего себе исключеньице! Не свидетельствует ли оно и о другом правиле, а именно: о том, что изначально казачество никакими державами на границы не сажалось, а зарождалось само, ходом вещей, – в буферных зонах, в пазах и щелях геополитического миропорядка (беспорядка), в пустых степях-песках Евразии, – и только потом вербовалось державами на принципах равной взаимонужды, в предельных же случаях – временного вассалитета, союзнического договора, профессионального сезонного найма. Но в таком случае можно ли говорить о переходе под чужие стяги как об измене, тем более, о национальной измене? Скорее уж о военной хитрости, так?

Так-то так – если вывести казаков за пределы русского этноса. А к тому есть некоторые основания. Из кого только не вербуются казачье сословие в пору освоения Сибири! А в Европе? Кого только не переселял в Новороссию генерал Ермолов, укрепляя казачьи линии, так что даже именовать иных казаков стали «колонистами». И кто только не становился в этих условиях казаком! Да вы в фамилии вчитайтесь казачьи: Татариновы, Калмыковы, Грузиновы, Поляковы, Грековы... Вы родословия казачьи перечитайте, тем же Толстым записанные: «вся наша родня... чеченская – у кого бабка, у кого тетка чеченка была». И женский портрет, рукой Толстого исполненный: «красота гребенской казачки особенно поражает соединением черкесского лица с широким сложением северной женщины».

Широкое сложение племен изначально в составе казачьего воинства. И – непрерывная подпитка от народов, с коими это воинство соприкасается – в бою или в куначестве. И от всех социальных слоев. Считается, что главный источник – беглые холопы с русских поме-

ствий. Конечно, этот приток существен. Но не единствен. В числе прибежавших на Дон (с Дона выдачи нет!) может оказаться царский сановник, спасшийся от гнева государева, – и он теперь в казаках!

Отбор – по качествам: предприимчивость, ловкость, рисковость, оборотливость, отчаянная храбрость.

Чего ж удивляться, что и в родных пределах казачество – как на шарнирах? Всем известно, что казаки примыкали к Лжедмитриям и что самозванцев было двое. На самом деле Лжедмитриев было пятеро, а всего самозванцев в Смуту – семнадцать. И все выдвинулись на казачьих плечах, а потом кончили жизнь на казачьих пиках или в петле, по модели: царевич повешен, его сторонники перешли на сторону его противников. Да что говорить: казаки, только что бывшие за поляков, решают вопрос о престолонаследии в пользу Миши Романова! Казаки, только что гулявшие с Пугачевым, идут вместе с Суворовым бить итальянцев – с Суворовым, который Пугачева ловил! Казаки, уцелевшие в Крыму 1920 года, переходят от Врангеля в красную конницу и идут бить белополяков!

Вот и реши, кто они. Красные? Белые? Богатые? Бедные? И даже так: русские или не совсем русские?

В свете нынешнего этнобесия последний вопрос особенно жгуч. Какие ж они русские, если составились, помимо славян, из скифов, бродников, половцев, хазар, алан, казахов, узбеков, ногайцев, киргизов, татар, черкесов, каракалпаков и прочая, и прочая, и прочая...

Но русских (славян) там почти 80 процентов!

Да, большинство подавляющее. Даже при том, что добрая часть этих славян теперь отходит в незалежность. Все равно: казачество – явление пронзительно русское. И не по этносо-ставу прежде всего. А по роли именно в русской истории. По тому, сколь многое они выразили, выявили, довели до последней ясности в русской драме.

Вы не можете соединить нагайку с пикой, не можете понять, как воинская вольница и непокорный нрав сочетаются в характере казака с державной волей и защитой порядка? А как обе эти *воли* сочетаются во всяком русском человеке: волюшка в гульбе и державная воля власти?

Вы, наконец, не можете уловить четкие контуры казачьей истории, свершавшейся без письменной документации и сплошь построенной на легендах? А разве все мы не живем сначала по душе, а потом уж по закону? И разве это не *прелесть* всей нашей жизни?

...Ходит Остап Гоголь то в польских «панцирях», то в турецких шароварах, то под украинскими смушками, то под московскими приказами. А потомок его, нежинский школяр Никаша благоговейно пересчитывает его жизненные повороты и клянется все собрать...

И собрал!

Последний штрих к портрету казачества. Спорили семь десятков лет, Шолохов или не Шолохов написал «Тихий Дон», а потом обнаружили, что «Тихий Дон» давно прочно признан лучшим русским романом XX века.

Кем записан, можно спорить до бесконечности.

Написан – казачьими саблями.

Донской прибор

Великая книга Шолохова испытывает удары в каждую новую эпоху.

Первая волна чуть не накрыла – едва «орелик размахнул крыла», – все никак не могли поверить, что «сам написал». Осторожные критики подозревали, что имелся со своими мемуарами еще и тайный «беляк», владелец поместья, слишком уж достоверно описанного в «Тихом Доне», неосторожные подозревали целый коллектив авторов, среди которых на «красные» главы романа назначали красных авторов.

Научно-техническая революция (60-е годы), пропустив текст сквозь компьютеры, ответила: автор – один.

Эпоха Солженицына назначила нового претендента: Крюкова. Однако тот, кто прочел даже и самые лучшие вещи Крюкова, мог убедиться, что там нет ни одной строчки, которая по типу напряжения приближалась бы к «Тихому Дону».

Нобелевская премия никого не устроила: это была, разумеется, «чистая политика». Что же до текста, который в конце концов пришлось признать великим, – либеральная интеллигенция не могла стерпеть, что такой текст написал человек, не скрывавший своего презрения к либеральной интеллигенции и жалевший, что не поставил к стенке пару диссидентов в 1919 году.

На рубеже веков накатила очередная волна: в несколько опросов авторитетные эксперты признали «Тихий Дон» лучшим русским романом XX века. То есть, первым меж равных, среди которых: «Жизнь Клима Самгина» Горького, «Хождение по мукам» Алексея Толстого, «Угрюм-река» Шишкова, «Жизнь и судьба» Гроссмана, «Доктор Живаго» Пастернака... не перечисляю позднейших, чтобы не дразнить гусей. Отмечу, что на сей раз приходилось уже не защищать Шолохова от обвинений вздорных и облыжных, – а искать, чем же его роман «лучше» других, написанных явно не хуже. И это уже разговор не о лаврах и прочих приправах литературного процесса, а о том, ради чего литература и существует: о сути духовного опыта, о концепции мироздания (или мирокрушения?).

Последняя волна накатила сравнительно недавно в связи с появлением киноверсии Сергея Бондарчука, благополучно спасенной из технологического небытия и провалившейся в нашем телепрокате. Этот экранный эпизод лучше оставить киноведам и биографам Бондарчука (чья драма вызывает у меня искреннее сочувствие). Но это решительно не моя тема.

А вот попутные суждения о шолоховском романе, столь неудачно на этот раз втащенного на экран, – тема интересная. Потому что высветилось при этом нынешнее бытование текста, написанного уже три эпохи назад. Бытование не в заинтересованных кругах шолоховедов, для которых «Тихий Дон» – законное профессионально-жизненное пространство, а в кругах кино-критиков, для которых эта книга – часть привычного культурного пейзажа.

Высказалась на этот счет Алена Солнцева, раздолбавшая, раздраконившая, размазавшая по стенке вышеуказанную киноверсию (думаю, что справедливо), а потом оглянувшаяся и на роман.

Беру именно ее суждение, потому что перед нами талантливейший критик кино, театра и телевидения, человек с безукоризненным вкусом, прекрасно владеющий пером и думающий над тем, что пишет.

Вот что она, разделавшись с Бондарчуком, написала о Шолохове (цитирую, не выпуская ни слова) по газете «Время новостей» от 26 ноября 2006 года:

Хотя роман «Тихий Дон» уже много лет никто не читает, но миф о его величии, месте в русской литературе XX века, универсальности и проникновенности – живее всех живых.

Сотни персонажей, которых невозможно запомнить, почти канцелярские справки о передвижениях войск, прямые цитаты-заимствования из Толстого, непоследовательность в оценках одного и того же события, отсутствие мотивации в поведении центральных героев, неумение выделить главное среди обилия подробностей – все эти недостатки романа никого как бы не интересуют. Так же как и очевидная современность его материала – в модной сегодня документальной стилистике, дотошно фиксирующей состояние вечно смутного русского мира, бессмысленного и беспощадного к себе и другим, не ценящего не то что чужое добро – собственную жизнь, вечно готового к поту и крови, не умеющего беречь счастье и покой, гонимого по безудержной инерции, мира без веры и без устоев, признающего лишь право сильного, старшинство беспредела, главенство инстинкта над разумом... А именно таким описан мир в романе Шолохова, если его читать внимательно и опускать немногие идеологически выдержанные в советском духе сентенции.

А теперь – построчно.

Живее всех живых – скрытая цитата из Маяковского: ходовой прием современной журналистики, я этого приема не комментирую.

Роман «Тихий Дон» уже много лет никто не читает...

А Гомера вы регулярно перечитываете? Сервантеса? Толстого? Шекспира? Разумеется, есть люди, которые любимых классиков держат под подушкой, именно из таких читателей вырастают исследователи классиков. Но мировой ряд так велик и объемён, что перечитывать его по фронту – несбыточно. Такие книги читаются раз в жизни и усваиваются на всю жизнь. Не прочесть «Тихий Дон» нельзя, но перечитывать его необязательно.

...Миф о его величии, месте в русской литературе XX века, универсальности и проникновенности.

Есть теорема Томаса: если люди определяют ситуацию как действительную, то по последствиям она действительна. Проще это называется: реальность мифа.

Сотни персонажей, которых невозможно запомнить.

И не надо запоминать: невозможно запомнить, вычленив частицы лавы и есть черта реальности, накатывающейся лавинообразно, лавиноопасно, лавиносмертельно.

Почти канцелярские справки о передвижениях войск.

Правильно! Такую лавину можно охватить только канцелярски... точнее: штабистски. Тем страшнее судьбы личностей, встающие из этих «справок».

Прямые цитаты-заимствования из Толстого.

Правильно! И эти заимствования нужны: понять, что опыт, вынесенный Толстым из 1812, 1856, 1878 годов – не может справиться с реальностью 1914, 1919...

Непоследовательность в оценках одного и того же события.

Совершенно верно: такого выворачивания оценок, какое навязала жизнь писателям XX века, не найти ни у Толстого, ни у Достоевского: те все-таки смогли на чем-то остановиться...

Отсутствие мотивации в поведении центральных героев.

Именно! Так чудовищно эти мотивации выворачиваются наизнанку, что душа выворачивается вместе с ними. Хотите последовательных мотиваций – возьмите «Поднятую целину», «Судьбу человека», «Науку ненависти», наконец. Пожалуйста, перечитывайте.

Неумение выделить главное среди обилия подробностей.

Это главное-то и выворачивается, как только вы пытаетесь выудить его из лавины подробностей.

Все эти недостатки романа никого как бы не интересуют.

Ну уж и «никого». Не интересуют они – тех читателей, которые ищут последовательности и положительного итога. Трагедия же – это когда недостатки суть продолжение достоинств и наоборот, причем не уловишь, где и как одно выворачивается в другое.

Так же, как и очевидная современность его материала.

Ну, наконец-то, признала. Да не просто «современность», а, я бы сказал, «вечность» такого материала, под которым (сейчас и я выдам скрытую цитату) хаос шевелится. А извергается этот хаос на поверхность культуры – в великих книгах.

В модной сегодня документальной стилистике, дотошно фиксирующей состояние вечно смутного русского мира...

Ну, не только русского, недаром «Тихий Дон» вписан в мировой контекст. Но, конечно, русского прежде всего.

Каков же этот русский мир?

Вечно смутный, бессмысленный и беспощадный к себе и другим...

А тут «прямое заимствование» из Пушкина не вызывает протеста? Не потому ли, что русский бунт как раз и пережит Шолоховым, причем изнутри.

Не ценящий не то что чужое добро – собственную жизнь.

А камикадзе ее ценят? Шахиды – ценят? На то и классика, чтобы вскрывать вечную немыслимость, которая каждый раз падает на человечество «неизвестно откуда» и «непонятно, за что».

Вечно готовый к поту и крови.

Да! Нужно запредельное отчаяние, чтобы зафиксировать то, чего нормальные нервы не выдерживают. Потому и уникальны такие книги.

Не умеющий беречь счастье и покой.

Умеющих беречь – легион, так что не дай нам бог жить в интересную эпоху... Простите, опять скрытая цитата. Но эпоху не выбирают.

Гонимый по безудержной инерции.

Хороший все-таки слух у Алены Солнцевой. Безудержная инерция – какой-то рок, морок в «Тихом Доне». Молох... Хотя на поверхности текста то и дело – «канцелярские справки».

Мир без веры и без устоев, признающий лишь право сильного, старшинство беспредела.

Так когда лавиной сносит и сжигает все устои и всякую веру, – только сильный способен попробовать выжить в этом беспределе – выжить, чтобы через мгновение погибнуть, не телом, так душой.

Главенство инстинкта над разумом.

Разум, великий, вселенский, присутствует во всех великих романах русского XX века: и у Горького, и у Алексея Толстого, и у Гроссмана, и у Пастернака... но только у Шолохова присутствие Разума практически неотличимо от Инстинкта. И бредется человек на этой страшной черте.

Остается в памяти человечества XX век – как схватка Разума и Инстинкта.

Именно таким описан мир в романе Шолохова, если его читать внимательно и опускать немногие идеологически выдержанные в советском духе сентенции.

Зачем же опускать сентенции? Не надо их опускать! Они входят в бред эпохи. Это в средних книгах «идеология» должна прикрывать автора, а в книгах великих она еще и подчеркивает гремучую смесь времени, входя в нее одним из ядов.

* * *

Благодарю Алену Солнцеву – давно я не читал такой точной характеристики шолоховского шедевра, подтверждающей, что по запредельности трагизма это действительно «первый» роман среди великих русских романов XX века, написанных не хуже, но не передавших того безысхода, из которого мы выбрались и замерли в ожидании, когда прильет нас очередная волна мирового приюта.

Капли датского короля

Исследователям отечественной истории – особенно с высокого рубежа XX и XXI веков – Смута представляется явлением сугубо русским, присущим нашей непредсказуемой и маловменяемой психике.

Прекращение Смуты рисуется отрезвлением, идущим из глубины Руси, – счастливым согласием Минина и Пожарского, сплочением рубля и меча, победой нашего недрогнувшего духа над нашим же шатанием и нестроением.

Все так. Однако есть еще один аспект этой бунташности, не менее интересный: иноземцы.

Едва Михаил Романов освоился на троне – у берегов Кильдина маячат датские военные корабли.

Датские?! Где Русь, а где Дания? Только принца Гамлета нам не хватало.

Дойдем и до принцев, а начнем с того, что с Данией дело не так просто, хотя с Польшей и Швецией (да и с Турцией) куда яснее...

...В Стокгольме мне лет пять назад со смехом показывали воспроизведенные теперь старинные карты, на которых вся Русская равнина все еще мечена как «Швеция»...

...Смех смехом, но речь-то издавна шла лишь о том, кому собирать урожай (стричь купоны) с восточноевропейских угодий, а вовсе не о том, чтобы переселяться в наш лес. Так ведь и Христиан IV, датский король, в 1619 году на Москву идти не собирался, он только хотел оптом скупать рыбу у русских добытчиков, оттерев от этого прибыльного дела голландцев и англичан.

А русских спросить, чего они-то хотят, не приходило в голову?

Да ответ заранее знали: русские только и ждут, чтобы их завоевали. Буквально: «Россия – это страна для завоевания, в ней хозяином является тот, кто имеет некоторую силу».

Это кто сказал? Судя по языку (с которого переведено) – француз. Судя по адресату (проект подан английскому королю) – англичанин. Судя по некоторым оговоркам (русским «отребьем» можно вертеть, как заблагорассудится, если вести себя не слишком дерзко) – или поляк это писал, или человек, который хорошо усвоил печальный опыт поляков, ведших себя в Москве именно что «слишком дерзко».

Надо однако признать, что для времени Смуты и после Смуты такая характеристика не беспочвенна. Смутно было! Современный историк пишет, что избрание Михаила Федоровича вовсе не означало конца Смуты: по стране носилось множество отрядов, не подчинявшихся московскому правительству: «казаки, запорожцы, литовские и польские авантюристы и просто русские воры».

Авантюристами тогда кишела «вся Европа»; если их брали на службу, то переименовывали в волонтеров. Интересны же в этом списке именно родимые воры.

Царь Алексей Михайлович посылает Ордын-Нащокину (министру иностранных дел, как сказали бы теперь) секретный план переговоров со шведами и круглую сумму казенных денег, в качестве курьера избрав для надежности нащокинского сына, а сын, именем Воин, вместо того, чтобы стать воином Отечества, рвет когти в Польшу (становится, как сказали бы теперь, невозвращенцем), гуляет по Европе, а прогуляв все деньги (и продав секреты) просится обратно. И его, родимого вора, прощают, потому что надо же малому погулять – на Руси все погулять хотят, особенно по заграницам! От Смуты-то нашей.

Это – «в верхах». А «в низах»?

Тут уж сплошная Смута, и от нее не убежишь.

Едва царь Михаил Федорович усаживается на трон, его правительство начинает наводить порядок. Борис Морозов (премьер-министр, как сказали бы теперь) предлагает заменить прямые налоги (поборы, праваж, или, как сказали бы теперь, беспредел) единым косвенным

налогом, для всех равным: накинуть на соль две гривны с пуда. Он объясняет эту меру гласно и ясно. И что же? Взрыв, бунт! Морозов едва уносит ноги от ярости народной...

... Не удержусь от аналогии: уж как объяснял народу наш министр Зурабов замену льгот денежными выплатами – едва ноги унес от разъяренных пенсионеров...

В 1648 году кое-как вырулили, уложили закон соборно. Но, как пишет современный историк, новое уложение не сделало жизнь легче. Строгость законов по-прежнему должна была смягчаться их неисполнением, то есть воровством. Соляной бунт миновал, стал вызревать Медный... А потом? А потом Холерный. А потом еще десятки бунтов, вплоть до тех, которые давила уже Советская власть.

Рок над нами, что ли?

А может, это такой образ жизни? И беспощадный бунт в ответ на беспощадность власти – не такая уж бессмыслица, а... тут я процитирую опять-таки современного историка (но уже иностранного – американца): это на Западе считают русские формы власти деспотическими и тиранскими, а по русской логике московиты сами себя принуждают к насилию, чтобы приспособиться к жестким реалиям эпохи.

Ну, правильно. В XIII веке реалии врезались к нам с Востока, в XVII – с Запада. Так крепко врезались, что в 1612 году Земский собор первым долгом постановил «иноземных принцев и татарских царевичей на русский престол не приглашать».

А кого приглашать-то, когда кругом одни иностранные принцы? Интересно, что Филарет-патриарх и не помышлял своего сына продвигать, он сам, Филарет, числился среди претендентов на трон, хотя и сидел в Польше полузаложенным. А уж когда низовое земство разыскало «никому не ведомого» Филаретова сына, и казаки этот выбор поддержали, – на том сговорились, наконец, и пошли к Марфе Ивановне настоящими слезами плакать, Мишу на трон вымалывать.

Миша, сев на трон, отбил от вооруженных благодетелей с севера, запада и юга. И иноземцы стали по-иному участвовать в русских делах. При сыне его тишайшем с поляками хоть и воевали, но именно через польскую культуру осваивали европейские «реалии эпохи». При внуке вздернули Россию на дыбы, чтобы получше училась – уже по голландским прописям.

А как же датчане, мечтавшие голландцев оттереть от русского улова?

И датские капли тоже помаленьку вливались в русское море. Среди иностранцев, хлынувших в Россию (как сказали бы позднее, на ловлю счастья и чинов) обнаруживается полковник, при короле Христиане V успевший повоевать в Тридцатилетней войне. Он нанимается на русскую службу, получает под команду полк, славно дерется с поляками, становится царским генералом. Потом из-за какой-то конфессиональной лютеранско-католической свары возвращается в Данию, но рвется обратно в Россию – продолжать брани.

Обратно его по старости уже не пускают. Но имя его мистическим образом воскресает в русской столице четверть тысячелетия спустя. Николай Бауман! Не исключено, что наш революционер – листок того же генеалогического древа.

Напоминать ли, что мать последнего российского самодержца была дочерью датского короля Христиана IX? Дожила до очередной Смуты, унесла ноги от разъяренной толпы, вернулась в Копенгаген, наверное, надеялась переждать. Не переждала.

Прах ее, обкапанный покаянными слезами, недавно вернули в Санкт-Петербург потомки тех смутьянов.

Ночнушка и 15 тысяч платьев

Что было бы с Россией, если бы Петр II не помер 18 января 1730 года, а продолжил бы праведное сопротивление «птенцам гнезда Петрова», то есть сподвижникам своего деда?

Или если бы дочь одного деда, Елизавета Петровна, не умерла 25 декабря 1761 года, а довела до окончательной победы Семилетнюю войну?

Или если бы Петр III, победу отдавший, не был таким невменяемым тупицей...

Я решаюсь на столь сильные выражения, находясь под впечатлением книги Андрея Буровского «Россия, которая могла быть», выпущенной издательством ОЛМА-ПРЕСС в серии «Неизвестная Россия». Автор в эпитетах не стесняется. Петр I – «Антихрист во всей красе», он изнасиловал Россию, которая при Алексее Михайловиче естественно развивалась в сторону европеизма, но была вздернута, сдернута, выдернута из естества и ввергнута в чехарду выморочных царствований, коими и занимается автор книги, живописуя это безобразия до момента воцарения Екатерины II, вернувшей страну к стабильности.

Не втягиваясь в спор по этой основной концепции, хочу отдать должное литературной одаренности автора, который не только хорошо доказывает свои идеи, но блестяще владеет жанром исторического анекдота, чем напоминает мне знаменитого некогда Валишевского (единственного предшественника, имя которого Буровский не упоминает в списке источников). Меня, однако, интересуют сейчас не гипотезы Буровского, работающего на очень популярном теперь направлении *альтернативной истории*, а персональный аспект этих гипотез, проще говоря, то воздействие, которое может иметь на ход событий личность человека, оказавшегося на троне.

Один пример «со стороны», ярко отработанный Буровским. Речь о Британии. В ту самую пору, когда Россия с трудом выкарабкивается из послепетровской чехарды, Британия правит морями и на путях мировой державы предпринимает колоссальный рывок вперед. Приобретение Канады, открытия Кука, колонизация Австралии, утверждение в Африке, Индии, противостояние Наполеону, слава первой мастерской мира – звездный час Британской империи!

И все эти 60 лет на престоле сидит ничтожество, бездарный, маловменяемый король Георг III, к концу жизни впавший в полное слабоумие.

И его держат?! Терпят?! Не скидывают?! Не фантастика ли: в Виндзорском дворце монарх давит мух, а *его именем* во всех концах земли от Северной Америки до Южной Африки и от Бенгалии до Полинезии – добывают славу! Именем Его Величества! Что же, англичане не знают подлинную цену своему полудурку? Знают... Были, к слову, и покушения, и восстание Гордона, о чем Буровский умалчивает, но я не вхожу сейчас в эту сторону дела, мне важнее сам принцип: если единство Империи нуждается в символе, то ради этого можно, в конце концов, закрыть глаза на то, какой балбес сидит на троне... Если он сидит и не мешает, то есть ни во что не мешается.

Сложнее, когда «символ», олицетворяющий Державу как таковую, пытается править. Если вернуться в Россию, то придется признать, что личные успехи государей, бравшихся за дела, касаются преимущественно сыска и кары; в этом смысле Николай I почти профессионал, хотя и не дотягивает до Петра I, а тот, засудивший и угробивший сына, все-таки догадался в ратном деле не брать на себя функций выше бомбардирских... А вот Николай II попытался стать полководцем, и чем это кончилось, известно.

Между прочим, решившись на отречение, он в 1917 году в прощальном разговоре с матерью трезво заметил, что страна в его лице «теряет стержень», пусть даже символический...

Стержень нужен! Вокруг чего-то надо держать единство. Убрали престол – а все равно надо что-то иметь: химеру вроде коммунизма, флаг, герб, гимн, чтобы все вставали... Бри-

танцы хитрее: сохраняют живое существо, от которого требуется только одно: олицетворять тысячелетнюю традицию и принципиальное единство.

У нас не получается. Втягивают! В управление втягивают, в дела, в партии, в драку, в кровь, в слезы, в ненависть.

Из того же Буровского: вот две женщины, каждая из которых вовсе не хочет на престол, а когда в этой роли оказывается – готова в крайнем случае царствовать, но не управлять. И ладно бы. Так нет же...

Они родственницы. Анна и Елизавета.

Анна, правнучка «тишайшего» царя Алексея Михайловича – девушка тихая, печальная, склонная к одиноким прогулкам, к чтению, к беседам о возвышенном. Замуж выдана – против воли, но покорила.

Елизавета, внучка того же Тишайшего – девушка страстная, склонная к компанейским забавам, яркая, игривая, хитрая, влюбчивая. Замуж не вышла по нравственной непокорности.

Между Анной Леопольдовной и Елизаветой Петровной выбирает судьба, и обе они чувствуют свое будущее... Елизавета на плечах гвардейцев (сама от волнения не в силах идти) внесена в спальню Анны и будит ее, по-родственному кладя той руку на лоб: «Ну, пора, сестрица» – та встает и покорно идет... под арест... а потом в ссылку...

Да и была ли она способна удержаться на троне – даже в роли «куклы» – Анна? Что за жизнь она вела: «сидела в одной *ночнущке*, не одеваясь, читала французские романы или часами беседовала со своей любимой сожительницей...» (еще и лесбиянка к тому же). Гнилая интеллигентка (слово «интеллигент» у Буровского – почти ругательное). Бог спас ее от русского трона – померла в ссылке, не увидя, как ее родню («брауншвейгскую») извели в ходе очередной дележки.

Елизавета же – на троне – в свою роль втягивается. Визг снега под сапогами гвардейцев, несущих ее во дворец к Анне, на всю жизнь остается кошмаром памяти, она глушит его диким придворным весельем, балами и фейерверками, разгулом по-русски и адюльтером по-версальски. После таких ночей в управление лучше и не соваться: в заседании Сената императрица высидеть не может – засыпает. Уверена, что до Британии можно доехать посуху. Когда Ломоносов является просить поддержки в организации химической лаборатории и пытается объяснить, что такое химия, – Ее Величество машет руками:

– Хватит, хватит, Михайло Васильевич, все равно ничего не разберу! Делай свою мастерскую! А то лучше бы вирши писал.

И вирши при ней пишутся, и химическая лаборатория устроена, и страна делает, наконец, рывок вперед, что и остается в памяти поколений от эпохи «кроткая Елисавет». Ничему не помешала! И университет открыли, и Семилетнюю войну почти выиграли (кабы не смерть императрицы, да кабы полудурок Петр III по прусской своей фанаберии победы не упустил). Главное же – стабильность в стране кое-какая наступила.

Осталось от удачливой государыни в личном фонде – 15 тысяч платьев и два сундука шелковых чулок.

О, понимаю. Интеллигент должен поморщиться от этого барахла. Интеллигенту интереснее думать о Причине Космоса, ему недосуг переодеться из *ночнущки* в платье.

Но тогда лучше не оказываться там, где в буче, боевой, кипучей, делаются дела. То есть у власти.

Иначе приходится историкам воздвигать задним числом альтернативные сюжеты над сундуками счастливых гулен и несчастных отшельниц.

Что значит урусничать

Не помню в точности, кого именно назвал Лев Николаевич Гумилев, когда рассказал мне свою любимую байку: угров или татар, но к татарам она имела самое прямое отношение: контекст разговора был определенно евразийский, прабабка Льва Николаевича, давшая свою татарскую фамилию великой поэтессе, его матери, поминалась не всуе.

А баечка такая. На одном берегу реки – русская деревня, на другом, положим, татарская. Ездят друг к другу, гуляют вместе. На этом берегу – праздник, мужики перепилились и спят. С того берега мужики переправляются и, переспав с русскими бабами, уплывают восвояси. Через девять месяцев у баб рождаются... кто? Русские дети, вестимо. Но вот история повторяется в зеркальном варианте: там праздник, мужики спят, с этого берега переправляются... кто рождается там через девять месяцев? Татарские дети, вестимо! Так те и эти абсолютные ж братья по крови! Один к одному. Почему же эти – русские, а те – татары? – и мой собеседник с удовольствием ставит меня в тупик.

В самом деле: почему? Что держит души в приверженности к тому или иному этносу, когда фактически все давно перемешано и продолжает перемешиваться? Язык? Все там двуязычны. Религия? Это, в конце концов, дело выбора. Государственная прописка? Меняется туда-сюда. Традиция? Вот это уже близко. Национальный характер! Химера, сочиняемая писателями и, однако, позволяющая людям находить линию поведения в чресполосной реальности. Быть!

Тогда же Лев Николаевич предложил мне тест. Едут в троллейбусе немец, русский и татарин и видят, как куражится пьяный. Как поступит каждый из них?

– Немец... вышвырнет бузотера... вызовет милицию, – неуверенно предполагаю я.

– Так! – соглашается Л.Н. – А русский?

– Русский пьяному посочувствует, – отвечаю я, осмелев. – Он ему... позавидует! А то и... присоединится!

– Вам виднее, – подначивает он. – А татарин?

Я молчу в нерешительности.

– Татарин немедленно сойдет с троллейбуса, – резюмирует правнук старушки Ахматовой. – Потому что татарскому здравомыслию отвратителен безответственный кураж.

Я вспоминаю эти беседы, и в моем воображении носятся силуэты прошлого. Тринадцатый век... Русские тягаются в непредсказуемых княжских разборках. Монголы устанавливают на этой куролесной земле общий закон, твердый, как плата за ямскую гоньбу.

Да бог с ними в конце концов, с силуэтами прошлого! Кто к кому вломился незванный, кто кому накустылял на Калке или на Куликовом поле, кто сжег Рязань, кто Казань. Нынешние татары – вовсе не те монголы, а нынешние русские уже полтысячи лет, как потомки тех и этих. Братья! Так почему же держатся «химеры» национальных характеров, когда все должно уже перемешаться?

Потому что перемешаться *не может никогда*. Проступают сквозь смазь вселенскую те печки, от которых люди идут плясать глобальные, федеральные, региональные и прочие танцы. Греются души около этих печек.

Я почувствовал это, когда читал поразительные по этнической точности романы Мельникова-Печерского. Оставляю в стороне фразеологию, оставшуюся от «ига» и «антиига», когда тех кличут собаками, а этих свиньями – чего не скажешь в драке! Но вот вековая мирная жизнь, описанная Андреем Мельниковым-Печерским.

Вольной гулевой силой дышит земля. Ищет человек последней истины, полной, совершенной, неиспорченной. По миру идет за ней, все бросает! Легче полмира пройти, чем в себе отыскать. Во Иерусалиме ищет древнего благочестия, в Вифлееме, на святой реке Иордан

– нигде правды нет! Плачет наш скиталец, видя сие, но дальше идет. Три хождения вершит: евфратское, египетское да беловодское – и опять плачет: все не то! Опоньского царства ищет – нет Опоньского царства: везде порча и обман!

И невдомек, что ищет-то – невоплотимого, неотмирного. Чтоб жизнь, скажем, была без властей и без забот. Без *мирского*. А как без мирского? – мир-то все равно догонит. И вот шатается святая душа, и гуляют по Руси бродяги под видом странников, ищут, где бы подкормиться да схорониться, а делают вид, что взыскиют града... да нет, не «делают вид»: в *самом деле* взыскиют! Одновременно: горним духом дышат, а лесными тропами плутают – плутуют.

И все бегут куда-то, колесом по миру катятся, аки трости колеблются, вбок не задаются, брюха не выставляют, в середине не мотаются...

Да не подумает читатель, что я, вослед литературоведам, демонстрирую самоцветный русский язык Печерского ради чистой филологии: *таких* исследований о его романах написано у нас предостаточно; в основном у нас и изучают их – как практическую версию В.Даля: как арсенал русских речений и реалий, бесценные залежи слова и быта, – тут еще не на один десяток диссертаций запасено материалу. Я на эту работу не посягаю; я не фольклорный арсенал вижу в эпосе великого «краеоведа», а одиссею русской души. Поэтому выписки эти – не перечень, а срез, проба, лейтмотив, стилевой спектр: как в описании Печерского гуляет по земле русский человек: шатается, за Волгу бежит, в нетях обретается, через пень колоду валит, опаску держит, во спасение лжет, плутует, лукавит, таится, озорует, бунтует, мечтает, ни отказа ни согласия не дает, темнит, в глухую нетовщину впадает, соблазнами туманится, заносится, лясы точит да людей морочит, мертвой рукой обводит, на кривых объезжает, норovit обмишувать, ошукать, обкузьмить, объегорить, объемелить, из вора он кроен, из плута шит, мошенником подбит, дурака валяет, под богом ходит, казанской сиротой прикидывается, жилит, тащит, нагревает, глаза отводит, ухо востро держит, под ноготь гнет, куражится, ломается, хоровадится, блажит, кобенится, орехи лбом колотит, полено по брюху катает, на все плюет, душу отводит, проказит, себя кажет, слоняется, шмонается, гомозится, гулемыжничает, уросит...

Стоп. К последнему слову у Мельникова-Печерского – сносочка:

«*Уросливый*: капризный, своенравный... От татарского *урус* – русский. Татары своенравных и причудливых людей зовут русскими».

Спасибо, Павел Иванович! Нет комментариев.

Деньги для империи и деньги для нации

А неспроста шутка древнего римлянина по поводу налога с уличных туалетов: «Деньги не пахнут» – пережила и того римлянина, и те туалеты, и через тысячелетия крылатым словом порхнула к нам: деньги действительно по идее не должны иметь ни запаха, ни цвета, ни вкуса, ни местной прописки. Цифры для расчета, условные знаки, символы! Без собственной стоимости и уж, конечно, без национального, социального или еще какого там «лица»...

Но едва пытаешься вернуться мыслью к этой изначальной бескачественности денежных знаков, как чувствуешь, что вся человеческая история этому сопротивляется: настолько она пропитана собственной тяжестью денег, и эти условные знаки, вроде бы только отражающие суммы вещей, сил, товаров, благ и ценностей, – сами становятся вещью, силой, товаром, благом и ценностью. Они, оказывается, могут «расти». Они могут сталкиваться и душить друг друга. И, конечно, они имеют вопиющее, нестираемое «лицо». «Еврейские деньги», «Германские деньги», «Американские деньги».

Черты этого «лица» впечатываются в дензнак, врезаются «на все времена», оберегаются с первочеканки, которая не в безвоздушном же пространстве происходит, а в реальности, меченой временем, местом, языком...

Американский доллар, несмыываемый с саквояжа «дяди Сэма», одновременно помнит свое окрещивание в купели талера.

А споры при крещении нынешней общеевропейской валюты! Первоначально ее имя, сокращенное до аббревиатуры, звучало как экю. Наверное, французы радовались такому созвучию с их национальной монетой, но радовались недолго: ни немцы, ни испанцы, ни итальянцы, ни тем более британцы никогда не примирились бы с подобным офранцузиванием Европы – и изобрели среднеевропейское евро.

В конце концов, неважно, какая именно пылинка прилипла к абстракции, но если уж прилипла... Слово «рубль» при взгляде на металлической кружочек напоминает нам, как наши пращурь рубили на кусочки серебряный стержень. И «копейка» греет нам душу при любых инфляциях и деноминациях, хотя и копье, которым «тычет» дракона Егорий, и дракона, и самого Егория мало кто вспоминает, отсчитывая мелочь при расчетах.

Что «банк» – немецкая скамья, «ипотека» – греческий столб, а «ссуда» русское судебное постановление, мы в памяти не держим. А вот «единственный настоящий банкир в Петербурге» по имени Адольф Ротштейн, боюсь, способен в память врезаться, да еще и вызвать в сознании нынешних правдолюбов взрыв эмоций на предмет «всемирной мафии», «мировой закулисы» и «масонского заговора», – если, конечно, немецкое имя не отвлечет юдофобов от его еврейской физиономии (а сидящий обок Адольфа Вячеслав не добавит в сюжет еще и польского гонору... Впрочем, рядом с В. Лясским тотчас обнаружится в руководстве банка и С.Френкель)...

Смешно связывать функционеров банковского дела (то есть людей, приставленных к бесстрастным символическим знакам) с той или иной национальной почвой, то есть с еврейским местечком, польским гмином или германской «скамьей для расчетов», – но в реальной-то жизни, особенно теперь, в ситуации повального национального опаматования, – неизбежно же все это связывается! Не ходят деньги сейчас без «пятого пункта», как эпоху назад не ходили без «шестого». Тем более, что есть в природе денег что-то, что беспокоит любого мыслящего человека.

Что? Да беспочвенность же! Не потому еврей в Средние века становится ростовщиком, а в новой истории банкиром, что такова его «природа», а потому, что стараниями Тита (того самого, который когда-то интересовался, не пахнут ли деньги, собранные в туалетах) евреев из их родимой «природы» вышибли в невесомость галута, где они в сущности перестали быть

евреями, а стали тем безадресным «народцем», которому только и оставалось пересчитывать чужие абстрактные знаки.

Кто еще подпитывает на Руси банкирское племя, кроме евреев, занимавшихся этим делом еще на Руси Киевской (о них и забыли бы, кабы не погромы)? Да те же «московские немцы», те же новгородские ганзейцы, тот же германский капитал, которого убоялся Витте, когда над Русским Торгово-Промышленным банком нависла угроза заграничного поглощения.

А еще? Неужто русских людей среди банкиров не было, за исключением, конечно, братьев Сушкиных, проворовавшихся тульских прохвостов, которых спасал от позора патронный заводчик Геллершмидт?

Есть русские! Но не те, которые пашут и засевают поля, вкалывают на патронных заводах и кричат в Думах. А те, которые кажутся каким-то особым племенем, неподкупно-честным, не от мира сего. Не князьи это люди и не фряжьи, а божьи. Монастырские. А паче того – староверские: с их аскетическим образом жизни и законом взаимовыручки. При Рогожском или Преображенском кладбищах можно оборачивать деньги не хуже, чем в кладбищенски замкнутом пространстве черты оседлости. Сказал же Сергей Булгаков, что русский капитализм связан со старообрядчеством...

На сто лет прервался русский капитализм – на век мировых войн и связанных с ними революций. «Денежный мешок» может дать ссуду, но человек, трехнутый таким мешком, не может командовать дивизией, сидящей в окопах, или боевым отрядом при захвате власти. Трясет Российскую империю с первой же войны века, с Японской, трясет в Германскую, вытрясают россияне души друг другу на пороге большевистской эпохи. «Ты всего только проклятый капиталист!» – «А ты всего только проклятый вор!» Капиталиста угробят в чекистском подвале, вор его ненадолго переживет. Есть какая-то бесовская логика в том, что Игнатий Манус, выходец из мещан города Бендеры (распределитель «германских денег» в последние месяцы царизма), и Моисей Урицкий, выходец из белоцерковского купечества (председатель петроградской ЧК в первые месяцы Советской власти) на пороге гибели обмениваются искренними оскорблениями.

Слово «банк» при Советской власти, как ни странно, сохраняется. Хотя ничего «банкирского» не требуется, чтобы выгнать «тудармии» на строительство Волховской ГЭС или распределить снаряды фронтам, штурмующим Берлин. Вторая мировая война выиграна без банкиров. В ожидании Третьей еще полвека страна не выпускает из рук ни ядерного чемоданчика, ни спусковых механизмов Госплана, Госнаба и прочих стволлов снабжения.

И только теперь, после панической Перестройки, оборачиваясь на историю, мы пытаемся найти оборванные кончики и связать. Что там за банковские монстры кормили Россию при царском режиме? Капитал Петербургский, чиновно-системный, и Капитал Московский, народно-промышленный? Деньги для Империи и деньги для Нации!

Подхватываем и то, и другое... Но так, чтобы в финальном расчете и то, и другое сработало на единство. Чтобы не снесло страну и народ в очередное междоусобие, пахнущее – и крепко пахнущее – кровью и распадом.

Яблоки с древа

Математики подсчитали: если подыматься по ветвям родословного древа, удваивая с каждым коленом число прямых предков (и углубляясь, соответственно, в глубь времен), то через дюжину колен (это не так уж много: лет триста), родственниками и свойственниками окажутся все граждане страны средневропейского масштаба, например, Франции.

Наверное, сама эта идея пришла на ум именно французам, жаждавшим узреть острый галльский смысл в тупых безумствах истории, – Россию таким деревом, конечно, не охватишь.

Всю – не охватишь. Но Россию дворянскую, помнящую свои гербовые и церковные книги, охватить можно. Нити родства и свойства, связи матримониальные, подкрепленные отношениями дружества и солидарности, твердеют в памяти легендами, за которыми встает реальность, куда более глубинная, одухотворенная и прочная, чем победоносные смены режимов и судорожные их усилия удержаться.

В принципе для древа Раевских достаточно того бессмертного эпизода, когда генерал берет за руки своих юных сыновей и идет с ними в атаку. Но и все родословие, возрождаемое из пепла, в который превращала подобную древесность революционная эпоха, соизмеримо с самой историей.

Вот перечень фамилий, связанных с Раевскими родством и свойством. Даю по алфавиту, дабы желающим легче было последовательно, по энциклопедиям, прощупать значимость этих родов. Впрочем, две фамилии вынесу вперед по причине специфической значимости: Глинские и Нарышкины.

Далее, от А до Я: Бибиковы, Бобринские, Глебовы, Голицыны, Давыдовы, Евреиновы, Кристи, Ломоносовы, Лопухины, Михалковы, Муромцевы, Неледицкие-Мелецкие, Мордвиновы, Новосильцевы, Оболенские, Самарины, Толстые, Трубецкие, Турнемиры, Унковские, Урусовы, Хвостовы, Хованские, Хрущовы, Юрловы...

Люди, склонные к фиксации знаменитостей литературных, могут не сомневаться, что Толстые здесь – самые неподдельные, конкретно: из колен Льва Николаевича. И Мелецкие – из тех, чьим тщанием увековечен «сизый голубочек». И Турнемиры – из коих прославилась беллетристка, которую Лесков запросто звал «Сальсясихой». И от Муромцевых тянется дорожка к Ивану Бунину, а от Оболенских – к Константину Симонову, а от самих Раевских – к Анатолию Жигулину, Раевскому по материнской линии.

Чтобы дополнить круг литераторов деятелями культуры, то, не говоря уже о Евреиновых, Кристи, Михалковых и Юрловых, вспомним, что адмирал Мордвинов вплыл в русскую словесность «Полными собраниями» о навигации, эволюции и экзерциции флота, а другой адмирал, Унковский, командовал фрегатом «Паллада», на котором обогнул земной шар автор «Обломова», что Григория Мелехова сыграл в фильме «Тихий Дон» Петр Глебов, а среди Урусовых историки литературы числят не только с полдюжины писательниц, но и деятелей, оставивших по себе память на почве веры, один из которых писал замечательную церковную музыку, а другая была не менее замечательная староверка, увековеченная на полотне Сурикова. А уж военные историки не пропустят ни одного из Раевских.

Словом, взявшись за одно звено такого родословия, вытягиваешь «цепь великую».

Два имени в заключение списка: Арсеньевы и Столыпины.

Что мгновенно вспыхивает в сознании, когда произносишь две эти фамилии? Да то, что гибель насильственная висит над их памятью. Мартынов, угробивший великого поэта, – хоть приятель был, сосед, сослуживец, на равных дрался («Мальчишки! Что наделали!» – ахнул генерал, их общий начальник). А никому не ведомый Богров откуда... темный киллер, нанятый то ли охранкой, то ли террористами (революционерами, по тогдашней терминологии), сзади

подкравшийся, чтобы застрелить великого государственного деятеля... Рок, что ли, висит над Россией?

Висит. И в войны, и особенно в революционные периоды (с войнами связанные зримо и незримо) сторожат людей пуля, петля и топор, в том числе и тех, чьи имена заносятся потом в анналы.

Иногда судьба, словно в насмешку, казнит какое-нибудь семейство, благополучно бежавшее от пролетарской секиры в мирную Францию: «В семье Оболенских... третья сестра, Анна, трагически погибла 14 июля 1931 года, упав с Эйфелевой башни». Нашла способ... Чаше – другое: эскадрон белых идет в атаку на позиции красных, те обрушиваются на атакующих шквал огня, пуля пробивает Алексею голову... Стальная неотвратимость. Как и то, что Георгий Раевский, родившийся в Петергофе в 1910 году и выросший в эмиграции, в 1943 году гибнет под Старой Руссой в рядах вермахта...

Страшна история, не желающая видеть, кто в каких рядах.

Однако вот «счастливец». Прошедший этот костоломный век живым, всему столетию ставший свидетелем, трех лет не добравший до ста лет: Сергей Петрович Раевский, родившийся в 1907 и умерший в 2004-м. «Счастливец» он – в кавычках, разумеется. Потому что не избежал ни экспроприаций в годы военного коммунизма, ни лагерей в сталинское время. Двадцати восьми лет от роду попал в Гулаг, но выдержал, вышел, и написал историю своей жизни. И своей фамилии. Повесть, поразительная по эмоциональной достоверности (о фактической я и не говорю), она открыла в «Вагриусе» особую издательскую серию: «Семейные хроники».

Яростью обожжено Древо. Ненавистью обуглено – даже там, где обходят героя пуля и топор. Еще «инженеры-вредители» и «троцкисты-уклонисты» не заняли главного места в пылающих приговорах сталинской эпохи, а уж всюду идет выдавливание на тот свет дворянских контрреволюционеров, недавних притеснителей трудового народа.

Притеснители из поместий переселяются в коммуналки. Пристраиваются обучать пролетариев иностранным языкам, благо сами при проклятом царизме успели хорошо выучиться. Если преподавать нельзя, идут работать: не только в конторы, но и к станку, и в поле. Крутят хвосты волам. Сергей Унковский при старом режиме держал конный завод, выращивал скакунов английской чистокровной породы. После революции, естественно, всего этого лишился. Ему разрешили взять из конюшни одну лошадь, и он зарабатывал на жизнь легковым извозом. Хорошо еще, чекисты не пресекли сразу этот частный бизнес. Как правило, пресекали. Бывшая начальница Александровского женского института, когда попыталась продолжать свою деятельность в новых условиях (то есть давать уроки), была сослана из столицы в Свердловск, но там развернулась так, что стала педагогической знаменитостью и дожила в почете до мирной своей кончины в 1947 году: то ли уральские чекисты оказались умнее столичных, то ли случай такой выпал...

Конечно, случай. И несчастый. Чаше «бывших» упекали-таки за решетку. Но что интересно: политические «дела» им навешивали уже в застенках, а попадали они туда, как правило, по доносам, а доносы писали обыкновенные люди, жильцы-соседи, которые надеялись «оттяпать» у «лишенцев» жилплощадь, «тряхануть яблоню», вдруг что перепадет. Как пронизательно заметил о том времени Михаил Булгаков, людей испортил квартирный вопрос.

Комнату в коммуналке Сергей Раевский меняет на камеру в Бутырках, потом на барак в Воркуте.

Интуицией русского человека, за плечами которого стоит шестнадцать поколений (по другим источникам девятнадцать), он понимает, что никакой законности от пролетарской власти ждать нечего и ни о какой справедливости вспоминать не надо. Надо выдержать то испытание, которое «послал Господь».

Гулаговские главы в хронике Раевского не только не повторяют общеизвестных книг Шаламова, Солженицына, Жигулина, но высвечивают в этой горестной эпопее малоизученный

аспект. Как правило, литература о лагерях окрашена у нас в цвета ненависти, возмущения, бунта; написана она от имени зеков, вбитых в рабское состояние и не примиряющихся с такой участью: от этой литературы остается ощущение апокалипсиса: тупая сила сверху и испепеляющая ненависть снизу.

Сергей Раевский все это видит, знает, испытывает на своей шкуре. И даже пишет иногда (и всегда вскользь) о наиболее озверелых следователях и охранниках, что такие люди ему «неприятны» и что звереют они «непонятно» от чего. Он охотнее всматривается в других: в интеллигентных, добрых, попавших в лагерь как в беду и старающихся помочь кому могут.

Поэтому лагерь *уничтожения*, знакомый нам по разоблачительной печати 90-х годов, высвечен у Раевского с малознакомой стороны: зверскими методами здесь все время что-то воздвигается, строится, возводится, сооружается. В «прямой видимости» от расстрельных команд легендарного палача Кашкетина устраивается что-то вроде инженерной «шарашки» (хотя в 30-е годы такого слова, кажется, еще нет), где заводится лаборатория мерзлотоведения, и там специалисты с логарифмическими линейками в руках (а то и с арифмометрами, как учил их работать Флоренский) исследуют пробы грунта для котлованов и плотин, возводимых на костях зеков.

Таковы координаты апокалипсиса: с одной стороны – Кашкетин, с другой стороны – Флоренский, и между этими полюсами – промерзшая земля, на которой бывший дворянин, ведущий свое родословие с XVI века (по другим источникам с XII), валит лес, потом копает шурфы, потом берет пробы грунта... и, уже отбыв срок, еще несколько десятилетий колесит по стране, строя гидростанции...

...А выйдя на пенсию и обложившись старыми справочниками, описывает историю своей жизни так, что она входит, как камень в стену, в историю отечества.

Завершает он свою семейную хронику словами:

«Мы не сетуем на свою судьбу и благодарим Бога за все блага, дарованные Им нам и нашему потомству».

Потомство: сын, выросший в 30-е годы на руках родственников (когда отец вкалывал на Воркуте, а мать получила «десять лет без права переписки», то есть была втихую расстреляна). Другой сын, родившийся уже после войны от второго брака. Их дети, внуки... «девятнадцатое колено родословной Раевских...»

Хроника семьи. Хроника страны. Хроника бедствий и мужества.

Один яркий эпизод побуждает задуматься о психологической причине этих потрясений, укрытой кружевом политических, идеологических и прочих хитросплетений. 1917 год, будущему мемуаристу десять лет от роду, и живет он еще в имении, в селе Бегичевка Тульской губернии. Еще ни о каких государственных потрясениях в семье не говорят. А говорят о войне, длящейся третий год, о том, что «страна набирала силу, стремясь стать первой из великих держав Европы», но не дал «немец», который, «видать, во всем виноват».

Немец, конечно, не хотел допустить Россию на первое место в Европе и, стало быть, «виноват». Но преуспел немец в развале России потому, что огромное количество русских ненавидело свою же власть: от таких интеллектуалов-пораженцев, как большевики, до таких черноземных бунтарей, как эсеры, все хотели, чтобы немец помог переломить хребет старой России.

Почему это и удалось.

Десятилетний отпрыск тысячелетней фамилии этих геополитических раскладов не воспринимает. Но чувствует что-то новое, когда сверстники, с которыми он играет, вдруг начинают курить, сначала тайком, потом открыто. И еще: идут в их сад рвать яблоки, «чего никогда раньше не было».

Встретив у ворот ватагу деревенских малолетков, возглавляемую большим парнем, хозяйка сада (знающая и этого парня, и этих малолетков, и их родителей, – у нее с крестьянами

вообще отличные отношения, хотя для них она все еще «барыня», для будущего же мемуариста – просто «мама») – мама спрашивает юного коновода:

– Зачем ты идешь в сад?

Тот отвечает:

– За яблоками! Не одним вам их есть, теперь слабода! – И, оборачиваясь к стоящим в нерешительности малолеткам: – Идем, ребята! Тряханем яблоню!

– Ребята, не ходите, не слушайте его, – говорит мама. – Я вам дам яблок сколько захотите, не ходите в сад!

Парень, нагляя, поднимает с земли камень и с угрожающим видом проходит в сад мимо хозяйки. Трясет. Яблоки падают на землю.

Мама посылает за начальником милиции, чтобы составить протокол.

При слове «протокол» воцаряется общее молчание. Мама останавливает посланного и обращается к ребятам:

– Идите домой. Я пришлю вам яблок.

Малолетки расходятся. Их предводитель молча набирает за пазуху яблок и тоже покидает поле брани.

Эпилог этой конкретной истории таков: мать нахального парня прибегает в контору умолять, чтобы ее сына простили. Мать будущего мемуариста успокаивает ее и закрывает дело. Вопрос о том, что в конце концов остается на душе крестьянки: умиление от великодушия барыни или ненависть к ней за пережитое унижение, остается открытым.

Эпилог этой истории в свете истории страны можно попробовать домыслить. Интересно: что стало с этим парнем? Шлепнули его каратели в ходе очередного усмирения? Или он сам научился ставить к стенке ту или эту контру? Прибился ли к эсерам и был добит большевиками в чекистском подвале? Или в ходе ленинского призыва стал большевиком? И пускал в расход зеков под командой какого-нибудь очередного Кашкетина? А может, сам катал тачку под прицелом охранника с вышки? Пошел ли в штрафной батальон с началом войны и сложил голову где-то подо Ржевом? Или воевал успешно и увешанный наградами кончил войну где-то под Берлином? А потом доработал до заслуженной пенсии и, повинуясь непонятному велению души, попробовал писать мемуары? Впрочем, может, засел за них просто от нечего делать...

Вспомнил ли он мать, ходившую выручать его из-за проклятых яблок?

А то и отца вспомнил? И деда? А прадеда... вряд ли. Родословных хроник по крестьянским избам не писали. И если хоть на мгновение пожалел об этом доживший до старости потрясатель, может, вошла, наконец, в его буйную голову мысль о том, с какого Древа падают яблоки, которые так хочется поскорее сожрать.

Делимая Россия

Можно сколько угодно клясться именем Вильяма Шекспира, но все-таки «драматическая поэма» – жанр загадочный. Не знаешь, что с ней делать: то ли читать на манер поэмы, то ли играть на манер драмы. И так, и эдак что-то теряется. Драма как столкновение характеров теряет оттого, что характеры эти, сталкивающиеся по законам типологии, все время оглядываются на дирижера, который велит им держать общую мелодию, что для оперы – в порядке вещей, а для драмы все ж непорядок. Поэма же, законно пронизанная такой общей мелодией, при разделении на мизансцены и роли, поступается мелосом ради социопсихологической привязки, которую приходится соблюдать. Попытка слить эти стихии всегда рискованна.

Командюж Фрунзе (командующий Южным фронтом, – мог бы объяснить Дмитрий Дарин, автор драматической поэмы «Перекоп») выражается, например, так: «Часы Врангеля сочтены... Скинем старый мир с истории стены». Если бы Михаил Васильевич (не лишенный, между прочим, вкуса к литературе) услышал про «историю стены», перевернулся бы в гробу.

Главкомкрыма Врангель (рискну назвать так командующего Русской Армией в Крыму) изъясняется проще и грамотней: «Господа офицеры, а также нижние чины!.. У нас больше нет любимой страны». В смысле стиля и сути тут все нормально: Петр Николаевич во областях заочных может спать спокойно.

Завершим мизансцену: есть еще и третий герой, без которого сюжет состояться не может, – батька Махно: «Уставился солнца подбитый глаз на воспрявшую было Русь. В который раз, в который раз большая пошла хрусть». Для романтической природы Нестора Ивановича (бывшего школьного учителя, учредившего республику «Гуляй-поле») речь вполне характерна. И поэтична.

Треугольник же этот важен потому, что исследован поэтом, принадлежащим тому молодому поколению россиян, которое не застало не только последних живых свидетелей Гражданской войны, *перекопавшей* страну, но и тех ее концепций, которые вначале были приняты советскими историками как незыблемые, а затем преемниками тех историков объявлены мертворожденными.

Надо изучать источники заново. Надо вникать в смысл событий «с нуля». Надо думать и писать словно впервые.

Дмитрий Дарин это и делает.

Треугольник, выстроенный на уровне: командюг – глав-комкрыма – атаман Гуляй-поля, – подперт таким же треугольником на нижнем уровне воюющих сторон. В плен к махновцам попадают два офицера, вернее, офицер и командир, белый и красный, иначе говоря, господин и товарищ. Приблизительно так они друг друга и величают – с должным взаимным презрением, но и с вынужденным чувством солидарности, ибо оба попали в беду: в плен, и обоих должны пустить в расход назначенные батькой экзекуторы, объясняющиеся с пленными без всякого этикета.

1-й казак

Левка, стяни копыта с лавки,
Иди доложь,
Поймали на потеху Батьке
Красную вошь.
Упирался, гад, плел про Интернационал,
Грамотник....

2-й казак

И шо?
1-й к азак
Петро в рога прикладом дал,
Щас тихий, лапотник...

2-й казак
Да Батьке, чай, не к спеху.
В холодную его – родимого,
К офицерику – для смеху,
Пушай друг друга агитируют.
Утром доложу...

1-й казак
Щас свожу...
Жор, нема махорки?

Цитирую еще и ради имен: Лева и Жора – имена, не вполне характерные для казачьего обихода (Лев Задов, знаменитый махновец, перешедший впоследствии в чекисты, выведен у Дарина отдельно). Но, видимо, разгул Юга в сознании нынешнего литературного поколения уже настолько неотделим от одесского кичмана, увековеченного Бабелем, Катаевым, Утесовым и другими классиками раннесоветской культуры, что без Левы и Жоры казачий народ неполный.

Это – попутное наблюдение. Главное же – то, как белый и красный в махновской кутузке «агитируют» друг друга. Агитируют, надо сказать, со знанием дела. Краском говорит дроздовцу: вы людей вешаете! Дроздовец в ответ краскому: а вы стреляете по подвалам. Все правильно.

Что гуманнее: удавить противника на свежем воздухе или угробить его в вонючем подвале, выяснять сейчас не будем; признаем только, что с точки зрения военной целесообразности подвальные расстрелы оказались эффективнее. Для сюжетного развития поэмы важно другое: пока эти двое выясняют, кто из них нужнее великой России, из-за двери узилища доносятся то пьяная ругань, то пьяная возня, то пьяная песня... Махновцам охота выпотрошить «краснопузика» и «белоподкладочника» немедленно, а караульным велено додерживать пленных до батьки, который допросит и уж только потом расстреляет. Пение же тут уместно по той причине, что поэт Дмитрий Дарин вообще мастер сочинять такого рода тексты:

Эх ты, батька Махно!
Помирать все одно!
А живем однава,
Чай жена – не вдова,
Горе, чай, не беда!

Раскол России – вот настоящее горе, вот наша беда, которую приходится осмыслять шесть поколений спустя после того, как красные и белые сцепились в кровавом междуусобии. Единая неделимая страна располосована этой очередной смутой, и вся надежда у теперешнего поэта – на то, что два стана, два лагеря, две программы преодоления беды как-то задним числом сопрягутся, договорятся... То есть беляк-дроздовец и краском-интербригадoveц найдут общий язык.

Это ощущаешь сразу, уже в экспозиции. Они продолжают уличать друг друга и грозят друг другу будущими народными карами: виселицей, подвалом, а мы чувствуем, что им делить-

то уже нечего, и путь их друг к другу предопределен. Вопрос лишь в том, получится ли проделать этот путь, не помешают ли?

Кто помешает?

А пьяная стихия. А батькина ненависть и к тем, и к этим, и вообще ко всем, кто мешает батьке гулять. А Махновия, произрастающая на почве ненависти нашего люда ко всем барам и умникам, независимо от того, какие кокарды у них на фуражках.

Вот сквозь эту ненависть и проходят два порядочных человека, думающие о стране. Они спасаются сначала почти случайно (помогла пьяная нерасторопность махновских расстрельщиков и мгновенная реакция белого офицера), а потом уже не случайно (красный в свою очередь выручает белого, когда в Крыму трезвые чекисты ставят к стенке сдавшихся офицеров).

Надо было пройти и сквозь бестолочь круговой драки, называвшейся Гражданской войной, и сквозь оголтелость комиссаров-идеологов, называвшуюся идейной непримиримостью, и сквозь человеческую подлость военачальников, именуемую военной хитростью.

Впрочем, почему только «начальников»? Прежде, чем красные, привлеченные на свою сторону махновцев и вместе с ними взявшие Перекоп, перестреляли тех в спину, махновцы в разгар штурма стреляли в спину комиссаров...

Стоят друг друга такие вояки.

Но стоят друг друга и два воина, переглядывающиеся через ров перекопанной России.

Краском пристально смотрит на поставленного в красноармейский строй бывшего белого офицера, которого он только что спас от расстрела. Бывший белый офицер встречается глазами с краскомом, которому он помог спастись от махновской пули. Пути расходятся...

Что их ждет? Чистка 1927 года и расстрел? Чистка 1938 года и расстрел? Гибель в 1941 году – уже не поймешь, в каком застенке: то ли в гитлеровском, то ли в бериевском?

В мертвом молчании уходят со сцены выжившие герои. Сзади слышны расстрельные залпы 1920 года.

Восемьдесят пять лет спустя правнуки тех палачей и тех жертв спрашивают у тогдашних безумцев:

– Что вы делили?

Нет ответа.

Логика хаоса

*«Расстреляны в один день...»
Юрий Жуков, «Иной Сталин»*

Историк Юрий Жуков, реконструировавший по рассекреченным архивам кровавый хаос чисток и процессов предвоенного десятилетия, видит в этом хаосе логику, которая в хаосе была не видна.

В оргии доносов и оргвыводов неистовствует не «узкое руководство»: группа Сталина, еще довольно малочисленная, демонстрирует умеренность, а вот «широкое руководство»: крайкомовцы, обкомовцы, партсекретари с нацокраин, наркоматовцы – просто захлебываются взаимной яростью.

Дело вовсе не в том, что хитрые дрессировщики манипулируют зверинцем, – сталинцы не столько манипулируют, сколько балансируют, и сами то и дело оступаются в кровавую мясорубку. Дело в том, откуда сама мясорубка, и как эта дикая приверженность к диктатуре сочетается (в одно и то же время) с попытками «верхушки» продавить сквозь «второй эшелон» новую Конституцию СССР, которую партэшелон на дух не переносит.

Водораздел – между теми, кто по-прежнему уповает на мировую революцию, и теми, кто (нутром, нюхом, хребтом) чувствует, что вместо мировой революции надвигается совсем другое: война отечеств.

Можно вставить в программу слова «в одной, отдельной взятой стране», но как развернуть страну к такой программе, если коммунистическая партия – несколько миллионов кристально чистых, неискоренимо преданных пролетарской диктатуре, ненавидящих всяческую отечественную «внеклассовость» и «буржуазность» борцов – фактически держат страну в руках и добром не выпустят?

Путь один: сломать в этой старой ленинской партии единство. Стравить троцкистов с зиновьевцами, левых с правыми, чекистов с армейцами, идеологов с хозяйственниками... И это удается: партийцы в несколько накатов пускают под откос и эту партию, и самих себя.

А новая конституция, в сущности отменяющая диктатуру класса и всевластие кристальных конников, – открывает дорогу во власть, в правящую партию, в руководящий слой – новому поколению бойцов, не одурманенных классовыми теориями. А также технически грамотным интеллигентам, никогда на коней не садившимся. Тем, которых прежде давили как «спецов».

Соппротивление партийцев оказалось отчаянным. Нарком Ежов, которому было поручено искоренять врагов среди партноменклатуры, не просто перестарался, – спуская на места «лимиты» расстрелов и посадок, он обрушился на беспартийную «сволочь» (любимое словцо тех лет), на бывших «лишенцев», которых Сталин хотел вернуть к жизни и на которых надеялся опереться. Может, это было причиной той ярости, с которой Сталин отправил Ежова на тот свет. Демократизация сорвалась. Советский Союз в глазах западных демократий остался революционным пугалом. Обложить Гитлера коалицией не получилось. Но все-таки призрак военного коммунизма поблек, мираж мировой пролетарской солидарности слегка рассеялся, комиссар с маузером на скамье вождей пододвинулся к краю...

Раньше что ни назови – «подразумеваем партию». Главное пугало – «Советы без коммунистов». А теперь «Блок коммунистов и беспартийных» – база власти.

Дьявольский же окрас происходящего – от того, что слова «марксизм», «ленинизм», «коммунизм» номинально при этом сохранились. А страна, повернувшаяся на 180 градусов, изготовилась совсем не к такой войне, которая ожидалась в трудах основоположников.

Юрий Жуков вскрывает эту логику в своей книге «Иной Сталин» (издана в «Вагриусе»). Это – мое сильнейшее читательское впечатление последнего времени.

Кровавая логика все-таки не так удручающа, как кровавый хаос. Но в любом варианте участникам этой драмы не позавидуешь.

«Ворюги» милей, чем «кровопийцы»? Не знаю... Вопрос не в том, кто «милей», а в том, что горше.

Один только пример из книги Жукова.

24 июня 1937 года Политбюро без каких-либо комментариев молниеносно утверждает... просьбу первого секретаря ЦК КП(б) Узбекистана А.И.Икрамова:

«ЦК КП(б) Узбекистана просит санкции ЦК ВКП(б) на снятие Файзуллы Ходжаева с поста председателя Совнаркома Узбекистана за связь с националистическими контрреволюционными террористами... Я убежден, что при более тщательном расследовании вскроется его руководящая роль в этом деле».

Уже в сентябре пленум ЦК КП(б) Узбекистана исключает самого А.Икрамова из партии. А в марте 1938 года Икрамов и Ходжаев вместе оказываются на скамье подсудимых... по делу «Антисоветского правотроцкистского блока»...

Расстреляны в один день.

Теперь оба символически покоятся под Соловецким камнем как жертвы политических репрессий.

Хоть там – мир их праху.

Великая. Отечественная

Из двух определений Великой Отечественной войны первое изначально неоспоримо и ожидаемо. Унаследованное от Великой Революции, это определение срифмовано с событиями, которые с начала двадцатого века нарастали в своем тяжком величии. Еще не закрепилось в сознании историков за империалистической войной слово «первая» – для этого «вторая» еще должна была разразиться, – но что она разразится, сомнений не было. И что будет – как и предыдущая – мировой. И, разумеется, великой. Вопрос был только в сроках. Мир, наступивший в 1918 году, и миром-то был каким-то нервно-судорожным. Куда вернейшим являлось найденное у нас слово «передышка». По типу «перебежки» и иной передислокации. В смысле: или пробежим, или сомнут.

Пока Европа судорожно перестраивалась, а Германия еще не окрасилась в коричневый цвет, – можно было по революционной инерции надеяться на некий германо-советский пролетарский проект, который сокрушил бы застарелую власть Британской империи. Но в 30-е годы расстановка сил круто переопределилась, причем обошлось без всяких пролетарских революций: Европу все отчетливее объединял Третий рейх, так что Москве впору было бы уже и вспомнить, что она – Третий Рим.

Можно сколько угодно спекулировать на советско-германском пакте 1939 года, изображать его сговором двух тоталитарных монстров, – но людям, сколько-нибудь чувствовавшим реальность, ясно было, что пакт – взаимная уловка ради выигрыша времени перед главной схваткой.

Эта неотвратимая схватка мало общего имела с финской кампанией, отодвигавшей границу от Ленинграда, с очередным разделом несчастной Польши, с изгнанием румын из Бессарабии. В свете дальнейшего эти кампании могли считаться пробой сил на дальних подступах, оперативной экспозицией надвигавшейся войны.

Надвигалась – Великая.

Не знали мы, однако, что обернется она – Отечественной. Вот уж чего не хотели, не ждали, не чаяли. Надеялись отвоюваться на чужой территории, да еще и малой кровью, потому что наших красных освободителей должны были встретить с распростертыми классовыми объятьями пролетарии Рура...

Не встретили. А мобилизованные в панцирные колонны вермахта рванули через наши границы. Ножом сквозь масло прошли сквозь те линии обороны, что мы успели выдвинуть. Отхватили Украину, Белорусию, врезались в исконно русские земли, вышли к Москве, обложили Ленинград, приготовились вымыть сапоги в Волге.

Пришлось свернуть пролетарские знамена и вспомнить 1812 год. Стала война Отечественной.

Было, однако, у Великой Отечественной войны еще одно определение, неофициальное, но неоспоримое: последняя. И оно, это определение, скорее поэтическое, чем практическое, держало выпрямленными души в ситуации, безысходность которой была бы невыносима.

Что эта война – последняя, верили советские интеллигенты, проникнутые революционным энтузиазмом и унаследовавшие от русских интеллигентов стремление пострадать за окончательную справедливость. Верили молодые поэты, мечтавшие в ходе последнего решительного боя пройти от Японии до Англии и учредить во всем мире «родину всех трудящихся». Верили красноармейцы, со штыками наперевес бежавшие преградить путь германской танковой лавине. Верили окруженцы, бредущие в концлагерь и ловившие отзвуки фронтовой правды сквозь треск геббельсовской пропаганды и лай эсэсовских собак.

Если б не верили, что эта война – последняя, как бы выдержали?

Но чем выше лестница власти, тем меньше иллюзий. Вождь тех миллионов, что зарылись в окопы от Черного до Балтийского моря, вряд ли задумывался о блаженстве всеобщего вечного мира. Ему было не до того. Христианнейшие идеи ранней юности давно выветрились из его сознания, зато крепко вросли в него русские матюги, усовершенствованные в сибирской ссылке. Речь шла уже не о мировой революции, царствие ей небесное, а о том, как выкрутиться из войны, которая уже два года бушевала на континенте, втягивая страну за страной. Хорошо еще, два года назад удалось повернуть германские танки на запад. Разумеется, коноводы народов не верили ни в какое ненападение, но пакт развязал одному из них руки против Англии и Франции, другому же продлил передышку, а еще – дал шанс отсидеться в стороне от драки, если, конечно, первый на западе увязнет.

А если не увязнет?

17 июля 1941 года заместитель наркома госбезопасности Меркулов подал совсекретную записку: «Тов. Сталину. Направляем агентурное донесение...» Источник, внедренный в штаб германской авиации, сообщает, что немцы нападут в ближайшие дни.

Тов. Сталин взял карандаш и поперек записки наложил резолюцию:

«Т-шу Меркулову.

Может, послать ваш «источник» из Штаба Герм. авиации к еб-ной матери. Это не «источник», а дезинформатор».

Резолюция за подписью «И.Ст.» наложена на документ от 17 июня.

До германского нападения – четыре дня.

Эта бумажка, которой судьба позволила в конце концов всплыть из архива, дает нынешним историкам еще один повод предположить, будто «И.Ст.» не ведает, что творит. Не говоря уже о форме, в которой он творит свои резолюции.

Грубость формы налицо. И она свидетельствует не только о давно вошедшей в легенды грубости нравов в ближнем кругу вождя, но и о его нервозности, явно дошедшей в данном случае до предела.

А есть от чего нервничать. Франция повержена, английский десант едва унес ноги из Дюнкерка. Расчет на то, что Гитлер увязнет на Западе (куда перенаправил его наш пакт), не оправдывается: вопрос только в том, когда и как вермахт развернется для удара на Восток.

На этот счет Сталин получает десятки, сотни сигналов и донесений, где и впрямь полно – с немецкой стороны – «дезы», контригры, военной хитрости. Чему верить? Дотянуть с передышкой до 1942 года – успеть перевооружить Красную Армию – не удастся. Надо решаться. То есть, надо «верить» донесениям вроде того, какое послано к...

Но это ведь не просто: «верить», это ж надо объявлять немедленную мобилизацию, а значит – получить от противника, уже отмобилизованного, немедленный удар.

Сталин его и получил – 22 июня. Десять дней не мог прийти в себя, выматерил ближайших сподвижников, уехал на дачу, приготовился к аресту. Его вернули: «наши силы неисчислимы», «надо жить и выполнять свои обязанности». Надо командовать.

– Братья и сестры!.. К вам обращаюсь я, друзья мои! – воззвал по радио, от волнения стуча о стакан зубами.

Последовали решения: о всеобщей мобилизации, о военном положении, о партизанской борьбе...

Теперь все было в руках народа, в руках миллионов людей, которым досталось выполнять решения и приказы. Миллионов жизней это стоило. Миллионы жертв были принесены ради Победы.

Миллионы жертв это «уже статистика»? Но каждая из них – трагедия. Так оплачивается Победа.

Нынешним людям нелегко представить себе психологическое состояние тогдашних людей: как это они сплотились вокруг человека, именем которого же всю «передышку» прожили («пробежали») под страхом ГЦЛАГа. Те же ленинградцы, перенесшие террор 1935 года, все помнили: «Ишь, ты! Братьями-сестрами назвал!.. Пискнула крыса, когда хвост зажали...»

Зажав свои обиды, ленинградцы выстояли 900 дней и ночей блокады. Радио не смолкало. По радио звучали сводки. Звучала «Илиада» Гомера. И – стихи Ольги Берггольц.

Однажды все-таки радио смолкло. Диктор то ли от голода потерял сознание, то ли умер прямо у микрофона. Люди побрели к Радиокomiteту: «Мы выдержим, пусть только радио не молчит». Гомер и Берггольц зазвучали снова. Теперь, если случались перерывы, в эфир пускали стук метронома: живы, живы, живы...

Даже одна только «звуковая дорожка» той войны – это кардиограмма, вобравшая тысячи оттенков горя и радости. От медленного: «Наши войска о-ста-вили...», словно через силу произносимого Левитаном, до его же, едва сдерживаемого ликования: «Наши войска о-вла-дели!..»

Финал этой звуковой Илиады – вопль восставших чехов в мае 1945 года: «Советский Союз! Советский Союз! Просим поддержки, срочно – парашютной поддержки! Высадка: Ольшанское кладбище. Винограды 12...»

Берлин дымится в развалинах, восставшая Прага боится ответного карающего удара немцев. Конев стремительным маршем идет спасать чехов.

Самое страшное в эти последние часы войны – положение власовцев, которые поворачивают оружие против немцев и поддерживают восставших. Они-то на что рассчитывают? На то, что их прежняя служба у гитлеровцев будет сразу прощена? Сколько там расчета, сколько искреннего раскаяния, сколько большой совести, сколько последнего отчаяния? Для этих людей, попавших в западню, война тоже была кончена. Последняя их война.

Самая страшная, самая безжалостная, самая горестная война в нашей истории. Великая. Отечественная.

И вот она уходит в даль времени, эта великая война. Но не уменьшается в памяти, как следовало бы по законам исторической ретроспективы. Напротив, растет величие этой горестной вехи. Лицом к лицу лица не увидеть? Люди, четыре года смотревшие в лицо смертельного врага, вряд ли думали о том, на каком расстоянии все это покажется большим и каким большим. Чтобы расстояние стало реальностью, надо было не дать погибнуть Отечеству.

Навеки эта война вписана в нашу память как Отечественная. Независимо от того, какие формы примет жизнь в Отечестве: демократические, авторитарные... Три поля у нас навсегда: Куликово, Бородинское, Прохоровское.

А что не последней стала та война... но что последнее в жизни человечества? Может, негоже в этом сюжете цитировать немца, а может, именно немца и надо сейчас процитировать, великого немца, который сказал: каждое мгновение надо стараться жить так, словно оно последнее.

Другое время

Потрясают и даже приводят в смятение оба эпизода, составившие единый страшный сюжет. Расстрел полковника Козлова в 1941 году. И его посмертная реабилитация в 2005-м. И тот, и другой эпизоды неотвратимы и невыносимы.

Как их связать? И почему реабилитация вызывает такое же горькое чувство, как приговор и расстрел?

Расстрел командира перед строем подчиненных – мера действительно страшная. А если учесть, что расстреливают командира, который в предыдущей кампании воевал на переднем крае, был ранен и награжден, – то ясно, что казнят честного человека. И расстреливающие знают, что он честный человек, и вышестоящий генерал это знает, и Жуков знает – отдавший приказ о расстреле.

Жуков, уже после своей мирной кончины, заслужит от иных историков войны и писателей (тоже честнейших людей) репутацию «мясника». И не без причин: вся армия знала, что он воюет безжалостно и людей не жалеет. Для сравнения: Конев наступал медленнее, но и людей терял меньше... Вы можете ответить, кто воевал лучше?

Разумеется, Конев, – если судить по нормальным законам мирного времени, когда жизнь всякого человека – ценность абсолютная.

Но надо окунуться в то море крови, которое представляет собой тотальная война, чтобы... нет, не оправдать жертвы, по мирной логике невыносимые, но – понять логику тогдашнюю – логику Великой Войны.

Да, Жуков под Халхин-Голом послал наши танки в атаку под кинжальный огонь, но сокрушил японский фронт. Он потерял бы меньше наших бойцов, если бы не пошел на такой размен кровью. Но кто подсчитает, сколько еще надо было бы положить таких же наших бойцов, если бы японцы оправились и война продолжалась.

Да, Жуков в 1945-м положил в Берлине целое поколение молоденьких новобранцев, но он взял Берлин 2 мая, и дело решилось. Кто подсчитает, сколько он на этом деле положил, но и сколько спас от дальнейших кровавых разменов?

Да, с точки зрения нормальной человеческой логики расстрел полковника Козлова под Малоярославцем в октябре 1941 года – дело чудовищное и непоправимое, но кто подсчитает, сколько еще положили бы мы там, на Варшавском шоссе, если бы такими чудовищными мерами не было остановлено наше бегство и задержаны немецкие танки?

Еще и сжалилась судьба над близкими казненного полковника, и не попала в его личное дело запись о расстреле – затерялась, видно, в хаосе отступления, – и знали его родные, что пропал человек без вести...

«Пропал без вести»... Сколько горя прикрыто было этим безликим штампом в те первые военные месяцы, сколько смертей безвестных.

Иной раз подумаешь: и так погибать, и эдак. И курсанты подольские на верную гибель были посланы под Малоярославец, и погибли, но немцев задержали, и бойцы Козлова, бежавшие от немцев, были обречены. Но все-таки погибнуть смертью храбрых и быть расстрелянным перед строем – не одно и то же, хотя и там, и тут – конец. И для близких, и для памяти – не одно и то же, хотя не вернуть никого: ни стоявших насмерть, ни бежавших... на смерть.

Потрясает эта кровавая арифметика войны, но не меньше потрясают и поздние слезы, которыми страна смывает позор с окровавленной памяти своих бойцов, честно вставших в строй, да не вытянувших счастливого билета в лотерее войны.

Потрясает эта поздняя реабилитация, потому что возвращает произошедшему нормальное человеческое измерение, осознав которое невозможно вынести кровавую логику войны.

И осознав эту невозможность – все-таки признать неотвратимость тогдашней логики. Бесчеловечной. Невыносимой.

А вынести надо. Человек, не переживший того времени, не принимает душой всего того, что оно потребовало, – потому что нормальная психика и не должна такое принять. Человек, переживший то время, с содроганием вспоминает его, удивляясь, как можно было это вынести. И чем нормальнее другое время, из которого мы оглядываемся на Войну, отходя от нее на дистанцию трех, четырех поколений, – тем мучительнее стоять перед вопросом, на которое в мирное время нет и не может быть ответа.

Не может вынести ни поляк, ни прибалтиец мысли о том, что была какая-то справедливость в пакте Молотова – Риббентропа. Справедливости и не было – было сближение двух гигантских многонациональных армий, каждая из которых – и та, что шла под германским имперским знаменем, и та, что шла под советским, – шла по трупам и стремилась занять выгодные позиции, – хотя задним числом все произошедшее можно считать и той, и этой оккупацией. Но до «заднего числа» в такие времена надо еще дожить.

Не может вынести современный русский интеллигент мысли о том, что был ГУЛАГ и что сталинские каратели угробили едва ли не столько же «своих», сколько гитлеровские сверхчеловеки – «чужих». Но Большая Война не знает ни своих, ни чужих, а только тех, кто оказался в момент схватки на той или на этой стороне. Молоху Войны безразлично, сколькими трупами вымостить путь к победе, и как ее оплатить – «где-то в поле возле Магадана» или «в полях, за Вислой сонной» – там, откуда были отпущены не расстрелянные зеки, получившие штрафбат вместо вышки, или там, где он полегли с криком «За Сталина!», их недорасстрелявшего.

Невозможно вынести сегодня мысль о том, что тогда не было другой логики кроме безжалостной. Невозможно без боли думать о комдиве Петре Сергеевиче Козлове, до светлой памяти которого добрались мы сегодня в наших поздних слезах.

«Другое время».

Минуй нас в грядущем то время и логика тотальной войны.

Большая Война законов не знает. Она знает только: кто кого.

Но в итоге может не остаться ни того, «кто», ни того, «кого».

Слезка ребенка

«Мать, молодая женщина, привязывает к себе маленького ребенка и вместе с ним бросается в воду...»

Этому ребенку, кажется, посмертно уготована память вечная: в летописи самой страшной войны, располозовавшей человечество в один из самых страшных веков его истории, в эпизоде этой войны, отмеченном признаками предательства и подлости, – слезы этого ребенка выжжены навсегда.

Ни имени этого ребенка, ни имени его матери, ни имени того казака, который привел свою семью на мост, откуда все они стали бросаться в воду, – не известно. Впрочем, если бы конкретные имена дошли до нас, может, эта картина и не превратилась бы в неопровержимую легенду.

Осталось только название: Лиенц, и дата: 1 июня 1945 года. Австрийский городок, куда атаман Тимофей Доманов рванул со своим «Казачьим Станом», уходя от итальянских партизан, и откуда весь этот стан, вместе с самим атаманом, предательски выдали английские оккупационные войска советским особистам – на гибель и поругание.

Поняв, что их ждет, казаки с моста через «пограничную» реку, стали бросаться в воду.

«Мать, привязав к себе ребенка...»

Сколько их погибло – из тех сорока тысяч, которых англичане передали советским карателям? На берегах реки Драу сохранилось около тридцати могил...

Да сколько бы ни было! Гибель одного человека – такая же непоправимость, как гибель миллионов, разница только в том, что, подсчитывая миллионы, мы не успеваем почувствовать гибель каждого.

Может, потому и воззвал Достоевский к нашей совести, пустив в нее, как каплю целебного яда, слезинку ребенка. И прожигает она нам душу, когда выделена из моря слез, взята на «предметное стекло» и вопиет безотносительно к ситуации, в которой пролита.

А если все-таки прояснить ситуацию вокруг той детской слезинки, которая смешалась с водами Драу в первый летний день 1945 года – через три недели после конца войны?

Первый вопрос: почему в австрийской западне оказалась такая (после 1812 и 1914) невидаль, как «Казачий Стан»? Ну, понятно, сами казаки, решившие уйти с немцами в 1942 году (или, пусть так: дождавшиеся их в 1941), спасались от Красной Армии. Но зачем было брать с собой жен и детей? Значит, были уверены, что большевики вырежут беззащитных до последнего младенца? Откуда такая уверенность? Не оттого ли, что сами эти казаки, участвуя в карательных акциях и «очищая» партизанские местности, делали именно это? Герр Гиммлер «разрешил»? Или сами полагали, что детей лучше не оставлять?

Вторая проблемная точка: англичане. Предали или не предали они казаков? По-человечески – да, предали. Если не выходить за пределы ситуации. А если всю ситуацию взять в расчет? Англичанам это казачье войско было с конца войны – как головная боль. С титовскими партизанами дралось, от немцев вроде бы отвернулось (то есть немцев предало), куда повернет, не угадаешь. Никаких гарантий англичане казакам не давали, а вот Сталину Черчилль обещал: всех интернированных гитлеровских вояк вернуть в страны принадлежности. А их хватало, кроме казаков Лиенца: и татары там, и калмыки, и чеченцы, и украинцы... «Интернационал» – не только с нашей стороны, но и у Гитлера (как и у Наполеона), только если Наполеон, одолей он Россию, пожалуй, вернул бы полякам Польшу, – Гитлер же никакого «Казачьего стана» у себя не потерпел бы. Так что окаянный «сталинизм» был все-таки меньшим злом... если бы казаки могли взвешивать.

Ничего они взвешивать не могли. Ничего хорошего не ожидало их у наших особистов. Фильтрационный лагерь. Атаманам – петля. Верхушка атаманская: Краснов, Шкуро, Доманов,

Панвиц – пощады и не просили. Отчаянные мужики, крепились, как могли. Шкуро под хохот конвойных солдат напоминал дознавателям, как он лупил их (то есть красных) в Гражданскую: «пух и перья летели»! Краснов слушал этот балаган с отвращением; он-то втайне надеялся, что его помилуют – как-никак известный писатель, чьи произведения переведены на столько-то языков...

Наш гебешник Меркулов все эти красновские заслуги видел в гробу:

– На свободу не надейтесь, вы же не ребенок! Если не будете упираться, подпишете кое-что, отбудете парочку лет в ИТЛ, там привыкнете к нашему образу жизни... найдете его прекрасные стороны. Жить будете!

Протоколы этих допросов теперь опубликованы. Краснов отвечал:

– Кончайте сразу. Пулю в затылок и...

– Э-э, нет, господин Краснов. В ящик сыграть всегда успеете. Навоза для удобрения у нас хватает. А вот потрудитесь сначала на благо родины. На лесоповале, в шахте по пояс в воде. Станете тонкий, звонкий и прозрачный, ушки топориком.

Меркулову тоже недолго веселиться: через несколько лет его расстреляют по бериевскому делу. Где его могила – неизвестно.

Могила же Краснова, а также Шкуро, Доманова, Панвица – символически обозначена теперь мемориальной доской у Храма Всех Святых в Москве, возле станции метро «Сокол». Можно пойти и уронить слезу.

Что тут скажешь... В конце концов всякий убиенный, будь он красный, белый или зеленый, имеет право на память тех, кто найдет в себе силы для такой памяти. Но соображайте же, где ставить доску и кому какую теплить свечу! Не делайте из Доманова предателя – в отличие от Власова, он им не был. Он Советской власти не присягал, он с ней дрался, он к ней *в плен* попал в 1920-м, а потом вкалывал на Соловках, «тонкий, звонкий и прозрачный». Враг как враг. Полный Георгиевский кавалер времен Первой мировой войны – в разгар Второй вернулся на юг и с полной отдачей сил командовал сотней казаков при немецкой комендатуре, после чего и двинул вместе с ними, с казаками и немцами, в отступ: в Италию, а там и в Лиенц австрийский.

Вот там и ставьте ему доску с перечислением всех крестов, казачьих и германских. И Гельмуту фон Панвицу, группенфюреру СС, заделавшемуся казачьим атаманом, ставьте доску там же, в Австрии или в Германии, чтобы какая-нибудь фрау с киндером могла пролить законную слезу. Но не в Москве!

И еще о матерях и детях. Магда Геббельс перед тем, как покончить с собой, отправила на тот свет своих дочерей, малолетних девочек. Жалко их? Жалко. Так и хочется сказать: их-то ты за что же обрекаешь, им-то почему отвечать за твои дела и за дела твоего интеллектуального мужа? А это все то же: она уверена, что русские варвары детей не пощадят. Не потому ли, что *их* нацистская беспощадность сидит у них колом в башке? Такие сверхчеловеки.

Когда Гиммлер «разрешил» при очищении местности от партизан расстреливать детей и женщин, потому что выжившие будут ненавидеть немцев и их нельзя оставлять в живых, он оговорился, что эта мера вынужденная. Шевельнулось, значит, что-то у бывшего школьного учителя... Но сильнее был все-таки страх. Страх возмездия, которое с 1943 года стало для них неотвратимо.

Сильный драчлив не бывает, – заметил когда-то основоположник социалистического реализма. И мы тоже стервенели от сознания собственной слабости – в 1941-м, когда все висело на волоске. И был расстрел эсеров в Орловской тюрьме, и бессудная казнь военачальников в Куйбышеве. Сколько слез выплакали тогда их вдовы и дети? Перевалило к 1945-му – заплакали другие.

Пусть слезы их смешиваются у нас в памяти.

Но куда меж тем переваливает наша история?

Понаприехали

Слово это шелестело у меня в ушах все 726 дней свердловской эвакуации: с 7 июля 1941 по 3 июля 1943 года. Его шепотом передавали старшие: моя мать и мои тетки – как носящееся в воздухе нормальное определение ситуации, то есть как то, что должны чувствовать хозяева, на головы которых мы свалились в качестве неожиданных гостей. Но ни разу за те два года я этого слова не услышал от самих хозяев. Хотя чувствовать они должны были именно это: мы к ним – «понаприехали».

Картина эвакуационной жизни, конечно же, не укладывается в лозунг «единства фронта и тыла», долбивший нам мозги. И то правда, что «творческая интеллигенция», рванувшая на Урал и за Урал, в Ташкент и Алма-Ату, в Чистополь, Елабугу и другие «черные дыры» провинции, испытывала в эвакуации «крайний психологический дискомфорт». И что ящики с полотнами Брюллова и Ван Дейка из харьковского музея мокли под каким-нибудь уфимским дождем, а победоносные репинские «Запорожцы» забились в жалкий деревенский дом с печным отоплением и керосиновыми лампами.

Сегодня эти унижительные события воспринимаются в ином, не столь керосиновом свете. Эвакуация ценностей столичной культуры на восток оставляет на востоке ростки, которые расцветают здесь уже после отъезда мэтров обратно в центр. Каждый приведет общеизвестные примеры: пермский балет, свердловское кино... Я бы добавил сюда уникальный облик воронежского музея, возникшего после того, как сюда эвакуировали музей из Тарту на время войны... только, простите, не Второй, а Первой мировой войны. Нет худа без добра – и это во все эпохи, не только в нашу, проклятую.

Это горькое выравнивание духа надобно видеть сквозь «биологическую ненависть» местных к приезжим, сквозь «корысть и ярость» людей, толпящихся около «спецбуфетов» и «распределителей», сквозь сухое озлобление темных углов, куда *уплотняют* понаприехавших столичных гостей.

Первое, чему меня научили, когда мы (четыре родственные семьи, сбитые воедино общей бедой: женщины и дети – двоюродные братья-сестры, чьи отцы ушли в армию), – когда всем этим кагалом мы ввалились в однокомнатную квартиру нашего троюродного дяди, настройщика музучилища (сам дядя с женой ушел к ее родственникам, чтобы мы могли разместиться), – так вот: первое, чему меня, семилетнего выпускника московского детсада, научили на новом месте, – мыть руки, сливая себе из кружки. Водопровод в Доме артистов на Шарташской улице, конечно, был. Но что вода в кранах могла в любую минуту кончиться – стало первой вестью мне из мира эвакуации.

И свет мог кончиться. И кончился очень скоро. Появились «мангалки», сделанные из консервных банок. Потом мой брат научился делать их сам (керосиновая лампа как предмет фантастической роскоши была куплена летом 1943 года уже по возвращении в Москву). А в Свердловске светили «мангалки». И это было нормально.

Нет света – не включить электроплитку. На чем готовить? Соорудили в подвале дома общую кухню, где плиту дровами топили жильцы по очереди; угоревших выносили на снег отлеживаться. Мать и тетки бегали туда с кастрюлями, и это тоже было нормально.

Взрослые устроились работать кто где; брат пошел в четвертый класс; меня, малолетнего, надо было куда-то пристроить. Мать (учительница) уговорила директрису школы принять меня; мне учинили экзамен и приняли.

В той школе, куда меня приняли, через неделю разместился военный госпиталь, и учиться я начал в другой школе, куда нас *уплотнили*, так что число первых классов там дошло до десятка (столпотворение замыкал 1-й К). Утром площадка перед школой напоминала Ледовое побоище. Дрались все, непонятно было, кого бьют и за что бьют, это была нормальная

борьба за выживание, и дело было только в том, чтобы научиться обходить непрерывные побоища иногда и по боковым улицам.

Позднее столичные мемуаристы описали этот образ жизни как «зоосад». «Змеи в овсе». «Скандально-трамвайное хамство». Я этого не чувствовал; для меня таков был образ жизни. А образ смерти целился из черной тарелки радиорепродуктора и убивал названиями оставленных нашими войсками городов.

Вот так: незнакомый город, пылавший где-то на другом конце страны, был образом смерти, а уличное буйство, трамвайное хамство и побоище в школьном коридоре были образом жизни.

Моя первая учительница – женщина с молодым лицом и забранными в пучок совершенно белыми волосами – появилась в каком-то странном балахоне или кофте с чужого плеча. Я не сразу почувствовал, что тут что-то не совсем нормально, но потом все разъяснилось: оказывается, учительница, ленинградка, попала в ночную бомбежку, и спасло ее то, что со второго этажа на первый она сквозь пробитый немецкой бомбой пол пролетела – как спала – на диване.

Как спала, в чем была – вывезена была из Ленинграда самолетом сюда, в Свердловск. Одежду ей собирали коллеги-учителя: кто что мог. И вот, представ перед нами в странном балахоне, эта беловолосая молодая женщина стала учить нас поднимать руку и вежливо проситься, когда понадобится выйти, а потом принялась рассказывать, как оберточную бумагу линовать в косую линейчку, чтобы по этим линейчкам писать палочки.

Мои сверстники в Москве в это время вообще не учились: «потеряли учебный год».

Мне этот год спасли уральцы. Два года спасли, два самые страшные года моей жизни. Да, они, уральцы, были жестче тех людей, среди которых я жил в Москве. Круче, суровее. Я не помню их крика. Помню будничную обыденность реплик. «Во сгально: на два часа ночью света дают. А я в ночную работаю». «А у нас похороны: внука Ваню надо схоронить».

Сгально – смешно. Похороны – молчаливые, страшные – непрерывны в нашем Доме артистов. Комендант дома, *уплотнявший* приехавших, к осени умер: шел по двору и вдруг упал мертвым.

Осенью мы жили уже не у родственников: нас приняла в том же доме пожилая хозяйка. В ее комнате наша семья едва умещалась ночью на общем топчане: спали погоном. Днем все расходились по делам.

У хозяйки два сына были на фронте, дочь – на казарменном положении на каком-то заводе. Один раз эта дочь пришла. Разговор повернулся на фронтовые сводки. И вот эта девушка (ей было, я думаю, лет двадцать, а на вид все сорок) сказала о немцах, вернее, о собирательном немце:

– Он, гад, сильный.

Спокойно так заметила. Почти мимоходом. Нормально.

А в это время диалог столичной «творческой интеллигенции» с представителями «советской провинции» продолжался за полтысячи километров от Свердловска, в Елабуге, где вынули из петли окоченевшее тело великой русской поэтессы. Хозяйка, в доме которой произошло самоубийство, заметила, глядя на запасы муки, круп и прочих продуктов, аккуратно заготовленных погибшей:

– Чего это она удавилась – сколько бы еще жить могла, сына кормить. Вот когда продукты кончатся, тогда и вешайся.

Можно научить эту хозяйку (или ее детей, или внуков-правнуков) отличать хорошие стихи от плохих.

Но как научить столичную «творческую интеллигенцию» понимать то, что своим языком говорит ей российская «провинция», когда судьба сводит их всех в узкой «дыре», в черной дыре, в спасительной дыре, перед входом в которую тебя, как электрическим разрядом, бьет:

– Понаприехали!..

Пьедестал под прицелом

Первое чувство при чтении письма протестующих против памятника Сталину приверженцев «Мемориала»: хорошо, что опубликовано, что звучит, что можно читать и обсуждать. Привычно-то другое: если решено памятник поставить, то протестующие должны просто замолкнуть. А если решено, что Сталину – не место в XXI веке, и памятники велено снести, то защитники тоже пусть не лезут с доводами.

Доводы – и у тех, и у других. Больше скажу: по ощущениям повседневной жизни – тех и других сейчас более или менее поровну. Поэтому непременная, и даже главная мысль (и основное опасение мое): как бы на этой «теме» не раскололись мы опять на лагеря – по вечному русскому обычаю доводить все до крайней степени непримиримости. Да бог с ним, с «вождем народов», с «кровавым диктатором» – только бы опять не подняться стенкой на стенку.

А все ж придется в конце концов искать ему какое-то место в нашей истории и в наших душах. Нашли же – и Ивану Грозному, и Петру Великому, и Екатерине... тоже одно время Великой. Ждать, пока самый запах сталинской эпохи выветрится из последних казематов, подвалов и окопов? Пока угаснут ветераны из поколений, умиравших на поле боя с именем Сталина, – уйдут и не «помешают», не испытают горечи унижения от того, что это имя будет стерто? Это подло по отношению к ним, ветеранам. Ждать, пока уйдут из жизни последние зеки из тех поколений, что проклинали Сталина в лагерях, – чтобы уж никто не «помешал» его «политической реабилитации»? Это так же подло по отношению к ветеранам Зоны.

Приходится искать линию встречи.

Во-первых, ни о какой политической реабилитации речи нет, и памятник никакой такой реабилитацией не станет. Речь идет уже только об исторической памяти. А ее терять опасно.

Во-вторых, никакого «обилия» памятников не предвидится, даже если поставят их не только в Сталинграде и Ялте, но и в якутском городе Мирном. Уже было обилие, ваяли и водружали Сталина везде, где можно; возврат к такому оголтению может быть только в жанре фарса. Мне-то, честно сказать, жаль только меркуровскую глыбу, так же, как жаль Трубецкого, чей «бегемот» был снесен во имя борьбы с очередным тогдашним самодержцем и до сих пор не возвращен на место.

И, в-третьих, «политическая реабилитация» той или иной фигуры зависит вовсе не от скульптора, будь то Меркуров, Трубецкой или хоть сам Церетели, да и не от властей того или иного города, будь то хоть сама Москва. А зависит – от ситуации, в какую попадает народ. Дойдет до горла, обложат с запада, с юга, с востока, встанет вопрос: жизнь или смерть? – побегим искать Сталина, а не найдем, так какого-нибудь нижегородского олигарха назначим спасителем отечества... и правильно сделаем.

Сталин – символ эпохи, обозначившей смертный рубеж стране и народу в одну из самых кровавых эпох в истории России, в истории человечества. Как, кстати, и Ленин, которого все рвутся вынести из Мавзолея, думая, что трагедию можно аннулировать, а историю переиграть.

Великую Отечественную войну переиграть нельзя. Ужас ГУЛАГа прикрыть нельзя. Три русские революции отменить нельзя. Все это стороны, стадии и этапы одной неделимой трагедии.

Можно сколько угодно пересматривать стратегические решения, принимавшиеся по ходу войны, гадать, «благодаря» Сталину или «вопреки» ему мы выиграли войну, положив десятки миллионов людей, но умирали-то эти люди – «за Сталина», а не «за демократию», не «за право человека выбирать и быть избранным...» и т. д. Делал ошибки Верховный Главнокомандующий? Да, делал. Сидел бы на его месте другой Верховный, тоже бы делал ошибки, и сейчас на него валили бы ответственность. А было все продиктовано соотношением сил на европейской и мировой арене. Гитлер вел на нас пол-Европы, и шли за ним не только отпетые нацисты,

но и народ – один из самых сильных народов в истории человечества. Вот что страшно! И «дешевле» нам от них отбиться, наверное, было невозможно, а вот угробить страну и закончить на этом свою российскую историю – запросто. Сплотились бы именем того же Троцкого – все равно вопрос о гибели стоял бы так же. Сплотились именем Сталина – и этот факт уже не переменить.

«Кровавый диктатор»? Да. Войны вообще чаще выигрывают кровавые диктаторы, чем чеховские интеллигенты. Николай II был обаятельный и честный человек, несколько напоминавший как раз чеховского интеллигента, – и войну под его руководством страна проиграла. А Сталин был уголовник, человек без жалости, для которого жизнь человека не более, как статистическая частность, но войну страна выиграла.

Конечно, ГУЛАГ страшен. И Сталин его возглавил. Но не выдумал. Троцкий с его трудармиями был бы паханом еще и покруче. В смысле безжалостности. Хотя и попроще, то есть не столь хитрым и с меньшей выдержкой. Только вот факт всенародной Зоны от желания того или иного пахана не зависит. Если такой образ жизни (смерти) принят народом, то в число палачей всех уровней и рангов попадают миллионы – как и в число жертв, с которыми палачи непрерывно меняются местами. Этот образ жизни, эта тотальная ненависть, мечущаяся между мишенями классовыми и национальными, к сожалению, – мета времени, всемирного времени, – а русские и в эту ненависть впали со свойственной им неудержимостью, и воинскую дисциплину стали вводить самыми кровавыми методами.

Как же нам жить теперь с такой памятью?

Когда ставили в Москве на Лубянке Соловецкий камень, я говорил: не скидывайте Дзержинского; дело даже не в том, что он – вовсе не главный злодей в той партии, – оставьте его стоять, чтоб смотрел! Чтоб железный счастливец смотрел на каменное изваяние несчастья – это наша история, наши слезы, наша боль.

Убрали Феликса. Или – или!

Вот и сейчас: или – или. Или вообще стереть Сталина из XXI века, или – «политическая реабилитация».

Да оставьте вы ему этот клочок земли на повороте Волги. И имя «Сталинград» верните, но так, чтобы и «Царицын» был как-то увековечен, ибо и Сары-Су – память истории.

Если сидел он в Ялте рядом с Черчиллем и Рузвельтом, – пусть там же, в Ялте, и сидят они втроем – в бронзе, в камне или в чем там Церетели еще придумает.

И кончайте на этот счет базарить – впереди, может, такое, что гекатомбы XX века покажутся... как бы это поаккуратнее сказать... очередной репетицией, что ли, вполне даже терпимой. Уже хотя бы потому, что в прошлом.

Собирая силы перед встречей с прошлым

Когда в первобытной пещере сообразили, что пленника выгоднее заставить работать, чем убить, – померещилось, что в пещере не стенка, а вход в загадочный тоннель Истории.

Стариков, бесполезных в каждодневной борьбе за выживание, перестали выкидывать из жизни, а стали кормить и слушать – засветилось во тьме беспамятства Предание.

На стене пещеры (зубилом), на глиняной табличке (концом палки), на папирусе (кисточкой, перышком, пером) – вошли а эту жизнь письмена, и удостоверилось Предание – Писанием.

Символ веры: «так мне сказал отец» – протянулся в древность: «так говорят древние книги». Природные циклы разомкнулись: Слово обожествилось, встав в Начало. Линейное Время натянулось от Начала к текущему моменту и тянется по сей день.

Сей день эфемерен, момент текущ, текуч. Время течет, архивы заполняются. Прогресс ускоряет дело. Свиток сменяется фолиантом, фолиант – стопкой переплетенных и сброшюрованных страниц, журналом, подшивкой газет.

Уязвимость листика бумаги, истлевающего даже и при бережном хранении, подтверждается эфемерностью столь хрупкого носителя информации в огненных безумствах Смут и Войн.

При штурме очередного германского города советскими войсками в 1945 году сгорает архив великого философа. Непосредственно в этом виноваты наши штурмующие части, но опосредованно – и те штурмовики, которые за десять лет до того на площадях этих немецких городов устраивали костры из книг, в которых прошлое (и будущее) рисовалось не таким, каким его хотели видеть фюрер и его сподвижники.

Не жги прошлого, а то подожжешь и свое будущее, и настоящее.

Из семидесяти с лишним лет Советской эпохи первая половина срока – фанатическое вытаптывание всего, что связано с царской Россией. Отечественная война вправила мозги, но еще десятилетия коммунистическая Идеология искала, на что опереться: то ли на Рюриковичей (минуя ненавистных Романовых), то ли на первозданное славянство (минуя Рюриковичей и разных прочих шведов).

Рухнула Идеология – и встречным махом маятника рыночная власть пошла валить все, что связано с советской историей. «Вот вам такая же кара, на какую обрекли вы своих отцов».

Мой отец, убежденный большевик, с презрением отверг когда-то моего старорежимного деда.

И вот я, выбираясь из-под обломков этого классового погрома, говорю, что я НЕ СДЕЛАЮ из наследия отцов такого же пугала, какое отцы сделали из наследия дедов.

Не отвечать им злом на их зло! Перешагнув набитые трупами рвы революций и войн, красных и белых, русских и инородных, правых и неправых, угнетателей и угнетенных, победителей и побежденных, – срастить Историю воедино.

Она и так кровава, располосована, изолгана. Не надо дальше топтать – надо сращивать, залечивать, соединять...

Соединять несоединимое?!

Да. Разина, взметенного казачьей вольницей, и Алексея Михайловича, тишайшего строителя крепостной державы. Пугачева во главе «азиатских орд», и Суворова во главе «европейского артикула». Царя Николая, казненного уральскими боевиками (перестрелявшими впоследствии друг друга), и его палача Юровского (сын которого помогал потом собирать свидетельства об этом ужасе – не знал, как избыть из души).

Время собирать камни, склеивать черепки, перечитывать полуистлевшие документы. Камни зарастают плесенью, черепки крошатся, страницы тлеют. Компьютерные диски летят на выручку архивистам – и размагничиваются от времени.

А мы все-таки собираем.

«Встречи с прошлым» теряются в прибое событий настоящего; сюжеты, выхватываемые из бездн прошлого, погребаются под камнепадом из будущего, когда оно становится настоящим и заваливает нашу память.

Архивы трещат.

А мы собираем и собираем.

Настоящее распинает наши души.

А мы бегаем на свидания с прошлым, бережно смывая с этого прошлого грязь и кровь, веря, что с нашего настоящего, когда оно станет прошлым, внуки так же будут счищать грязь и кровь.

Или не будут? И тогда История кончится?

Чтобы не кончилась, мы и воскрешаем былое: великие фигуры, события, драмы, а рядом – тихое бытие безвестных обывателей, не чаявших, что их кто-то вспомнит, – История кровоточит и из открытых ран, и из сдавленных капилляров.

Оставив на родине остывающие рвы Ходынки, безвестная молодая девушка, имя которой так и не выяснено архивистами, едет в Италию и над теплыми средиземноморскими водами заносит в дневник стихи известного философа Соловьева, словно о ней написанные:

«Она видит далеко в полночном краю, средь морозных туманов и вьюг, с злою силою тьмы в одиночном бою гибнет ею покинутый друг».

...Над хладными балтийскими водами взвивается флаг цвета крови: дожидаясь отречения императора (или не в силах дожидаться), безвестные матросы Балтфлота начинают убивать офицеров: не стреляют – бьют чем попало, терзают, рвут...

Гибнет известный на всю Россию адмирал Непенин; весть о его гибели заносит в дневник известный ученый Дурылин попеременно с высказываниями его знакомых: Нестерова, Розанова, Флоренского и других известных на всю Россию людей.

Можно ли связать эти концы безвестности и известности?

Связать нельзя.

Можно переплести в одном томе, где и будут перекликаться эти страницы, терзая нам души.

Когда мы спасаем Прошлое из забвенья, мы даем ему шанс стать осмысленным. Мы снимаем с вечно проклятого прошлого клеймо проклятья. Из кровавого оно становится кровным.

И тогда боль безысхода может смениться болью искупления.

Мы и наши начальники

Конденсат *Вспоминая Брежнева*

Врезалась мне в память фраза где-то в середине 70-х, в зените брежневской эпохи, а произнес ее один из официальных идеологов того времени – в неофициальной обстановке:

– Каждое выступление Леонида Ильича есть замечательный конденсат тех мыслей и чувств, которыми в данный момент живет страна.

Я не знал, что подумать. С одной стороны, в этом было что-то обидное: техническое, приземленное, элементарно-школьное, как конденсатор из курса физики: сжижение газов, накопление электричества...

Но, с другой стороны, в этом определении сквозила признательность Леониду Ильичу за то, кем он *не был*. Сравнивать-то с кем приходилось? Или с генералиссимусом, в крови с ног до головы, за ту кровь со всех пьедесталов скинутым. Или с кукурузоводом, за непредсказуемость скинутым со всех постов. Других вариантов страна не помнила.

В противовес тем двум вариантам и выдвинули Леонида Ильича на пост генсека, с формулировкой: «Пусть поработает скромный товарищ».

Встал вопрос: как соединить скромность с величием?

Леонид Ильич нащупал: стиль должен быть приподнятым, торжественным, местами даже с пафосом. Но – не крикливым. Лучше сказать последнее веское слово, чем наболтать много, а потом неизвестно, как из всего этого выходить. Надо не по-буденновски рубить, а чтобы шло, как по маслу. Ровно. Спокойно. Без накрута. Без трескотни. Без крючков. Без витиеватых выражений и пословиц.

Буденновская рубка – это уже что-то из области преданий, а вот крючки и шараханья – из памяти недавней, как, впрочем, и пословицы, врезанные в сознание партии с той поры, когда надо было определяться, где тебя прочистят: в городе Богдан или в селе Селифан...

В отличие и от того горячего времени, и от недавнего взбалмошного, Брежнев на личности не переходит, персональных обвинений избегает, прямой полемики не любит. Соответственно, главное чувство, которым он делится с товарищами, – это вошедшее позднее в анекдоты «глубокое удовлетворение». Которое если и переходит во что-то другое, то в «чувство неудовлетворенности». Это один раз. И другой раз – в эту оговорку надо вслушаться – когда уравновешенный генсек вдруг признается, что вместо «удовлетворения» уходит с заседаний «больным». И у нас нет оснований ему не верить.

Увы, ничего не идет, как по маслу, в уравновешенном государстве. Генсек в сущности занимается тем, что делит казну. Столько-то на оборону, столько-то на пути сообщения... Он думает, что главное – распределить все «должным образом». Но его точит мысль о гибельности этой текучки и о том, что для спасения нужны крупные планы и большие идеи.

А их нет. Единственная фигура, годная на крупный план, и единственная идея на перспективу – Ленин и коммунизм. Ничего другого в заглавнике ни у генсека, ни у его окружения. Поэтому генсек старательно кроит свои доклады по старосоветским лекалам в надежде, что они не подведут. (По-человечески можно только порадоваться, что не увидел Леонид Ильич того, во что превратили Ленина и коммунизм публицисты следующего периода.)

Верит он в советские непреложности твердо. Но отнюдь не повторяет эти прописи механически. И не оглашает бездумно то, что готовят ему эксперты. По стенограммам видно, что он в курсе дел. Интуитивно он чувствует напор нерешаемых проблем – и в хозяйстве, и в идеоло-

гии. Он вызывает к соратникам, чтобы те вместе с ним над этими проблемами получше «поразмышляли», и не скрывает, что сам не очень знает, как к ним подступиться. Горькое, надо сказать, зрелище. Ибо и сейчас, «три царствия спустя», эти проблемы висят над нами. А тогда...

Вот «материальная заинтересованность». Ее хочется как-то развести с «потребительством». А как? Где граница «потребностям»? Они «непрерывно растут» – куда? (Так и хочется добавить из нашего времени: к повальному воровству? К криминалу, ставшему образом жизни?)

А вот межнациональные отношения. Как хочется опереться на «новую общность»! Однако звучит уже первый тревожный звонок – в бунте турок-месхетинцев... (А если б дожил до Карабаха, Чечни?..)

Вот разбегающиеся страны соцлагеря, они «неизбежно тянутся на Запад». Почему? Потому что «мы преподнесли им социализм на штыках». (Кто в ту пору мог еще отважиться на такие формулировки?).

А вот расползание атомного оружия. «Китай разрабатывает... я ночью читал... Индия вздумает, вот и живи в этом спокойном мире»... (А до атомных программ Северной Кореи и Ирана еще треть столетия.)

И, наконец, газ и нефть. «Ключи у нас. Газ туда – валюта сюда. Это большой экономический и политический вопрос». (Третью веку спустя нашли новую формулу: энергетическая безопасность.)

Как все это надо было решать треть века назад? В конце концов пришлось сломать и партию, и государство, без которых Брежнев не мыслил жизни. Сигналом к слову стала, как это ни горько, его смерть.

Нет, он не уходил от тяжелых вопросов, когда упирал на «коллективное руководство» – он *конденсировал* бессилие этого руководства. На эту роль его, можно сказать, выдвинули, и он ее честно исполнял. Жаловался, правда, на здоровье, терял речь, просился даже на пенсию – на пенсию не отпустили, косноязычную речь спародировали в анекдотах. Но орденами осыпали с ног до головы – только бы тянул ляжку. Он и тянул.

Надо же различать в дожде наград (которые после смерти генсека вдова собрала в мешок и сдала в архив), что это такое: рефлекс умирающего государства, которое украшает себя с внешней стороны, или потуги главы этого государства возвеличить свою персону.

Какое там возвеличить! И близко этого нет. Сплошная трогательность:

– Я вас прошу, слово «я» не должно фигурировать.

– Это сколько я уже говорю, болтаю, час?

– Что-то я еще хотел сказать...

Чего он хотел-то?

Диктатором стать?! Смешно. «Крупным работником» – да. Он им и стал. Был смолоду. И оставался до смерти. Но не вождем, да еще любимым...

Хотя *конденсировалось* со стороны окружения все то же: наше родное, русское желание возвеличить начальника. Сделать из него вождя. Искренне!

Завели архив, стали собирать бумажки. Ладно, это в законе. Придумали для бумажек особенные корочки, золоченые. Он их видел? Вряд ли. Наконец, рекорд преданности: для архивной комнаты заказали (в Австрии!) многопудовую хрустальную люстру, похожую на ту, что в кабинете Леонида Ильича. Чтоб обрадовался.

Ну, и как? Оценил?

Ни разу не зашел в ту архивную комнату. Подобострастия к своей персоне – так и не сконденсировал.

Хотя ждали.

Повезло ли России с Ельциным? Ответ на телефонный опрос

Ну и вопросец...

Раз выкрутились, выжили как государство – стало быть, все-таки повезло. Однако выжили – в усеченном размере, растеряли «братьев», проиграли соревнование с Западом, утратили статус великой державы, впали в отчаяние и озлобление как народ, потерявший силу и цель, – значит, не повезло.

Дело не в Ельцине, дело в нас с вами, дело в геополитической ситуации, которая накрыла Россию. Точно так же эпоху назад дело было не в Сталине, и невозможно ответить, повезло ли с ним стране в 1931 или 1941 годах. Сталин, конечно, воплощенное зло. Но все-таки зло меньшее, чем Гитлер.

Так же и с Ельциным: его время – злое и для него, и для страны, но боюсь, что при других «ответственных товарищах» могло быть хуже.

У меня к Ельцину нет претензий как к личности, скорее сочувствие на грани жалости. Однако еще раз пережить такой распад и такое унижение, как при нем, – бог не приведи.

Клапан

Очередной опрос: что я попросил бы у Путина?

Однажды мне предложили задать вопрос президенту. Впрочем, тогда он был еще кандидат, но никто не сомневался в его победе. Мне позвонили из какой-то социологической службы:

– О чем вы попросите нового президента?

Я остолбенел:

– Ни о чем.

Настала очередь столбенеть на том конце провода:

– Как ни о чем? Странно. – И повесили трубку, видимо, выкинув меня из выборки.

А я задумался. Конечно, про нас сказано: «Вот приедет барин...» Ну, почему президент должен знать про нас больше, чем мы сами про себя знаем? Ведь все, что мы от него слышим, есть концентрат наших же помыслов, и пока в нас, в наших душах, в нашем сознании не вызреет то, чего мы ждем от него, – ничегошеньки он нам не скажет.

Но с другой стороны... он же информирован. К нему стекается! Да и, наконец, должен же он знать, что копится в нас с вами, каково давление в котле. Так что день, когда каждый может пристать к президенту с вопросом, – что-то вроде замера. Датчик. Или клапан – не сердечный, как мы запомнили при прежнем президенте, а для регулировки внутреннего сгорания.

Ну, тогда я задам свои вопросы. По международной ситуации, по внутренней обстановке и по повседневной жизни. Каждая тема – в три такта.

– Товарищ... то есть господин президент! Намерены ли Вы укреплять солидарность с Западом? Намерены ли Вы укреплять солидарность также и с Востоком? Понимаю. А как Вы намерены сочетать эти позиции, если противостояние фронтов, между которыми исторически пластается наша страна (можно взять ориентирами Север и Юг), – располосует возлюбленное человечество?

– Господин... то бишь товарищ президент! Намерены ли Вы и впредь укреплять властную вертикаль и противостоять разгулу? Намерены ли Вы и впредь поддерживать предпринимательство и рыночную свободу? Понимаю. А как Вы намерены сочетать то и это?

– Товарищ... я хотел сказать: господин президент! Будут ли расти доходы так называемых олигархов? А будут ли расти зарплаты так называемых бюджетников? А как...

И далее – по триаде. Не гегелевской, понятно. А молитвенной – как она дошла до нас из древности, если не ошибаюсь, от испанцев:

– Господи! Дай мне силы изменить то, чего я не могу вытерпеть! Господи, дай мне мужество вытерпеть то, чего я не в силах изменить! Господи, дай мне мудрость не перепутать одно с другим!

Силы, мужества и мудрости Вам, господин-товарищ президент!

Мы и наши проблемы

Руки Творца

Археологи не обнаруживают таких ранних стадий человеческого существования, когда бы не было у нас искусства. Еще в предутренних сумерках человечества мы получили его из Рук, которых не успели разглядеть. И не успели спросить: ЗАЧЕМ нам этот дар?

А. Солженицын, Нобелевская лекция

Конечно, дело не в «искусстве»: никогда Солженицын и не брал «этот дар» так узко. Дело – в Том, чьи и Руки у него – с прописной буквы. Дело – в контакте, в жесте: из Рук в руки. И то, что хотел бы их разглядеть, да вот не успел.

Интересно: а в принципе ЭТО можно ли «разглядеть»? А разглядишь – ЧТО увидишь? «Руки»? А если «руки» – не пропадет ли самый смысл того, что нас создало, не профанируется ли, не подменится ли нашим низким?

Читатель понимает, надеюсь, что я цитирую А.Солженицына не ради гностического спора. Меня интересует внутренний духовный статус одного из крупнейших русских писателей XX века. Разумеется, на семистах страниц первого (и главного) тома его «Публицистики» (а еще два или три тома будут, но все программное, то есть не сказанное по случаю, а написанное по собственной воле, собрано именно в первом томе), здесь рассыпано множество мыслей, которые хочется подхватить, проверить, оспорить. Что я и сделал впервые в январе 1996 года на страницах одной из газет. После чего на страницах одного из журналов мне было указано, что «рассыпать» тексты Солженицына на отдельные высказывания нельзя, а надо либо проследить ПУТЬ его мысли, либо взаимодействовать с СИСТЕМОЙ его философии, и если уж оспаривать, то именно ЦЕЛОЕ, а не «набор цитат» по меняющимся поводам.

«Путь» проследить, конечно, можно и на этом пути все повороты мысли объяснить; и «систему» вывести, в которой все окажется непротиворечиво; и «целое» можно прозреть, закрыв глаза на высказывания, противоречащие одно другому, ибо противоречат одно другому и обстоятельства, в которых человек высказывается.

Поскольку все это теперь «можно», то пусть другие эту непротиворечивость и созерцают. Мне интереснее другое: «кривизна жизненного пространства». Кривизна траекторий, по которым мы летаем с нашими прямыми мыслями. Если хотите, кривизна как черта реальности, которая нам досталась, разумеется, от Творца же. Это верно, что «феерический набор раздерганых высказываний» выдает человеку больше, чем «система», хотя критик, уличивший меня в таком подходе, усмотрел тут только «ловкость рук словесного жонглера».

Правильно: жонглер – мой любимый образ: «Жонглер Господа»; я не откажу себе в удовольствии вернуться к этому образу позже, а пока, чтобы не отвлекаться, займусь все-таки «высказываниями». Рассыпая солженицынский трубный глас на ноты (то есть сводя его на уровень моего слуха и понимания), я попытаюсь обозначить общий регистр. Конечно, когда пророк трубит о бытийной катастрофе сущего, неудобно спрашивать о том, что за ближайшим поворотом, но поскольку все мы оббиваем себе бока именно на ближайших поворотах, то поневоле всматриваешься в «руки», передающие тебе очередной приговор, по свершении же срока ощущаешься: исполнилось ли?

Соединенным Штатам предсказано в 1973 году близкое «великое расстройство».

Не сбылось.

«Великие европейские державы перестанут существовать как серьезная физическая сила».

Существуют, и ни в зуб ногой.

«Жадная цивилизация «вечного прогресса» захлебнулась и находится при конце».

Что-то непохоже. Опять хитрый Запад вывернулся? И мы его очередной раз «догоняем»?

«Оробелый цивилизованный мир перед натиском внезапно воротившегося оскаленного варварства не нашел ничего другого противопоставить ему, как уступки и улыбки».

Так-таки и не нашел? А с чего это оскаленное варварство так внезапно надорвалось, и теперь цивилизованный мир гадает: от его ли улыбок это произошло, или от того, что крылось за улыбками?

«Мировая война уже пришла и уже почти прошла, вот кончается в этом году, – и уже проиграна свободным миром катастрофически».

«В этом году» – это в 1975-м. Приговорен Запад к проигрышу в «холодной войне», а не внял и войну выиграл.

Ну, а проигравшие?

«Совмещение марксизма с патриотизмом? – бессмыслица. Эти точки зрения можно «слить» только в общих заклинаниях, на любом же конкретном историческом вопросе эти точки зрения всегда противоположны».

Что-то не подтверждается. «Бессмыслица», стало быть, реальнее «смысла». То есть, конечно, логически все это «слить» и теперь невозможно. Но спрашивать с нашей жизни логику – все равно, что разглядывать Руки Творца. Или копировать Его жесты.

Великий писатель наделен – плюс к чувству глобальной ситуации – поразительной пластичностью зрения (а может, именно этим и наделен изначально), поэтому он одержим желанием – в каждом случае – разглядеть все предметно.

Подступает к «вождям» с попреком:

«А как мы вырастили Мао Цзэдуна вместо миролюбивого Чан Кайши и помогли ему в атомной гонке?»

А Дэна-миротворца – не «мы» вырастили?

Не подумайте, что я заиклен на фактах (Мао очень хотел участвовать в атомной гонке, и очень надеялся, что «мы» его в этом отношении поддержим, да вот бомбы «мы» ему так и не дали: Сталину, которого Солженицын считает «бездарным», хватило геополитической зоркости, и «идеология» ему не позастыла!), но я не об этом. Я о соотношении уровней в публицистике Солженицына. Он все время впарывается в материи, над которыми вроде бы высоко летит. Сигналил «вождям»: вы прохлопали то-то и то-то. Как будто от вождей 70-х годов, бес- сильных стариков, сильно зависят те процессы, о которых он ведет речь. Да они оцепенели, замерли в ожидании удара и боятся что-нибудь стронуть – как бы корабль на ходу не развалился. А он им: не так сидите, да и корабль не тот. Демографические фронты стоят по Амуру: сто китайцев на одного русского! А он им: не того «вождя» кормили! Много они могли выбирать, кого им кормить.

Главный магически пункт, почти «пунктик» – не та Идеология!

«Марксистская Идеология – зловонный корень сегодняшней советской жизни, и, только очистясь от него, мы сможем начать возвращаться к человечеству».

Очистились. Полегчало?

«Отдайте им (китайцам. – Л.А.) эту идеологию!»

Отдали. Им хорошо, нам опять плохо.

И даже так:

«Вспоминаю как анекдот: осенью 1941: уже пылала смертная война, я – в который раз и все безуспешно – пытался вникнуть в мудрость «Капитала».

Не нахожу в этом ничего анекдотического. Посреди смертной войны человек продолжает конспектировать Маркса – это акт упорства, верности долгу, интеллектуального мужества – независимо от того, мудр или не мудр автор «Капитала».

И точно так же, независимо от его мудрости, – если уж «Капитал» оказался тем топором, из которого сварили суп, так этот суп и есть реальность. Раз вокруг какого-то стержня скрепилось, значит, это УЖЕ реально. Потому и «пытался вникнуть» – чувствовал.

Могло скрепиться вокруг другого стержня?

Могло. В 1917 году было две идеологии, за которыми реально было повести массу: большевистская и черносотенная. Победила первая – и прикрыла собой все: всенародную казарму, тотальную воинскую повинность, удушение отклоняющихся, – то есть всю ту реальность, которую Россия получила вместе с Мировой войной из Рук, которых «не успела разглядеть». А победы в ту пору «Союз русского народа»? Казарма устроилась бы под хоругвями, и уклоняющихся душили бы под другие, немарксистские акафисты (с нами Крестная Сила!).

Верила ли коммунистическая власть в коммунистические догматы? Первое время, может, и верила. Но марксизм столько раз выворачивался сообразно практическим нуждам, и уже по первоусвоению так был адаптирован к русской почве, в пору же строительства «развитого социализма» уже настолько ритуализовался, что истинность «самого передового учения» интересовала разве только ископаемых безумцев и... Александра Солженицына, который осенью 1941 продолжал честно штудировать «Капитал».

Психологически его можно понять и после 1941 года, то есть в 1973-м, когда написано «Письмо вождям Советского Союза». Пытаясь перевернуть мир, писатель ищет ту единственную точку опоры, которая находится в сфере его досягаемости: словесную. Он убеждает себя, что именно это – главное, решающее, реальное препятствие. Сдуть словесную пену, и все пойдет к лучшему!

Сахаров с трезвостью естествоиспытателя возражает: пена не имеет значения, все это лицемерная болтовня, которой правители прикрывают жажду власти.

Вот рухнула она в одночасье, эта система словесная, и когда УЖЕ рухнула, никто не пожалел о ней, и легкость, с которой от нее все отвернулись, свидетельствует о том, что в этом вопросе ближе к истине был академик. Но интересен пункт, в котором оба они: академик и писатель – сошлись: это – их прикованность к этажу власти: к «правителям» и «вождям». Один убежден, что все дело во властолюбии правителей, другой увещевает их перестать верить в Идеологию.

Да они и не верят. Но шкурой, звериным инстинктом знают, что надо за нее держаться, – чтобы не стронуть лавину. Они не хуже Солженицына чувствуют опасность, нависшую над страной. И не только они, от решений которых, как думает увещевающий их писатель, зависят судьбы народа (ни черта от них уже не зависит, и они, в отличие от писателя, это тоже чувствуют, – и потому не позволяют тронуть «сеть слов», которой повязаны все). Все – миллионы людей в городе и в деревне, в цехах и в бараках, в саунах и в «курилках НИИ» повторяют пустые ритуальные заклинания, зная, что это пустые ритуальные заклинания. И «вожди» их повторяют – не из «жажды власти», а из чувства безопасности. И миллионы людей ждут от «вождей» такого ритуального повторения.

Почему ждут? А из того же чувства безопасности. Ведь не один же Солженицын задумывался: разорвись «сетка лжи» – какой окажется правда? А такой, что иной возьмет винтовку и поедет с ней, куда считает правильным. Вот и едут сегодня, да не с винтовками, а с автоматами и гранатометами. Межнациональные драки идут там, где раньше сковывала людей ритуальная «дружба народов», – уж тут точно по предсказанию Солженицына все рвануло. И, как он предупреждал, – «безграничная свобода дискуссий» разоружила-таки страну и привела ее на грань «капитуляции в непроигранной войне». Так это не один он предчувствовал, но и «вожди» наши, главившие народу, и миллионы людей, ждавшие от них этой лжи. Они только,

в отличие от Солженицына, не имели ни таланта сформулировать это так ярко, ни свободы выкрикнуть на весь мир, презирая опасность последствий.

Они последствий боялись. Потому и запрещали рвущийся наружу крик. Потому и Сахарова загоняли в горьковскую глушь, а Солженицына – за рубеж. Пятились, пятились, уклонялись от правды, цеплялись за ложь, про которую все прекрасно знали, что это ложь. Ложь во спасение. Ложь, которая, увы, уже не спасает.

Но сколько-то спасала же?

Спасала.

Великий японский писатель Акутагава вскрыл этот механизм в одной фразе: когда вождь лжет, и страна знает, где, как и почему он лжет, так это все равно, как если бы он говорил чистую правду.

Великий русский писатель Солженицын одною же фразой решил иначе:

«Жить не по лжи!»

В основе этого лозунга – идеальное, «математическое» понимание реальности: есть правда и есть ложь, и все, что не правда, все – ложь. Для уравнения – замечательно. Для публицистической парадигмы – достаточно хорошо. Для реальной жизни – никак. Потому что в реальной жизни правда и ложь перемешаны, и определять нужно: где, что? – каждое мгновение заново. Одно и то же утверждение может быть правдой и ложью в зависимости от контекста, а контекст – многослоен, многосложен, изменчив. Хуже того: правда может служить лжи, играть роль лжи, быть ложью. И еще того хуже, сложнее, коварней: ложь может играть роль правды, быть правдой. Быть жизнью, жизнью множества людей, и уже ПОЭТОМУ – быть правдой.

Я отлично знаю, какие капитальные расхождения кроются за этим «гносеологическим спором». Вы считаете, что семьдесят советских лет – тупик и обман, а я считаю, что этап. Страшный этап, кровавый, тюремно-лагерный, военно-казарменный. Независимо от того, какой «ложью» он прикрыт: марксистской, антимарксистской, австро-марксистской, квазимарксистской, псевдомарксистской, красносотенной, черносотенной, ортодоксально-православной или староверской. Знаете другой путь? Рискнули бы поведи?

Но для этого не хватает малости: разглядеть Руки, из которых пал нам жребий. «Не успели»? Терпите.

Не велит терпеть:

– Как только услышишь от оратора ложь, тотчас покинь заседание, собрание, лекцию, спектакль, киносеанс...

Хочется переспросить: а кто установит точно, где кончается ложь и начинается правда?

Ответ: а ТЫ САМ и решай, как тебе говорит твоя совесть!

Но ведь тогда призыв «Жить не по лжи» – сплошная абстракция. Какой смысл в общем призыве, если один по зову совести двинет пострелять в горячую точку, а другой – с телеграфного столба начнет срезать проволоку для своих хозяйственных надобностей?

Ах, да, речь-то обращена не к этим двум монстрам, а к третьему: к «интеллекту».

Попробуй, однако, найди его: грани размыты, объем раздут, смысл искажен, самосознание смутно. Кто угодно напоз в это звание.

«Насколько чудовищно мнилось до революции назвать интеллигентом священника, настолько естественно теперь зовется интеллигентом партийный агитатор и политрук».

Это – из статьи «Образованщина» (1973), где впервые с такой обидной ясностью высказал Солженицын брезгливое презрение к тем людям, которые называют себя сегодня интеллигентами или «требуют считать себя таковыми»... Требуют?! – сразу ловлю на слове. Но интеллигент не «требует». Он даже и не настаивает. И даже так: по известному определению интеллигентный человек – это именно тот, кто не настаивает. Но это к слову. Главная же мысль Солженицына: интеллигенции больше нет. И он изобретает хлесткую кличку для тех, кто занял ее место: «Образованщина».

Приклеилось. Даже если бы в работе была удачной одна эта кликуха, – осталась бы в истории публицистики. Но это и вообще одна из лучших работ Солженицына: несмотря на яростную односторонность сверхзадачи – это образец сбалансированно-точного анализа явления, у которого и содержание, и объем «хлябают», то есть не поддаются формальной фиксации.

И все-таки «что-то» тут есть, что Солженицын и фиксирует.

По этапам. Русская интеллигенция раскачала Россию на революционный взрыв и погреблась под ее обломками. Поделом? Допустим. Та, что не погреблась, пошла служить Советской власти и – как следствие – потеряла предназначение, растворилась в массе, дала себя подменить сервильной обслугой. Опять поделом? Та, прежняя, была лучше, честнее? Но ведь она «раскачала», «подожгла» – вы что же, хотите, чтобы еще раз? Нет? Тогда терпите эту. Но ведь «эта» – вошла в систему лжи и... и... витиевато повторяя официальную ложь, укрепляя эту ложь средствами своей элоквенции и стиля, тут же, втихаря, на «кухнях», приладилась над этой ложью издеваться.

Опять плохо...

Да, отвратительно, заключает Солженицын. Из чего следует: лучшей судьбы «образованцы» и не заслуживают.

А они, может, ее и не просят, лучшей. И вывод-то из блестящего анализа напрашивается совсем другой: сколь ни «исчезает» интеллигенция под «обломками», сколь ни «травится» ложью, сколь ни переименовывается, ни размывается, ни подменяется самозванцами – партократами – комиссарами, – а «что-то» в этом «месте» все равно остается. И возникает опять. Как когда-то вербовались в «свято место», то есть в эту страну прокаженных, всякие отщепенцы, «лишние люди», изгои – из дворян, священников, рабочих, да хоть из самой царской фамилии (К.Р., конечно же – «интеллигент»), – так и в советское время заражались интеллигентностью попавшие в ее поле выдвинуты-образованцы. Я сам – из таких: в «полуторном поколении», даже не во втором, – пусть будет земля пухом моим родителям, типичным образованцам-самозванцам, политрукам, полуинтеллигентам: я на их горбу вылез в это славное звание.

Есть, стало быть, в обществе эта, извините, прореха, этот свищ в «зияющие высоты», и в нормальном обществе, не говоря уже о ненормальном, ВСЕГДА БУДЕТ этот высвист в безумие, скачок в «никуда» через все расчисленные орбиты. Юродивый, скоморох – вот «интеллигент» на Руси в доуниверситетскую пору. В университетскую пору они из университетов же и поперли – «не кончив курса», – пошли, безумцы, страну раскачивать. И нынешние полужайки-полудурки никуда не денутся: их той же радиацией облучит, из кого бы ни на вербовались..

И вот внук «политрука», «комиссара», проникнувшись идеями Фридмана, говорит скифскому Совету: «Отнюдь!», за что освистан, бит, согнан, как самый неисправимый интеллигент. А другой – сразу сам уходит. И дети его – «на корочке вырастают, да честными».

Не все дети, конечно. А из трех братьев первый – идет системе служить, второй – систему кормить, а уж третий – «неудачный» – о Причине Космоса думать, карту звездного неба к утру исправлять, над неисправимостью рода человеческого плакать, под ногами путаться, корочки подбирать. И попадает – в настоящую «интеллигенцию».

«Была б интеллигенция ТАКАЯ – она была бы непобедима».

Непобедима?? Вот уж не думаю. Да она по определению – побеждаема, побиваема. Это ее удел. Не хочешь – выходи из интеллигенции. Бери палку, бей сам. А не можешь бить – готовься. Только не зацикливайся на том, кто тебе конкретно будет вправлять мозги и ломать кости «в каждой конкретно-исторической обстановке»: опричник с собачьей головой у седла, латыш со штыком, мадьяр с пистолетом или парторг с Кратким курсом. Ибо жребий не переменится от того, чьими слепыми руками он будет исполнен.

Руки же, метнувшие сам этот жребий интеллигентам, она, конечно же, «не успеет разглядеть».

И не надо.

Однако поглядим, что принес нам этот жребий и откуда все это нам прилетело.

«Неудача социализма в России не вытекает из специфической «русской традиции», но из сути социализма».

Это – в статье «Сахаров и критика «Письма к вождям».

Спор великого писателя с великим ученым насчет того, что из чего вытекает, можно было бы отнести к разряду прений о том, что из чего рождается: яйцо из курицы или курица из яйца, – если бы за спором о русском социализме не стояла наша боль, и жертвы, и гнетущее сомнение, что напрасны, бессмысленны эти жертвы.

Решить спор однозначно – не выйдет. Он решается в «ту» или в «эту» сторону в зависимости от точки отсчета.

Если взять за точку отсчета «социализм» (а восстанавливая за ним духовную вертикаль – «коммунизм», а это вековая мечта человечества, и как Мечта – никуда не денется, разве что переобмундируется очередной раз в новые лозунги), то при ТАКОЙ точке отсчета весь ужас и все безобразия того социализма, который осуществился в СССР, придется всецело отнести на счет невменяемо-безответственной «русской специфики».

Но Россия существует тысячу сто лет, из которых только последние сто окрашены социалистическим цветом, и тогда все ужасы и безобразия этого последнего века на Руси надо считать результатом того безумного учения, которое занесли в наши благодатные просторы невменяемые марксисты.

Но почему ни в Швеции, ни в Австрии, ни в Израиле социализм не дал таких диких результатов, как у нас? Значит, это «русская почва»... Пошли по кругу.

«Конечно, побеждая на русской почве, КАК движению не увлечь русских сил, не приобрести русских черт!»

Конечно. Но – учитывая нашу «соборность», нашу страсть к немедленной и полной справедливости, нашу мистическую тягу ко всему «всемирному», к «последнему смыслу», наш, как пишет Солженицын, «общительный русский характер», – как же было не увлечься нам всемирным коммунизмом, как не усмотреть в нем разрешение мировой загадки, как не приобрести социалистических черт!

С какого конца будем бить это яйцо: с тупого или с острого?

Абстрактно-логический спор о том, какая тут «система», сколько в этой системе «плоти», то есть: где кончается «система» и начинается «плоть», – такой спор может длиться бесконечно. А нужно здесь простое, прямое чувство живой реальности, которому должен дать ход в своей душе великий писатель.

Он так и поступает: когда доходит до дела, – откладывает в сторону вопрос о том, что из чего «вытекает», и просто заслоняет от ударов то, что ему дорого.

«Удары будто направлены все по Третьему Риму да по мессианизму, – и вдруг мы обнаруживаем, что лом долбит не дряхлые стены, а добивает в лоб и в глаз – давно опрокинутое, еле живое русское национальное самосознание».

Называйте его как хотите: национальное, интернациональное, многонациональное, – но это миллионы живых людей, связанные общей судьбой, ищущие смысла своих усилий, – и по какой бы «отметине» вы их ли лупили: по «имперской», «советской», «московской», «русской» или «российской», – вы бьете по живому.

Это вот чувство живого несломленного народного целого, которое сейчас испытывается на слом, – это главный нерв солженицынской публицистики. И до всяких конкретных рецептов и даже до всякого диагноза, – эта боль определяет у него все. Чувство кризиса, критической точки, мертвой точки, в которой находится народный организм. И – сберечь его во что бы то ни стало! Любой ценой сберечь живое народное целое.

Как его назвать? По какой отметине?

И чего это будет стоить. «Спасти Россию ценой России»? – как сказал другой русский прозаик, Г.Владимов? И ЧТО спасем? Будет ли это – Россия? И КАК спасти в такой смуте?

Уйти в земство, – говорит Солженицын. Нет, выйти на некий универсальный путь мировой цивилизации, – говорят «мондиалисты», «атлантисты» и прочие оппоненты Солженицына то ли справа, то ли слева. У меня нет ответа на этот вопрос. Я при ЛЮБОМ повороте обречен быть русским. КАК действовать, это можно решить только практикой, методом проб и ошибок, или, как говорили в советские времена, методом тыка. И теперешние теоретики всех направлений теориями – только укрепляют свой дух, и есть нужда его укреплять, потому что на самом-то деле тычемся.

Тычемся – в живое. И притом спорим, куда упираться и что переворачивать. Знай, успевай каяться.

«И если мы теперь жаждем – а мы, проясняется, жаждем – перейти наконец в общество справедливое, честное, – то каким же иным путем, как не избавясь от груза нашего прошлого, и ТОЛЬКО путем раскаяния, ибо виновны все и замараны все?»

О раскаянии. Коллективное раскаяние – тот же армейский марш-бросок, хотя и по новым ориентирам. Замараны, разумеется, все и виновны тоже все. Кто ж Богу не грешен, царю не виноват? Если уж ВСЕ, то уж не ниже, как Богу. Или, на крайний случай, царю как Его помазаннику. «Все» – это перед «небесами». Вот там и будут судить. И карать. Если же спуститься с небес на землю, то все хоть и виновны, и замараны, а – по-разному. И каяться лучше не всем миром, не скопом, не стадом и не марш-броском по команде – а лично. По интимному, глубоко-внутреннему импульсу.

Юридическое наказание, как и признание, – это другая реальность. Очень хитроумная. То есть не найдешь концов: как она, эта юридическая ответственность, виновного и замаранного должна настичь. Я помню, когда пришли из лагерей первые реабилитированные, мы, тогдашние «шестидесятники», по младости тем террором не задетые, кинулись к страдальцам с сочувствием, а от них – громом поражающим – ярость реванша: «НЕ ТЕХ покарали! Надо было НЕ НАС, надо было – КОГО СЛЕДУЕТ!» Да ведь в семь слоев вбивая в лагерную мерзлоту бесконечных врагов, ИЗ СЕБЯ ЖЕ делаемых, – в семь слоев карали тех, кто за мгновение до того – сам карал в полной уверенности, что наводит СПРАВЕДЛИВОСТЬ. Один грустный человек как бы «со стороны» обронил тогда фразу, которую я и вынес из тех яростных встреч «эпохи XX съезда партии»:

– Они все получили свое... но по другому кодексу.

Кодексов сколько угодно. Но что все получают свое – это я усвоил. По злобе и кара. Вот пусть о СВОЕЙ злобе каждый сам и задумается. Не уповая на коллективное раскаяние, которое нас «всех» – очистит.

Не очистит.

Как заметил Тейяр, чистая совесть – по определению невозможна.

И как написано у замечательной поэтессы Людмилы Титовой:

Что ж мы будем сегодня раскапывать,
Утопая в кровавой росе,
Кто какую закапывал заповедь,
Если разом нарушены все?
Нет концов – и спрашивать нечего,
Из могильных глубин – стон и гул.
Молча два поколения ответчиков
Свой печальный несут караул.

Но возвращаюсь к мысли Солженицына.

Итак, мы жаждем, **НАКОНЕЦ**, перейти в общество справедливое и честное.

Интересно: когда, кто, где жаждал перейти – в нечестное и несправедливое? Да прямой вор, таща кусок срезанного со столба провода, и тот скажет, что он поступает по справедливости, потому что на столбе – «ничье», а у соседа есть, и вообще почему он – «вор»? **ВОР** возможен там, где есть **СОБСТВЕННИК**, у которого крадет вор, а если мы отменили собственность ради единства, то тем самым мы и понятие воровства отменили, что и скажет вам от чистого сердца и вполне по чистой совести всякий пойманный у нас на Руси.

Так не «справедливое, честное» мы теперь общество выбираем. А выбираем мы – путь спасения. Спасти хотим.

«...Избавясь от груза нашего прошлого».

А вот это уже – от паники. Все бросить – вдруг взлетим? Груз за борт – вдруг не разобьемся?

Наше «прошлое» это мы и есть. Это наша память, наше имя, наше самосознание. Как это бросишь? Что от тебя останется?

Стерпеть прошлое – да. Только стерпеть – потому что оно, прошлое, страшно. Но кто сказал, что будущее будет лучше? Не о том речь, чтобы в рай попасть, а о том, как неизбежный ад вынести.

Когда ад становится адом? Когда его так **НАЗЫВАЮТ**. Когда им – **ЦЕЛЬ** замещают.

«Главной целью коллективизации было – сломить душу и древнюю веру народа».

Нет, я думаю, что главной целью коллективизации было другое. Миллионную армию создать. Миллионную армию – накормить. То есть: из деревни вытащить все молодое, сильное – и под ружье. А оставшееся там – по тому самому остаточному принципу – старое да слабое – должно было кормить этих – из последнего. Всю махину кормить, изготовившуюся к мировой войне. Надрываясь за колхозные «палочки». Кто уклонялся – к стенке. Или в Сибирь. Станичника так станичника. Мужика так мужика. Из всей этой пестроты делали безжалостную армию. Скифский вариант, жуткий, кровавый, страшный. Так война ж была неизбежностью!

Почему?

К Господу Богу вопрос. Я – не знаю. Да сам Бердяев не знал ответа. Писал: Господь Бог с болью и любовью смотрит, как его любимые дети: немцы и русские – убивают друг друга.

Невыносимо! Но не подменяйте Руки Вседержителя руками его «любимых детей», которые хотели «сломить душу и древнюю веру народа».

Древняя вера – это что? Христианство? Или еще древнее: язычество? Так большевизм – это и есть апелляция к дохристианским диким инстинктам борьбы, отрицание христианского всепрощения.

Не «сломить душу» хотели большевики – укрепить душу хотели. До стальной твердости.

Правы они были или нет – этот вопрос не решить, пока не решен другой главный вопрос: должны ли были русские погибнуть как народ в двух мировых войнах двадцатого века или должны были отбиться?

Что бесспорно – так это безмерная наша, смертная усталость от этой Истории.

«Мы – устали от этих всемирных, нам не нужных задач!»

Эмоционально – абсолютно прав Солженицын. Но логически подобную формулу можно воспринять лишь при условии, что «мы» – это что-то отдельное, существующее до и независимо от «задач».

Переводя разговор в национальную плоскость: существует, стало быть, некоторый феномен, называемый «русские», и вот эти русские берут на себя некоторые «всемирные задачи», которые оказываются непосильными и, в конце концов, ненужными.

Все концепции «русификации», «имперского насилия» и «диктата центра» строятся на этом изначальном убеждении: русские **ПРИШЛИ** и сделали то-то и то-то. Империю, тоталитаризм, социализм, Третий Рим, Третий Интернационал и т. д.

После работ Ульянова и Гумилева... прошу учесть, что речь идет не о «том» Гумилеве, который был застрелен при «том» Ульянове, а о сыне расстрелянного, Льве Гумилеве, и о Николае Ульянове, историке, никакого отношения к Ульянову-Ленину не имеющем, кроме того, что он сбежал из основанного Лениным государства... Так вот: из работ этих историков видно, что никаких «чистых» русских, «прарусских», «изначально-русских» и «собственно русских» не было, а русские как народность и как нация сложились В РЕЗУЛЬТАТЕ тех «всемирных задач», которые в этом евразийском пространстве пали на южных и восточных славян, на угров и тюрок, – это если говорить об основных «племенах», а ведь обрусевало всякое племя, попадавшее в этот круговорот, и огромное количество пришельцев, кончая евреями, которые, по остроумному выражению современного публициста, отлакировали этот сплав.

То есть: СНАЧАЛА «идея» – потом «Россия».

Идея – «имперская», то есть: в этом безграничном Поле рано или поздно ДОЛЖНА появиться объединяющая сила. Как только в XIII веке подпор человеческих массивов оказался достаточен для преодоления этой незаселенной пустоты, – сквозь Азию и Европу ударила сплавляющая молния монгольского нашествия и оставила после себя – номинально – единое государство (ярлык – ясаk, система выплат и откупаемых прав), реально же – единую ямскую службу: цепочку связи в безбрежности.

И эту спроектированную в XIII веке «контурную карту» наследуют все последующие претенденты на «господство»: литовцы и поляки, немцы и французы, – не претендуя даже изменить место стяжения этих сил – столицу, выросшую на ничтожном Кучковом поле.

И те, кому удавалось здесь закрепиться, называли себя «русскими», включая выходцев из «Руси Казанской» и «Руси Литовской», а также владельцев «Руси Московской», у которых в жилах византийская кровь перемешалась с монгольской.

Дело не в крови, конечно. Дело в исторической закономерности, в скрещении путей, в наличии «жил», по которым неизбежно должна пойти чья-то кровь.

«Может быть, как никакая страна в мире, наша родина после столетий ложного направления своего могущества (и в петербургский и в советский периоды), стянувши столько ненужного внешнего и так много погубивши в себе самой, теперь, пока не окончательно упущено, нуждается во всестороннем ВНУТРЕННЕМ развитии: и духовно, и как следствие – географически, экономически и социально».

Это – синдром усталости. Это – реальная историческая усталость русских. Столетия борьбы кажутся напрасными, ложными. Имперский народ ищет себя заново – как народ локальный, местный, национальный, тутошний. Мировая отзывчивость иссякает. Тяжко быть русскими? Станем великороссами. Стали же когда-то римляне – итальянцами. Тоже, между прочим, тяжкий процесс, долгий и плохо предсказуемый. Это мучительно – перемена миссии. Даже сдвиг столицы в новое место – опасная хирургия. Не потому ли, кстати, так не любит Солженицын петербургской России, что это связано с капитальным сдвигом всей системы – на северо-запад?

Но ведь он и советский период не любит?

Да, потому что это еще один болезненный сдвиг: обратно на юго-восток. Гуляет «империя» туда-сюда: опасно, рискованно, и великий писатель, помимо всяких математических доводов и харизматических призывов, интуитивно эту опасность чувствует.

Ну а если по его призыву пойдём на северо-восток – НОВУЮ Россию строить РЯДОМ с нынешней?

Одна надежда – что сил не найдем с места еще раз двинуться из дома. Разве что под конвоем. Под чьим?

Впрочем, он и сам не хочет.

«Как семья, в которой произошло большое несчастье или позор, старается на некоторое время уединиться ото всех и переработать свое горе в себе, так надо и русскому народу:

побыть в основном наедине с собою, без соседей и гостей. Сосредоточиться на задачах внутренних: на лечении души, на воспитании детей, на устройстве собственного дома».

Кабы еще дом не был открыт всем поветриям. А то на юру стоим.

Дадут ли нам – уединиться? Оставят ли – наедине с собою? Да и мы – сможем ли одни? Русский человек, во все хрестоматии мира вошедший как образец общительности и всепонимания (оборотная сторона медали: гений обезьяньего подражания), – сумеет ли сам-то прожить «без соседей и гостей»? Любую «имперскую концепцию», вылезшую на кончик пера какого-нибудь идеолога, можно опровергнуть с кончика другого пера, но ведь не концепциями умников все это тысячу лет держится, а подпором снизу: тем, что «русское» изначально рождено на «Млечном пути» и тем же млеко вскармлено. Принять на себя крест Третьего Рима, несколько столетий волочить его, проклиная, создать культуру мирового уровня и звучания, костеря элиту, которую для этого пришлось кормить, – и, вложив в дело столько любви и ненависти, – бросить все это и успокоиться в качестве «этнографической единицы», которая сама себе равна, и только! – и вы думаете, что миллионы русских так легко дадутся на эту лоботомию?

Эти дадутся – другие на их место мгновенно явятся.

Место такое. Набегут.

«Надо перестать выбегать на улицу на всякую драку, но целомудренно уйти в дом, пока мы в таком беспорядке и потерянности».

А и выбегать не надо – в твой собственный дом вбегут. Сталин все собирался выбежать, да не успел – и бежал потом в обратном направлении, до Волги. Ах, если бы все было так целомудренно между «домами» на «улице», называемой Историей, а то ведь то оттуда сюда бегут (набег), то отсюда туда (ограниченный контингент федеральных сил для восстановления конституционного порядка и законности). И что самое подлое: и с той, и с этой стороны – предельно близкие друг другу люди действуют. Ну, просто из одной курсантской роты вышедшие.

Так чего набегают друг на друга? Какая «рука» их дергает? И по какой шкале отсчитывать тут грехи для будущих каяний?

Не беру уж нынешнее чеченское обоюдное остервенение, – о вот «Афган», горькая точка слома от мира к войне в 1980 году. Оно, конечно, черт понес, полезли не в свой огород, оккупанты и т. д. Это – в масштабе «ситуации». А если – глянуть вперед, «через столетие»? Напор Юга, изнеможение Севера. Геополитический фронт гнется. И тогда «афганская авантюра» предстает в другом свете: как попытка упредить. Слабая попытка, неудачная. И мальчишки наши, на костылях вернувшиеся оттуда, покалечившие души и тела «ни за что», предстанут героями, которые первыми вызвали на себя удар.

Кто утолит нынешнюю безысходную печаль о них? Кто все это взвесит? Не мы, наверное. Но та самая Рука, которая бросает нам жребий.

И мы ее, естественно, не успеваем разглядеть.

Попробуем разглядеть хоть ярлык, нам спущенный.

«Суть коммунизма – совершенно за пределами человеческого понимания. По-настоящему нельзя поверить, чтобы люди так задумали – и так делают».

Однако задумали. Делают. И хотя суть «за пределами», – на семистах страницах первого тома своей «Публицистики» Солженицын эту суть десятки раз пытается определить.

Вот определения. Коммунизм – это то, против чего в России с 1917 года объединились все: «от кадетов до правых социалистов». Все против него объединились – а он шагает – «через горные хребты и океаны, с каждым ступом раздавливает новые народы, скоро придут и все человечество». Зачем? «Спросите раковую опухоль – зачем она растет? Она просто не может иначе». «Это – как инфекция в мировом организме». Это – «тотальная враждебность всему человечеству...» Без лучших или худших «вариантов». Это – «мировое зло, ненавистное к человечеству». Это то, что хочет «захватить всю планету, в том числе и Америку».

Да что же это, что?

Да вот то, что шагает, давит, растет, захватывает. Перемахивает хребты. Топит баржи с пленными на Волге в 1919 году, расстреливает крымских жителей через одного в 1920-м.

Тут уже что-то более конкретное. **ВОЕННЫЙ КОММУНИЗМ**. Он-то, как правило, и представляет у Солженицына за коммунизм вообще. Улавливается даже какое-то торжество, когда в расплывчатом «запредельном» слове он засекает, наконец, некий контур и почти с облегчением указывает на изобретателя раковой опухоли человечества: это Ленин! «*Это он*» обманул крестьян с землей. «*Это он*» создал ЧК. «*Это он*» придумал концлагеря и послал войска собрать империю. Баржи с пленными топил, естественно, тоже он.

Хорошо, военный коммунизм – историческая реальность: порождение и продолжение мировой войны, точно так же, как сталинская казарма – подготовка к мировой войне, и брежневская – тоже. Но коммунизм, коммунизм – разве с мировой войны начинается? Призрак по Европе бродил – когда? А до того – был коммунизм или его не было?

Я отвлекусь немного от «Публицистики» А.Солженицына и брошу взгляд на теперешнюю «постсоветскую» реальность. Советской власти нет, диктата партии нет, оболванивающей пропаганды нет, напротив, есть яростное втоптывание в грязь всего того, что напоминает о коммунизме.

И коммунисты на всероссийских выборах в Думу собирают в этих условиях **БОЛЬШЕ ВСЕХ** голосов.

Спрашивается: за что люди проголосовали? За возврат к казарме? Нет, к казарме (если, конечно, не война) никакой Зюганов страну не возвратит. Да он и не соберется: по трезвому разуму он, похоже, хочет нормальной социал-демократии.

Впрочем, народ в эти социальные и демократические тонкости, наверное, не очень вникает.

Так что же, народ... за **СЛОВО** голосует?

Да! За слово! За слово «коммунизм», которое стало духовным символом, определило жизнь и смерть нескольких поколений. Вы можете сколько угодно доказывать, что слово ничего не значит, что оно нерусское, нехорошее и непонятное, то есть «за пределами понимания». Но оно **УЖЕ СТАЛО** символом народной веры, и это не повернуть. Отказ от слова делает человека в глазах людей – предателем. Именно оскорбленность тем, с какой легкостью вчерашние «коммунисты» принялись втоптывать это слово в грязь, заставляет людей голосовать – за «слово». И Зюганов, имеющий мужество за «слово» держаться, становится избранником, хотя он мало похож на коммунистического вождя, да и вообще на вождя в старом понимании.

Речь не о «программе». Как только из среды коммунистов вычленяется фракция с более или менее конкретными программами (например, восстановление СССР), – эти фракции не собирают и жалких пяти процентов. **СЛОВО** «коммунизм» – собирает миллионы. И среди них отнюдь не только старики-пенсионеры. Это – душевный инстинкт, не знающий возрастных границ: не дать осквернить то самое «расплывчатое», находящееся «за пределами понимания» слово, с которым связалась народная идея, а лучше сказать, народная мечта.

Так что поэту Александру Межирову нечего стыдиться стихотворения «Коммунисты, вперед!». В свете нынешних событий (от которых автор стихов удрал аж в Америку), именно этим стихотворением он, наверное, и останется в истории русской культуры.

В своей ненависти к коммунизму советского, большевистского («большевицкого» – пишет он) образца Солженицын не учитывает «вечной» ипостаси «коммунизма».

В человеческой психологии есть некоторое «место», «ниша» для грезы о счастье и справедливости. Когда стараниями археологов истоки «коммунизма» от Мора, Кампанеллы и прочих приснопамятных предшественников Маркса отодвинулись аж к древним прахристианским общинам, – это было не более странно, чем то, что коммунистические учения в форме ересей зарождались, как правило, в религиозных кругах. Как и то, что «коммунизм» на площадке

малой общины всегда может осуществиться в какой-нибудь точке реальности, в секте, в семье, в киббуце. Как и то, что у русских с этим словом слилась вечная и неосуществимая греза о справедливости.

Опять-таки вы можете сказать, что это столько же – мечта об Опоньском царстве, или о скатерти-самобранке, или о печке для Емели, – но это все неважно. А важно, что коммунизм в русском сознании – стал-таки тем воображаемым, идеальным образом жизни, когда можно поступать «по душе», жить «по правде». А значит, и «законов не надо».

За это и умирали.

Все остальное: марксизм, большевизм, ленинизм, сталинизм – только формы того, как корежилась мечта, соприкасаясь с русской и иной реальностью. Можно Ленина схоронить, Сталина выкинуть из гроба, большевиков выковырять из Кремлевской стены, всю историю Советской власти объявить тупиком и ошибкой, можно Маркса опровергнуть по пунктам – народ все стерпит (ибо народ, в отличие от Солженицына, «Капитала» сроду не читал), а «коммунизм» останется – именно потому, что он – «за пределами понимания».

С социализмом несколько проще: социализм – это как раз попытка приложить коммунизм к масштабной реальности, и в тот момент, когда у Солженицына от имени коммунизма начинает выступать «социализм», – он очерчивается более или менее отчетливо. Это – тоталитарный строй. Всегда. Что в своей знаменитой работе и доказал академик Игорь Шафаревич, на которого как на своего друга Александр Исаевич неоднократно ссылается.

Не знаю, где тут уместится «коммунизм», но «социалистические СИСТЕМЫ» действительно составляют «самую «длительную часть предыдущей истории человечества». А социалистические УЧЕНИЯ, как выясняется, – не плод прогрессивной мысли от Маркса до Ленина, но – РЕАКЦИЯ.

«Реакция Платона на афинскую демократию, реакция гностиков на христианство, реакция: от динамичного мира индивидуальностей вернуться к безликим коснеющим системам древности».

Ну? И о чем же говорит эта бесконечная «реакция»? О том, что тоталитарное «мировое зло» шагает через границы эпох и стран? А может, все-таки о том, что в любой стране в любую эпоху любая система, будь то афинская демократия, христианство или индивидуализм, – таит свою мерзость и, стало быть, плодит своих могильщиков? Тогда почему там – «мировое добро», а тут – «мировое зло»? По-моему, и там, и тут свои бесы, то есть черти, там – клетчатые, тут – полосатые.

Клетчатых оставим в покое – посмотримся в полосатых: пока дядя Сэм в клетчатых брюках благодушествует за океаном, революционные бесы рвут на полосы российский триколор...

И никто не сопротивляется?

Никто. Царь и династия – *«покидают престол, даже не попытавшись бороться за Россию»*. Правительство – *«почти не борется за свое существование против подрывных действий»*. Армия, еще вполне боеспособная – безучастно наблюдает мгновенный и повсеместный успех революции. Все сверху донизу – либо хотят ее, либо согласны с ее неотвратимостью. Даже прямые монархисты – не поднимают меча в защиту трона. Даже царские администраторы, чья прямая обязанность – защищать систему, впадают словно в дремоту.

И это – дремота *«всего наследственного привилегированного класса дворянства»*, в роковой час отшатнувшегося от своей же власти.

Хороша же власть, хороша же система.

А крестьянство? То самое, ради унижения и уничтожения которого большевики поколение спустя придумали коллективизацию, – оно каково в 1917 году, то есть ДО унижения и уничтожения? *«Одна часть крестьянства спивается, другая разжигается несправедливой жаждой к дележу чужого имущества»*. То есть: грабить награбленное. А потом будут, стало быть, и сами так же точно ограблены.

А церковь, церковь, которая должна же хоть дух противопоставить всеобщей порче? А церковь – *«слаба, высмеяна обществом»*.

Я ни одного факта, ни одной оценки не беру «со стороны» только из собственного солженицынского же блестящего анализа, сделанного им для «Красного колеса».

Но тогда от имени Солженицына-художника, от имени Солженицына-историка хочу задать вопрос Солженицыну-публицисту: так что же, эта треклятая революция, принесшая на своем хвосте «коммунизм», какими-то особыми бесами к нам занесена? Какое-то абсолютное «Зло» прискакало к нам в Россию «через хребты и океаны»? Или это САМА РОССИЯ дошла до такого состояния в прежнем своем развитии, когда НИКТО не захотел либо не смог жить по-старому?

Первый том А.Солженицын венчает фундаментальной работой «Русский вопрос» к концу XX века», завершённой в Вермонте как раз перед возвращением в Россию. Это уже вам не отдельные «высказывания», это – концепция.

Концепция, кардинальная идея работы в общем виде: сейчас главное – сберечь русских как народ, прекратить растрату национальной энергии на пустые или чуждые задачи: «мировые», «европейские», «панславистские» и т. д. Вечно совалась Россия в чужие дела, втягивалась в посторонние интриги, из-за чего внутри себя никогда устроиться не могла. Пора сконцентрироваться.

Такая «доктрина Монро» на русский лад.

Отчего же, однако, вечная наша пагубная саморастрата?

Это и прослежено: от первых Романовых до последнего генсека, «самого неискреннего», искавшего «как сохранить... коммунизм», с «обычной большевицкой тупостью» гнавшего страну в гибельное «ускорение» и в результате «протоптавшегося, потерявшего семь лет».

Насчет Романовых оставим в конце концов историкам, а вот про генсека кое-что и сами помним. Неискренний? Да. Тупость? Нет, извините, что угодно, только не это. Чувал опасность, боялся развала, оттого и крутился, и хитрил, и топтался, и «лгал во спасение». За «ускорение» хватался? Лишь как за соломинку, нам привычную: и себя, и нас успокаивал. Семь лет оттягивал решение? Допустим, что это плохо. Ну, сменили нерешительного на решительного; тот рискнул: отпустил цены. И что же? Опять плохо! Кругом «зверское, преступное...»

Я повторяю: Солженицын – художник, он факты не излагает, а освещает: тут главное – аура текста. Аура такая: есть Россия, и есть бесконечная свора «правителей»: тупых, лживых, глупых, хитрых, подлых. Других не бывает.

Хочется спросить: они что, с Марса, что ли, на нас падают? Не сами ли мы «правителей» выдвигаем и терпим?

Нет, это «комиссары» у нас на шее. А мы? Тут возникает что-то благородно анархическое, и однако с пристальной, влюбленной ненавистью к «вождям», с проверяющим калькулятором на каждый их шаг. Упустила Елизавета Финляндию в 1743 году – зря упустила: надо было удержать! Шестьдесят лет спустя Александр I прихватил Финляндию – опять зря: нечего вешать груз на русские плечи! И так все: курочат большевики страну – подлецы; собирают страну – опять подлецы. Угробили миллионы людей ради химеры.

Простите: если коммунизм – химера, то сколько можно с химерой бороться? А что, идеей панславизма или православия черносотенного другие «правители» не прикрыли бы такой же террор, который есть продолжение мировой войны? Где гарантия, что противники большевиков, приди они к власти в 1917 году, угробили бы меньше, – когда вооружены были все и все рвались?

Да, плата за участие в мировой истории – смертельно велика. Ну, что, выйти из мировой истории? Как? Там же логика вакуума. Хотим мы этого или не хотим, нас ходом вещей «втягивает» в «европейские дела». А не втягивает нас, так «втягивает» других – против нас.

Автор «Русского вопроса» снимает шляпу перед нашими предками, что «в восьми изнурительных войнах лили кровь, пробиваясь к Черному морю». Интересно: а как бы они пробились, не «втягиваясь» в «европейские интриги»? Автор «Русского вопроса» трезво видит рубежи, замысленные для России «самой природой», и считает нормальным, что к концу XIX века Россия до этих рубежей дошла... А дошла бы – не «растрачивая» народные силы? Ведь нас иными силами сплющило бы (и плющит сейчас)? Автор «Русского вопроса» прогнозирует рост ислама: мусульманство в наступающем веке *«несомненно возьмет за амбициозные задачи – и неужели нам в это мешаться?»*

Да нас без спросу «в это» вмешают, вот в чем горе! А мы потом на «правителей» и навесим: зачем в «азиатские интриги» страну впутали, народ не сберегли?

«Правители», «правители»... За четыре века их сотни сменились, и одни только подлецы. Взгляда от них публицист оторвать не может. «Вожди» решают. А мы что же? А мы – пропадаем.

Ясный и точный перечень бед, от которых мы пропадаем, в «Русском вопросе» такой: воруяги воруют, мужики пьют, бабы не рожают. Я бы еще уточнил: что не рожают – не вся беда, а вот когда рожают и младенцев бросают, ладно еще на чужое крыльцо, а то и на помойку... сами же идут гулять дальше...

Ну, и что нам делать? Казалось бы: не воровать, не пить, детей – растить. Так ведь невозможно же! Почему? Что такое над нами тысячу лет висит: не можем никуда «на микроуровне» сдвинуться?

Рискну ответить: а то самое и висит. Это не мы ворует, пьем и безобразничаем, это нас «вожди» заставляют. А мы их за это ненавидим. Все – по той самой модели, которую со свойственной ему мощью и воссоздал Александр Солженицын, но не как вольный публицист, а скорее как невольный художник, среди идей и химер обрисовавший наш с вами психологический портрет.

Не дается нам по отношению к власти трезвая лояльность. Или «беззаветная преданность», или ее оборотная сторона – безграничная ненависть, которая подпирает русский бунт, «мимоходом» названный Пушкиным бессмысленным и беспощадным.

У Ричарда Пайпса тоже есть относительно русской истории концепция, и именно та, что старая Россия имела один вариант спасения: всеобщий сыск. Всю страну сцепить полицейски. Николай вроде бы и пытался, но, конечно, у него не хватало никаких сил. Единственный бы шанс появился, если бы самодержец пригласил в премьер-министры В.И.Ульянова-Ленина...

Не оценив юмора американского советолога, Солженицын возвращает ему его «концепцию» в таком виде: Пайпс полагает, *«что вся история России никогда не имела другого смысла, как создать полицейский строй».*

Я вам не скажу за всю Россию, вся Россия очень велика. И тем более за всю ее историю не скажу. Но как нам быть с Демократией, которая царил в России с февраля по октябрь 1917 года? *«Ибо мы не хотим повторения в России этого бушующего кабака, за 8 месяцев развалившего страну».* Мы – это А.Солженицын, так охарактеризовавший эту стадию, и я, его читатель, абсолютно с ним тут солидарный. Но как надо было пресечь «бушующий кабак»? Как остановить развал страны? Кто это мог сделать?

Пайпс полагает, что шанс навести порядок, опираясь на народные массы, имели две силы: черносотенцы и большевики. Или – «Союз русского народа», или – союз крайне левых, сплотившихся вокруг Ленина.

Солженицын первый Союз в расчет брать отказывается: там *«все дуто, ничего не существовало».*

Правильно! ОКАЗАЛОСЬ – дуто. Потому что из двух возможных путей общество выбрало – революцию. Выбрало потому, что так решила – интеллигенция. И решила пра-

вильно. И создала, вернее, помогла оформить в лозунги и учения то всеобщее ожидание очистительной грозы, которым были охвачены все.

Тогда и возникло то магнетическое пространство, то пронизывающее влияние, то всеобщее гипнотическое состояние, которое Солженицын называет Поле. *«Мощным либерально-радикальным (и даже социалистическим) Поле»*, которое сгушалось много лет и десятилетий, задолго до того, как призрак коммунизма принялся бродить по Европе, и тем более до того, как он стал перемахивать хребты и океаны.

Чем же это Поле губительно? Тем, что оно – безбожно. *«Люди забыли Бога, и оттого все»*. Это для Солженицына – последняя точка в портрете эпохи и решающий ее порок.

Если привередничать в формулировках, то надо бы все-таки различить Бога и попа. То есть религию как ощущение всеобщей связи и Церковь как общественный институт, эту связь выстраивающий. Ненависть была не к Богу – ненависть была к попам и церкви. Но у идеологов – и к Богу, конечно. Так что Солженицын правильно пишет:

«В философской системе и в психологическом стержне Маркса и Ленина ненависть к Богу – главный движущий импульс».

И еще более прав он в следующей характеристике коммунистической идеологии:

«Вместо религии она предложила саму себя».

Так! Потому она и стала «вместо религии», потому и оказалась непреодолима для рациональных доводов. Или, как русские философы ее определили: «религия с отрицательным Богом». Там все и наложилось, слилось, спаялось: «вековая мечта человечества», «Опоясское царство», «печка для Емели», «щучье веление – мое хотение», «всемирный учет и контроль» (осуществленный, наконец, В.Ульяновым-Лениным почти по «программе» Пайпса), «всеобщая воинская повинность» (исламский элемент в системе) и: «совесть наша принадлежит партии» (тоже, между прочим, исламский элемент: вера определяет не только душевную, но и всю повседневную жизнь). Так или иначе, выплавилась в России религиозная (но – антицерковная) система, которая захватила и народную душу, и народную жизнь.

А что на «кончике пики» повисло странное словцо «коммунизм» – так это уж историческая деталь. Вокруг слова или вокруг имени тогда только и собирается энергия, когда есть... Поле. Вокруг «Будды» или «Авраама», «Мохаммеда» или «Христа». А то и вокруг «Михаила Архангела». Или вокруг «Маркса».

А потом выезжает в Поле – Всадник. «Национальная лошадь» – «коммунистический седок». И даже так: «убийца оседлал полуубитого». То есть коммунизм оседлал Россию. И разъезжает.

Сидит писатель Солженицын в Вермонте на зеленой горе и пишет, обращаясь к американцам через журнал «Foreign Affairs»:

«Коммунизма нельзя остановить никакими уловками детанта, никакими переговорами – его может остановить только внешняя сила или развал изнутри».

Это что, подсказка? И удачная? «Военную силу» американцы применять не стали, не такие они дураки, как Гитлер, а насчет «развала изнутри», кажется, дело удалось, и Россия, без всякой горячей войны с Западом, проиграла и отдала столько, сколько и в войнах не теряла.

Ты ЭТОГО хотел, Жорж Дандэн?

Нет, разумеется, не этого. Александр Исаевич Солженицын хотел другого. Он вовсе не звал американцев на нашу голову (волка – на собак). Он только хотел добра России – так, как он это добро и эту Россию понимает. Он хотел освободить Россию от коммунизма так, как освобождают лошадь от всадника.

А если это не Всадник? Если это – Кентавр?

Конечно, Кентавр – странное существо, трудно объяснимое по законам науки, а уж когда оно скачет по историческому Полю – к Дарвину апеллировать бессмысленно.

Только к Богу: почему? почему? почему? почему?

«Почему люди, придавленные к самому дну рабства, находят в себе силу подниматься и освободиться – сперва духом, потом и телом? А люди, беспрепятственно реюющие на вершинах свободы, вдруг теряют вкус ее, волю ее защищать и в роковой потерянности начинают почти жаждать рабства? Или: почему общества, кого полувеками одурманивают принудительной ложью, находят в себе сердечное и душевное зрение увидеть истинную расстановку предметов и смысл событий? А общества, кому открыты все виды информации, вдруг впадают в летаргическое массовое ослепление, в добровольный самообман?»

Вопросы – явно ко Всевышнему, хотя обращены вроде бы к слушателям английского радио. Отвечать на такие вопросы не полагается. Но я попробую – на все четыре «почему».

Потому что люди, «придавленные к самому дну рабства», не внешней силой к тому придавлены, а прежде – своим же внутренним решением, пусть и вынужденным, своей готовностью стерпеть внешнюю гнущую силу.

Потому что никаких «реюющих вершин свободы» нет, а есть моменты в жизни, когда человек чувствует освобождение, но за освобождение он все равно расплачивается, не тотчас, так позже, а расплата за свободу или «защита» свободы есть уже несвобода.

Потому что в обществе никто никого не может одурманить принудительной ложью, если к такой лжи это общество не предрасположено; одурманивают-то – такие же люди, тем же обществом порожденные.

Потому что «все виды информации» – это в той же мере все виды дезинформации, ложной информации или просто лишней информации, которой люди, по верному соображению того же Солженицына, имеют право не знать.

А те, кто им наталкивает эту информацию в глаза и уши («открывают им глаза», или, как Бабель от имени большевиков доформулировал: «врезают веки») – так эти информаторы такие же насильники, и от них впору спасаться, впадая в летаргическое оцепенение.

Для математической модели это, конечно, хорошо: есть РАБЫ и есть СВОБОДНЫЕ. Или так: есть общества РАБСКИЕ и есть – СВОБОДНЫЕ. Это хорошо для модели. В жизни все мутнее. Нет никакой свободы в чистом виде, как нет и несвободы «вообще»; это все выбор личности, отношение личности. Как только на тебя падает явная несвобода, ты начинаешь искать тайную свободу и даже обнаруживаешь вокруг себя замечательные «характеры», при явной несвободе выработанные. Но как только несвобода исчезает (стена падает), ты мгновенно должен заполнять разверзшуюся пустоту... чем? А уж чем сможешь. Например, «гражданскими правами» бандитов.

И общества делить на два класса – слишком простое уравнение. Демократия? Но «в Америке ли, Швейцарии или Франции – все приноровлено к ДАННОЙ стране». И среди «рабских» обществ будут совершенно несравнимые. А когда из «свободных», по слабости их, являются «рабские», то одно «рабство» требует себе Муссолини, подражающего римским цезарям, другое – Гитлера, словно вышедшего из дикого Тевтобургского леса, а третье – Франко, который отсиживается за Пиренеями всю мировую войну. Где тут свобода, где несвобода, где какая их доля? От чего это зависит?

От чего зависит – вопрос, конечно, главный. Почему зловещая «трещина» – «впад в бездну» – зазяла в 1917 году именно в России? Неслучайно же! А между тем:

«Эта трещина... была самым последовательным проявлением учений, веками блуждавших по Европе с немалым успехом...»

Ничего себе: такой успех, и по всей Европе, и веками? Это уж, скорее, не между «рабами» и «свободными» грань, а – нечто, надо всеми повисшее. И даже:

«В этой трещине... нечто космическое...»

Ну, так и есть: Руки Творца.

А интересно бы все-таки разглядеть: та трещина, что «легла» в 1941 году, сравнительно с той, что «легла» в 1917-м, – это ТА ЖЕ САМАЯ, или это другая трещина, лишь совпавшая фатально по месту и опять отделившая нас от Запада?

Вглядимся. По Солженицыну, в начале Великой Отечественной войны все было не так, как нам говорили сталинские пропагандисты, одурманивая нас ложью. Они все вдали.

«А было вот как. Прогремело 22 июня 1941 года, прослезил батюшка Сталин по радио свою потерянную речь, – а все взрослое трудящееся население (не молодежь, оболваненная марксизмом), и притом всех основных наций Советского Союза, задыхало в нетерпеливом ожидании: ну, пришел конец нашим паразитам! теперь-то вот скоро освободимся. Кончился проклятый коммунизм! Литва, Латвия, Эстония встречали немцев ликованием. Белоруссия, Западная Украина, потом первые русские области встречали немцев ликованием. Но нагляднее всех показала настроение народа Красная армия: на виду у всего мира, на фронте в 2000 километров шириной, она откатывалась – хотя пешком, но с автомобильной скоростью. Ничего нельзя придумать убедительнее этого голосования ногами – одних мужчин расцветного боевого возраста. Все численное превосходство было на стороне Красной армии, превосходная артиллерия, немало танков, – но армия откатывалась неудобляемо, невиданно для всей русской и всей мировой истории. За короткие первые месяцы в плен сдались около 3 миллионов солдат и офицеров!»

Психологически мне трудно решиться на комментарий к этой картине. Так и ждешь контраргумента: «Попал бы ты туда!» Он «туда» попал, а я не попал, как я могу судить? Я только помню, как «туда» уходил мой отец. Но и сам, семилетний, кое-что впитал из впечатлений 22 июня 1941 года – всю жизнь вспоминаю тот день. Так что попробую все-таки.

Прежде всего, почему нужно из состава «подсоветских народов» исключать «молодежь, оболваненную марксизмом»? Эта молодежь – лучшее, что народы отдали стране, и именно она, молодежь, составила костяк армии, и полегла она первая, и по ее костям прошли потом на запад победители. Эти молодые люди, «лобастые мальчишки невиданной революции», были тем, что Россия пожертвовала Молоху войны, чем оплатила свое спасение. Замечательное поколение. Молоденький ростовчанин, Сталинский стипендиат, замысливший написать роман под девизом «Люби Революцию», он что, тоже был оболванен марксизмом? Я все-таки думаю, что он через марксизм искал путь к истине. Почему он и другая «молодежь» исключаются из «трудящегося населения»?

Насчет «ликования» прибалтов и украинцев при появлении немцев – тоже сложный вопрос. Во всяком случае, если исходить из того, что об этом написано в литературе – теми же прибалтами и украинцами. Не ликование было, а нервное выжидание. «Под Гитлера» тоже ведь не хотелось, а «под себя» – в ситуации, когда сходились, сближались, сшибались две мировые, «интернациональные» армии, – в стороне остаться не получалось. Перечитайте Авижюса. Или Кросса.

Но вот, наконец, русские. Бегство – «с автомобильной скоростью». И – три миллиона сдавшихся в плен – это при численном и артиллерийском превосходстве. «Голосование ногами».

Хочется спросить автора этой художественной зарисовки: а КУДА бегут миллионы с автомобильной скоростью? Вроде бы, чтобы сдать, надо им бежать на запад, навстречу освободителям. А они, кажется, все-таки бегут у Солженицына на восток. В ГУЛАГ, что ли?

А может, в реальности они вовсе и не собирались бежать сдаваться, а пытались воевать? Двадцать миллионов погибших – что же, просто стояли и ждали, пока Гитлер их покосит? Или все-таки лезли, перли по костям погибших, и дрались насмерть, и двадцатью миллионами тел – завалили-таки «освободителей»?

И то, что «мы заранее не знали, что за птица Гитлер», – неправда. Знали. Целое поколение, «оболваненное марксизмом», было воспитано в уверенности, что фашизм – чума и ничего

больше. И Пакт 1939 года мало кто принял всерьез. Так и говорили: «заклятые друзья», «задушевные друзья» (от слова «задушить»). Знали, что большая война близко. А все эти пакты – не более, чем подлов противника.

Да, Гитлер Сталина подловил. И Запад Сталина подловил, «ЗАГОРОДИВШИСЬ от Гитлера «несчастливыми народами СССР». И Трумэн проболтался тогда же: пусть они убивают друг друга как можно больше. И Сталин того же хотел: чтобы западные демократии воевали против Гитлера СОБСТВЕННЫМИ СИЛАМИ. Тоже «загородиться» старался. Не вышло.

Чего же на Советскую власть-то бочку катить, когда ЛЮБАЯ власть так же делала? Война есть война.

Начиналась – там – «мировая», а вышла – у нас – Отечественная. А раз Отечественная, то уже не так важно, под какими знаменами пришли нас гробить «освободители»: под «национальными», под «социалистическими» или под «национал-социалистическими». Война-то и слила, наконец, воедино «русское» и «советское». Некоторые умные люди (например, Леонид Леонов) поняли это еще и раньше Сталина. Сталин понял это с началом войны. И народ понял.

Иначе – как бы это, интересно, в блокадном городе люди «безропотно согласились бы жить – не одну неделю, но год – на треть фунта хлеба в день», и никакая «революция в их душах не шевельнулась». Солженицын объясняет: теперь-то мы знаем, как это бывает: или *«поддерживается национальный подъем, или чекистский террор, или и то и другое вместе»*.

Да, именно. И то и другое вместе. «Чекистский террор», который сливается с «национальным подъемом». То есть Сталин из меньшего зла (сравнительно с Гитлером) становится олицетворением Сопротивления и знаменем Победы. И чекист идет умирать весте со своим подследственным. И генерал из застенков уходит командовать армией и становится Героем Советского Союза.

Фантастика? Разумеется. Человеческая история вообще – фантастика.

Читатель видит, что я стараюсь поменьше выходить за пределы тех фактов, которые Солженицын сам же и приводит, сам же и признает. Как страстный художник и пристрастный историк, он старается понять, вместить трагедию. В том же томе его «публицистики» заключительные главы, предназначавшиеся для одного из узлов «Красного колеса», – насколько же они чище и выше остального текста – статей, интервью и выступлений: точностью эмоциональных реакций, горькой верностью правде. Но в Солженицыне-публицисте словно бы сидит «математик» и все никак не сведет счеты: раз Сталин коммунист, уничтоживший все русское, то как же он может оказаться вождем русского народа!?

Да вот так и может. По принципу: замахнувшись, не оглядываются.

А «третий путь» – был? То есть: использовать Гитлера ради освобождения от Сталина. И получить нечто «русское», свободное и от коммунизма, и от фашизма. Тогда – в разгар войны.

Были такие люди: пытались. И даже армию составили: Русскую, Освободительную. Что получили? Тупик в оба конца. Их, власовцев, до сборных пунктов наши солдаты не доводили – по дороге убивали. Их население самосудом судило, никаких чекистов не требовалось. Или, думаете, эти самые «чекисты» рискнули бы вешать полицаяв на площадях публично (а не дырывать, как полагалось, втихую в подвалах НКВД), если бы «под-советские народы» (украинцы, белорусы) не видели бы в этих «жертвах сталинизма» прежде всего – предателей общесоветского, общенародного, общерусского дела? Читайте белорусов: Козько, Адамовича.

Разумеется, в погонах Генералиссимуса Генсек ВКП(б) не делается ни лучше, ни человечнее. Самый крутой изверг именно и становится самым крутым военачальником. Войны вообще приятными людьми не выигрываются. И революции. Николай II, человек весьма приятный в личном общении, – тот и войну не выиграл, и просто «сдал» страну революционерам, не дожидаясь ультиматумов. Что Солженицын и показал с законной горечью. Да еще и приговаривал: ему бы, Николаю, пожестче быть, ему бы не жалеть и детей своих ради Державы.

Ну так дождались такого, который не жалел. Ни своих, ни чужих. С ним и выиграли войну – смертельную. Теперь говорим: ах, эти люди жестоки, тупы, тоталитарны. «Сталинские зомби».

Правильно. С другими лежали бы мы все во рву.

Проблема – «морально неразрешимая». То есть это проблема для великого художника. Вот и Гроссман над нею бился.

И Солженицын бьется. Как ХУДОЖНИК. Как ПУБЛИЦИСТ – логику ищет. Куда как лучше, если бы Россию, ставшую коммунистической, освободил бы кто-нибудь от «коммунизма», но не задел бы при этом «русских». А то получается: пошел Гитлер бить коммунистов, а оказалось, что это русские.

И еще *«оказалось... что с запада на нас катится другая такая же чума»*.

Слово «оказалось» – для логически мыслящего публициста, конечно, спасительно. Должно было выйти по логике: или «добро», или «зло», а «оказалось» – черт знает что.

Сергею Булгакову легче было: тот все-таки за чистую Россию молил, и Солженицын сочувственно его цитирует:

«За что и почему Россия отвержена Богом?.. Грехи наши тяжелы, но не так... Такой судьбы Россия не заслужила».

Россия... А СССР? А за СССР вот так же взмолился поэт в то самое роковое лето 1941 года:

Господи! Вступися за Советы,
Сохрани страну от высших рас,
Потому что все Твои заветы
Нарушает Гитлер чаще нас.

Николай Глазков... Для Солженицына такое невысказано. Для него Россия и СССР – рассечены. Или – или. Категорически императивное мышление. И никаких «плюрализмов».

Как в начале статьи «Наши плюралисты» сказано с раздражением, несколько неожиданным для кроткого христианина:

«Плюрализм» они считают как бы высшим достижением истории, высшим благом мысли и высшим качеством нынешней западной жизни. Принцип этот нередко формулируют: «как можно больше разных мнений», – и главное, чтобы никто серьезно не настаивал на истинности своего».

Про тех, кто ни своих, ни чужих мнений не берет всерьез, здесь говорить не стоит. Такие люди есть, и в их принципиальной терпимости смысл есть, и есть даже максима: «интеллигентный человек не настаивает».

Солженицын – из тех, кто настаивает. В данном случае на том, что «истина – одна» и не может ни двоиться, ни множиться. Так в «плюрализме» фокусируются важнейшие его антипатии, и я хочу вчитаться в ту отповедь, которую он ему дает:

«...Может ли плюрализм фигурировать отдельным принципом, и притом среди высших? Странно, чтобы простое множественное число возвысилось в такой сан. Плюрализм может быть лишь напоминанием о множестве форм, да, охотно признаем, – однако же цельного движения человечества? Во всех науках строгих, то есть опертых на математику, – ИСТИНА ОДНА, и этот всеобщий естественный порядок никого не оскорбляет. Если истина вдруг двоятся, как в некоторых областях новейшей физики, то это – оттоки одной реки, они друг друга лишь поддерживают и утверживают, так и понимается всеми. А множественность истин в общественных науках есть показатель нашего несовершенства, а вовсе не нашего избыточного богатства, – и зачем из этого несовершенства делать культ «плюрализма»? Однажды, в отклик на мою гарвардскую речь, было напечатано в «Вашингтон пост» такое письмо американца:

«Трудно поверить, чтобы разнообразие само по себе было высшей целью человечества. Уважение к разнообразию бессмысленно, если разнообразие не помогает нам достичь высшей цели».

Насчет американца. В его устах такое признание особенно интересно. Они же там, в Штатах, объявили, что высшая цель – «счастье»; Солженицын их изгвоздил за это, потому что наше нравственное совершенствование выше их «счастья».

Однако «высшая цель» в устах того американца – тоже загадка, особенно в переводе на язык наших осин. Тут все дело в том, от чего отсчет. Отсчитываешь от «многообразия форм» – упускаешь «высшую цель». Устремляешься к «высшей цели» – и тут «многообразие форм» так бьет тебя по затылку, что все «высшие цели» разом вылетают из головы. Мы это испытали. Только что.

«Истина – одна»? В принципе-то конечно. Но забитая в «принцип», истина тощает. В реальности истина бесконечна, то есть равна реальности и предстает в бесконечном множестве проблем, дилемм, дискурсов, ракурсов и прочих бифуркаций. Впрочем, плюрализм «множества миров» Солженицын признает и даже уточняет, что эти «миры» не обязаны повторять единую стандартную колодку Запада. Но как можно отрицать плюрализм «мыслящих личностей» перед лицом такого «множества миров»? Как же тогда личности с мирами справятся?

Тут еще вот что важно. Плюрализм в смысле разнообразия форм, красок, оттенков жизни – это, так сказать, плюрализм добра, и с ним более или менее ясно. Цветение форм, роскошь оттенков, опьянение избыточности и т. д. Но упущена тут куда более важная и драматичная сторона дела: плюрализм зла. То есть: выбор меньшего зла при смирении с тем, что выбираемое меньшее зло – все-таки зло. Помните, у Кестлера: Сталин – злодей, но менять Сталина на другого злодея еще дороже. Это – крайний, смертельный случай, до которого добряки и близко не доходят. А до той смертной черты – сколько «плюральных раздвоений», на которых душа буквально раздваивается?

Мир раскалывается, трещина идет через Россию. И вся наша история – не череда ли выживаний на границах эпох, цивилизаций, этнопотоков, систем, ареалов?

Мы должны просить себе другой судьбы? А те счастливые страны и народы, что не пали в «бездну», они что, в самом деле лучше нас? И их счастье нам сгодится?

Мучается этими вопросами великая душа, а математический разум тщетно силится измерить мучения и установить ту истину, которая – «одна». Бьется, бьется над государственными системами и национальными формами, столкнувшими Россию в бездну, – как бы напасти избежать, а потом вдруг «оказывается»:

«...И в этом падении мира в бездну есть черты несомненно глобальные, не зависящие ни от государственных политических систем, ни от уровня экономики и культуры, ни от национальных особенностей».

Уже легче. На миру и смерть красна. Однако если имеется истина, которая «одна», то где же спасение из «бездны»?

«Бесплодны попытки искать выход из сегодняшнего мирового положения, не возвратя наше сознание раскаянно к Создателю всего».

И тут я, потомственный нераскаянный атеист, всецело с автором «Красного колеса» согласен. И с его учителем Львом Толстым. Бога нет, но что-то есть... внутри нас, так?

«Опрометчивым упованиям двух последних веков, приведшим нас в ничтожество и на край ядерной и неядерной смерти, мы можем противопоставить только упорные поиски теплой Божьей руки...»

Да, да, конечно. Еще бы и разглядеть.

P.S. О Жонглере Господа.

Был циркач; у него умирала дочка; он молил Бога о ее спасении. Когда она все-таки выжила, он, не зная, как отблагодарить Всевышнего, встал перед иконой Богоматери и стал делать то, что умел лучше всего, – жонглировать. И Богородица заплакала.

Эта легенда – моя любимейшая. Хотел бы я удостоиться такой чести – быть Жонглером Господа. Да хоть бы и Шутом Господа.

А вот Мечом в руке Господа – нет.

Так что правы мои критики.

Русский мормониум

Русский перевод официального английского названия этой церкви в сокращении труднопроизносим: ЦИХСПД, в полном же виде трудноусвояем: Церковь Иисуса Христа Святых последних дней. То ли святые – последние, то ли дни – святые, то ли последние перед концом, то ли недавние, текущие, нынешние... Так что я лучше буду употреблять имя, приставшее к этой церкви по стечению художественных обстоятельств: мифического героя, воспринявшего, по легенде, Божий зов, звали Мормон.

Под этим именем в России впервые и услышали о диковинной... то ли секте, то ли касте – и так вошла она в русское сознание то ли с тяжелой руки британца сэра Артура Конан Дойла, то ли с легкой руки американца Марка Твена, и надо признать, откликнулась в нашей ономастике... хотя бы фамилией знаменитого кинорежиссера, укрывший отчее имя Мормоненко – за безлико-приличным: «Александров».

Мормоны – неотъемлемая частица нашего духовного космоса, – что и манифестировано в названии книги известного религиоведа Сергея Антоненко, жанр которой: «Опыт историко-культурного исследования», тема – «Мормоны в России», а сюжет – «Путь длиной в столетие».

В книге соединены жанры, казалось бы, не очень совместимые. Во-первых, рассказанная просто и увлекательно история, случившаяся в начале пути, – когда юнец из американского захолустья, не доучившийся в школе по причине необходимости вкалывать на родительской ферме, начал рассказывать ближним о своих видениях библейского толка и даже уверял, что знает о закопанных в землю «золотых пластинах» с новыми скрижалями. И доморощенному визионеру поверили!

В России в то время понемногу просыпались декабристы, через пару поколений они должны были разбудить Герцена, самому Герцену в эту пору сравнялось лет десять с небольшим...

Как в Америке осуществилась такая чудасия? Что «дремало» в жителях Иллинойса, когда фермеры и плотники поверили Джозефу Смиту и его вещим снам? Что накопилось в этих простецких головах, в крепких затылках, в железных ладонях – и ждало случая? Ведь не один *этом* Смит голосил о своих предчувствиях, еще один Смит – Этан опубликовал в 1827 году роман о «Коленах Израилевых в Америке» – видно, рассчитывал перековать души на библейский лад... Smith – кузнец по-английски.

Сергей Антоненко сопровождает эти увлекательные истории научным комментарием, он исследует источники – как зарубежные, где сплетни и домыслы перемешаны с фактами, переданными через третьи руки, так и российские, где авторы ловят эти сплетни и эти домыслы уже через четвертые-пятые руки. Докопавшись до первоисточников, Антоненко анализирует их с должным тщанием и – что важно – с доброжелательностью человека, понимающего сложность реальной ситуации.

Доводя свой анализ до самоновейших изысканий, проведенных нашими академическими мормоноведами, Сергей Антоненко со своим очерком и сам встает в этот уважаемый ряд.

Наконец, к очерку приложен свод текстов, на которые опирается исследователь, так что и читатель волен судить, насколько прав Антоненко, например, в интерпретации мормониады знаменитого в свою пору кочующего профреволюционера Артура Бенни, и насколько прав был наш Лесков, продвигая опусы этого честного иностранца под наши издательские осины.

Книга Антоненко – это и повесть об истории мормонов, и научный анализ феномена, и хрестоматия. Практически – это энциклопедия: своеобразный русский мормониум.

Если же от феноменологии углубляться в онтологию (а сверхзадача у Антоненко именно такова: понять бытийную философию мормонов, а не только своеобразие ее явленных форм),

то мы получаем реплику в драме современного русского самопознания. Что и делает книгу Антоненко интересной не только для историков и религиоведов, но для всех, кто задается сегодня очередным проклятым вопросом: что с нами происходит?

Но при чем тут мормоны? Сколько их, а сколько нас!

Их, судя по подсчетам Антоненко, в России порядка 15 тысяч. Что за мизер для такой махины, как Россия, даже и урезанной вдвое после отмены Советского Союза! О чем тут говорить!

Однако за вышеуказанными 15 тысячами стоят другие 15: именно столько миллионов насчитывает мормонское движение (назову его так) во всем мире, если ежегодный прирост в 3 миллиона, зафиксированный на рубеже тысячелетий, сохраняется, а это, кажется, так.

В связи с этим три «русских вопроса».

Первый. Какая чудодейственная сила за ничтожное в масштабах мировой истории время (175—180 лет) метнула в новое движение такое число людей?

Второй. Почему Россия не угодила в этот поток?

Третий. Почему теперь начинают в России к этому мормонскому мороку приглядываться и приноживаться?

Скажете: в революционную эпоху нам было не до видений Джозефа Смита, да и потом у нас был свой железный Джо. Так что мистеру Лайману, который в начале века приехал в Москву, пошел в Александровский сад, помолился там своему Богу и объявил Россию полем мормонской активности, – пришлось вскоре унести ноги. И лишь век спустя его преемник мистер Р.Нельсон повторил в том же саду аналогичную молитву. После чего процесс пошел.

Процесс интересен тем, что именно видит русская душа в мормонском чуде и как на него реагирует.

Видит она следующее.

Видение 1861 года: в эпоху лжи и разброда мошенник становится пророком, потому что проникается верой и при этом сохраняет черты современников.

Вроде бы это написал Артур Иванович Бенни, но прочел, одобрил и отредактировал Николай Семенович Лесков, а обнаружил в своем журнале Михаил Михайлович Достоевский, имевший в сотрудниках своего великого брата. Так что к вышеприведенному суждению вполне мог приложить руку и сам Федор Михайлович... во всяком случае, он, как резонно предполагает Сергей Антоненко, мыслил тему в этом же ключе.

Рискну предположить развитие темы в наши дни. Живем мы во время лжи и разброда, среди родных отпетых прохвостов и отпевающих нас неродных фарисеев. Вдруг на наших глазах какой-нибудь мошенник проникается верой в Россию, становится народным печальником и сохраняет при этом черты тех современников, от имени коих устремляется ими управлять.

«Пророк влезает на облучок...» – шутили наши пращурсы, пересказывая историю Джозефа Смита.

Перескажу ее так: пророк вылезает из «Мерса»... да хоть бы из заляпанной грязью родных дорог занюханной «семерки» – и, проникшись народными чаяниями, становится... олигархом... основателем новой партии... президентом компании... вождем движения... Подставьте любое, и да освятит нас всеблагой Мормон на этом пути.

Теперь взглянемся в лоно, из коего явилось движение мормонов.

Детище протестантизма? Это первое, что приходит в голову. Ибо родилось движение в среде, немыслимой вне духа американских колонистов, откупивших у индейцев остров Манахатта и переименовавших его в Манхэттен. В облике первых мормонов – черты первых колонистов: культ простого труда, бережливость, трезвость. Упор на верующего индивида. Отсутствие посредников между человеком и святыней. Чистый экстаз.

И при всем том мормоны с самого начала яростно отвергают свою связь с протестантизмом!

Чего-то им не хватило в жестком, рациональном инославии христианства.

Чего же? Может быть, тайны, мистической запредельности, загадочности чуда, эмоционального самозабвения?

А у нас? Что за лоно рождает сегодня напор ясновидцев, сомнамбулических и одержимых спасителей душ, растаскивающих на секты «низовые слои» современной России? Не компенсация ли это того рационального плановерия, того «научного коммунизма», который оседлал вольную русскую душу на весь XX век? Как не впасть в эмоциональное неистовство на волне такого освобождения! «Книга Мормона» нам в руки!

И в ней же – готовое противоядие: при полной мистической заморозенности души – абсолютное гражданское законопослушание! Для русских это почти квадратура круга. Мы-то к чему привыкли? Или церковь напрочь сливается с государством, совместно с ним паша стада рабов божьих, овец непротивления... или овцы оборачиваются козлищами, а то и волками, рабы бунтуют, и тогда Бога просто низвергают, топчут с хохотом... чтобы потом вновь ползти со свечками, упиваясь блаженной нищетой тела и духа.

Мормоны и нищета – несовместимы. Восторг труда, унаследованный от протестантов, не имеет ничего общего ни со смирением перед трудом как наказанием, тяглом, ношей, каковую люди волокут через свою тысячелетнюю историю, ни с тем геройством, которое подвигает тех же людей на сверхподвиги первых пятилеток и последних рубежей, на веру, что выпрыгивает народ из проклятой истории в поле чести и славы, где история (предыстория!) наконец-то кончается и наступает рай земной.

Такой рай мормонам знаком практически. Выдавленные прочими американцами с плодородных полей Иллинойса в солончаки Большого Озера и скалистое бесплодие Юты, – мормоны преобразили этот безжизненный край в жизненный рай для работающих людей. Культ физического труда (лесорубы, плотники, кузнецы, строители, землепашцы) и при этом – культ знаний (лучшие школы – тотчас, для детей первопроходцев, лучшие университеты Америки – уже при внуках!) – а мы только мечтали превратить пустыню в сад, а по ходу индустриализации и атомного перевооружения и сад превратили в свалку, периодически выкидывая на эту свалку всякую гниль вроде интеллигенции.

Даже и курьезами своими мормоны нас словно бы дразнят. Многоженством пресловутым. Инициацией мертвых. Вроде смеси игрища с кладбищем. Гаремный экстаз и совокупление теней. Когда Смита сменил Янг (Смита власти посадили в тюрьму, в камеру ворвались его преследователи и убили... превратили мечтателя в мученика), так вот, об этом Янге в России не столько знали как о гениальном администраторе, сколько считали, сколько у него десятков жен и сотен детей-внуков...

Сергей Антоненко уточняет: многоженство у мормонов было допущено ненадолго и никогда не навязывалось, а допущено было – потому, что вовсе не религиозную ересь и не новую религию мечтали создать мормоны, а мечтали они положить начало *новому народу*.

Мы, русские, в коммунистическом воодушевлении – разве не тщились создать именно *новый народ*? Все это кончилось в брежневскую эпоху торжественным провозглашением «новой исторической общности», которая через считанные годы развалилась под демократический хохот волонтеров сексуальной революции, при начале же оборачивалась простонародным глумом на ту же полигамную тему: «Жизнь привольная настала, нынче сделали колхоз: сорок метров одеяло – выбирай котору хошь!»

Мормоны, для которых Семья – изначальный, краеугольный камень жизнеустроения, такое и не выговорили бы.

Инициация усопших – тропа от того же камня. Обручение вдовы с умершим мужем... Для нас это чудачество, вровень с Федоровскими мечтаниями о воскрешении прежних поколений. Для мормонов – утверждение Семейного Предания в пределах и за пределами наличного бытия. У нас к Федоровской идее подступались с инженерными проектами (совершенно

фантастическими), у мормонов идею реализовали в сфере «чистой памяти». Генеалогические разыскания – открытие мормонов (нынешние потомки порвавших с проклятым прошлым коммунаров покаянно пишут «семейные хроники» и копаются в гербовых книгах царской эпохи, не подозревая, что идут по мормонской тропе).

В итоге портрет «типичного мормона», предстающий очам «типичного русского», являет собой, с одной стороны, полную несовместимость, а с другой – загадочную притягательность, как бывает притягательно зеркальное отражение, где все наоборот.

Для мормона высшая цель – облагородить сей мир, обустроить его на радость, освятить.

Для нашего соотечественника сей мир проклинаем, лежит во зле и пороке; не в силах его обустроить, дух отлетает в потустороннее, невоплотимое, несбыточное.

Для мормона саморазвитие индивида – естественное состояние духа, не противоречащее ни законопослушанию, ни корпоративности, ни патриотизму.

Для нашего соотчича личность есть ценность, либо открыто противостоящая общности, либо от общности укрываемая. Либо индивидуальность, либо соборность – середины нет. Мормонская середина для нас – некий оксюморон, в русском переводе это – «Самодержавие личности». Но у нас самодержавие – внешняя сила, пронзающая индивида (нанизывающая на стержень общего дела), личность же – либо оплот сопротивления, либо феномен героического самоистребления во имя того же дела.

Не поучиться ли нам у мормонов?

«Они не пьют, не курят, много времени посвящают спорту... ходят регулярно в церковь, понедельник обязательно проводят в кругу семьи. Они всегда гладко выбриты, аккуратно подстрижены, строго одеты... Что во всем этом плохого, понять трудно... Может, наша мысль и покажется кому-то кощунственной, но, честно говоря, мы не знаем, что лучше – исповедовать православные убеждения и при этом пить, воровать, драться или же верить в экзотические для россиян положения мормонов и при этом сохранять «образцово-показательный образ жизни», – цитирует Антоненко одного из современных наших мормоноведов Г.Еремеева, не без смущения присоединяясь к нему, и я не без такого же смущения присоединяюсь к Антоненко.

Смущение понятно: можно ли стать лучше, перестав быть самими собой?

Можно ли перенять мормонские добродетели, не уйдя вслед за ними с привычной почвы в какое-то фантастическое поле чудес?

Сами источники мормонской веры – если подвергать их строгому анализу – не что иное, как результат непредсказуемой вышивки по общеизвестной канве. Никто не может опровергнуть описанное в «Книге Мормона» продолжение событий Ветхого Завета на американском континенте за шесть веков до Христа, как никто не может опровергнуть события и самого Завета: здесь фантазия давно уже равна реальности. Никто не видел нефийцев и ламанийцев, но и филистимлян никто не видел. Никто не видел оригинала священной книги мормонов, никто не объяснил, откуда и как появился на свет этот текст. То ли это фантазия полузабытого романиста Спилсмана, ставшая объектом фантастических переделок, то ли фантазии людей, самые имена которых канули в святое забвение. Ясно одно: перед нами домысливание и переосмысление канона, его пресуществование в душах читателей и почитателей, его воздвигание заново.

У ученых это называется: «альтернативная история». У литераторов: «римейк».

Борхес опирается на Сервантеса, как Сервантес – на средневековые рыцарские романы, а на Борхеса – новейшие сочинители. Как опираются они на Толкиена, на Толстого... не говоря уже о древних мифах, в число каковых входят и оба Завета.

Все это – не что иное, как дотягивание наличного бытия до идеальной выразительности, то есть до сакральности, будь она религиозной или антирелигиозной, но непременно – духовно-практической. Это вышивка по вечной канве, а вышивать можно и суровой нитью, и золотом.

Никто не держал в руках золотые пластины, откопанные Джозефом Смитом в подземельях его фантазии, и никто не читал, что именно на них написано, но все почувствовали: *что-то такое должно быть*.

Почувствовали и в далекой от Америки России, где двести лет Новой истории философы и политики решали аналогичную бытийную проблему, наводя мосты между чаемым блаженством духа и неподдающейся реальностью.

Много вздорного написали в России о мормонах с чужих слов доверчивые журналисты, но настоящие философы, написавшие (или сказавшие) о них совсем немного, – сразу почуяли за фантастической феноменологией онтологическую бездну.

Если для Владимира Соловьева, стремившегося заполнить бездну между Богом и Миром, мормоны были именно практиками такого заполнения, только грубыми и варварски-простодушными, то Петр Лавров, куда более «грубый» мыслитель, чем Соловьев, чуть ли не позавидовал тому варварскому веселью, с каким мормоны заполнили брешь, провал, пропасть между худосочным просветительством и полнокровной народной жизнью.

Толстой же – одну только фразу обронил... Присматривался к мормонам как к возможным провозвестникам *американской* религии (если протестантизм возник в Северной Европе, то чем Северная Америка хуже?) – и ждал Толстой, не научат ли эти провозвестники людей не только вере небесной, но и тому, как жить на земле.

То есть: не заполнят ли ту самую пропасть?

Положим, феноменологию мормонизма мы еще как-то можем воспринять или даже принять: почитание предков, семейную устойчивость и даже безоговорочное трезвое законопослушание, что для русской вольно-бунтарской души – самая трудная проблема. Но разрешимая.

Неразрешима для нас – согревающая мормонов вера в то, что Святое Откровение (помещенное у нас либо в эпоху праотцев, либо «по ту сторону» разумения) может действовать сегодня, *здесь и сейчас*, и не в особо отведенных на то местах (тропа у нас либо ведет, либо не ведет к храму), а в повседневном существовании.

Этого нам уже не вынести: опять сгорим?

Поразительное по пронизательности рассуждение Сергея Антоненко – кульминация и финал его книги:

«Проблема, на наш взгляд, заключается в следующем: традиционные конфессии молчаливо принимаются религиозно индифферентным сознанием как рутинные общественные институты, несколько обременительные, но все же полезные элементы стабилизации социума. Именно так воспринимала позднеримская интеллигенция ветхое язычество, веру в «старых богов». Но «тоталитарная секта» христиан, требовавшая от своих адептов живой веры, покаяния и изменения жизни, – рассматривалась как подрывной культ. Потенциальный атеист скорее видит опасность в незнакомой ему доктрине, которая может нарушить психологический комфорт его существования, нежели в устоявшейся традиции, которую можно «соблюдая, игнорировать».

Нам легче соблюдать православный канон и теплить свечки в пальцах, еще не отмытых от партбилетов, думать же при этом – о своем, неповторимом, сокровенно-личном, – чем отдаться неведомой и причудливой мормонской доктрине – там ведь дело не обойдется теплом свечки, там душу надо будет метнуть в огонь живой веры!

Двадцатый век искусил русскую душу такими пожарами. И раздували пламя, и сами горели, и пеплом головы посыпали.

Нет, не воздвигнется мормониум на нашем пожарище.

Но всмотреться в далекий очаг – полезно.

В это благое дело и надеется внести «малую лепту своим скромным очерком» Сергей Антоненко. Оценим его скромность. Но оценим и дело.

Малыми делами незаметно выстраиваются миры.

Большими делами громко именуются кампании по их уничтожению.

Дождались младенца, черти?

Я имею в виду не тех чертей, из которых любой, по пословице, жаждет связаться с младенцем. И не того младенца, который на радость всем чертям крикнул, что король голый. Я имею в виду историка Игоря Шумейко, который в своей книге «Вторая мировая. Перезагрузка» заметил (скорее с сарказмом памфлетиста, чем с невозмутимостью ученого):

«...Это, по сути, преимущество годовалого младенца перед стариком...»

Старики, которые помнят Большую Войну, находятся в плену своей памяти. Они умирают. Младенцы, свободные от такой памяти, вырастают. Они могут вывернуть прошлое как угодно.

Чего ждать от историка, который был годовалым младенцем, когда Держава, освободившаяся от тяжкого страха перед умершим Верховным Главнокомандующим, стала соскальзывать непонятно куда, а понятно это стало, когда младенцы вошли в зрелый возраст и получили в наследство не Державу, а распавшиеся ее куски. И вместо Победы – список претензий от малых народов, пострадавших в ходе Большой Войны.

По модели:

– Вы, русские, конечно, выгнали гитлеровцев, но и местных жителей задели, извольте извиниться и заплатить за разбитые горшки. Гражданства в новых независимых государствах не ждите! Вы теперь в меньшинстве!

На защиту прав русского меньшинства встает, как и полагается, американский президент: ущемление меньшинств он не прощает и Гитлеру.

Бывший младенец, на дюжину лет опоздавший родиться к Победе, подхватывает с коварным юмором: а что, смысл Великой Войны и Победы – это всемирное утверждение прав меньшинств? Андерсеновский ребенок оценил бы такой прикол: нынешние глобалисты именно и видят мир – стадом сообществ (стран, наций, конфессий), которое надо пасти; противники же глобализма готовы спасать от всемирных пастырей именно такой, пестрый, мир меньшинств.

Но тогда и Большую Войну ничем иным не помянешь, кроме как запоздалыми счетами. Все – малые, и все покалечены, а кого там распотрошили первым – кто упомнит? Американцы, например (истые «младенцы» Новой Истории), когда их спрашивают, кто воевал во Второй мировой войне, иной раз долго соображают, на чьей же стороне был Гитлер. А мы этого гостя хорошо помним, но и для нас он постепенно сливается с Наполеоном и прочими супостатами отечества. Что делать: и танки Гудериана во мгле времен станут в конце концов чем-то вроде слонов Ганнибала.

Так вот: на этом фоне исследование молодого историка Игоря Шумейко поражает доскональным, скрупулезным знанием фактов войны, которой он не застал. И вообще фактов Истории. Фигурально говоря, от Горация до Гроция – если о толще времен. А если об истории недавней – то во всю ширь непроходимых завалов, ибо «сказано и написано столько, что если человек среднего возраста сейчас решит бросить все и только изучать мемуары и диссертации по этой теме, – чтением он будет обеспечен на две жизни вперед».

Да. Если читать так, как читает баран надписи на новых воротах. Если же читать, зная, зачем читаешь, можно кое-что понять и за одну жизнь, в «среднем возрасте» коей и пребывает сейчас Игорь Шумейко. Хотя факты и сами по себе – до упрямости интересная вещь. Например, знаменитая речь Черчилля в Фултоне (полный текст которой в свежем переводе с английского приводит Шумейко – впервые в нашей печати). Или – документ иного прицела, из тех, что сначала были вдолблены в наше сознание, а потом выметены новой метлой (ответы Сталина на вопросы «Правды» по поводу речи Черчилля).

Некоторые факты увидены в непривычном для нас ракурсе. Например, количество танков, сделанных на чешских заводах и дошедших до Сталинграда... Знал бы я – нашелся бы,

что ответить в 1988 году чешским изгнанникам, требовавшим у меня ответа, зачем советские танки дошли до Праги в 1968 году.

Некоторые же факты вообще, кажется, впервые введены в наш публицистический оборот. Например, сражение 1940 года у Мерс-эль-Кебиры, когда британцы пустили на дно французский флот (вместе с моряками), дабы эти корабли не захватили побеждавшие французов немцы. Знал бы я – нашелся бы, что ответить отделившимся от нас прибалтам, независимость которых была в том же 1940 году пущена на дно Красной Армией, дабы их территория не досталась гитлеровцам.

Впрочем, Игорь Шумейко и сам умеет задавать оппонентам каверзные вопросы, в которых двойные стандарты выворачиваются с изнанки обратно на лицо, и лицо это предстает в «первозданности». Это надо уметь, и автор книги «Вторая мировая. Перегрузка» это умеет. Он ярок, хлесток, находчив. Талант полемиста здесь настолько очевиден (и настолько соблазнителен), что автор иногда явно предается соблазну, и тогда, втягиваясь в обмен уколами, успевает шепнуть серьезным читателям, что это, конечно, памфлет и он, Шумейко, это понимает.

Ну, например.

«...Нам ставят в вину «тот самый Пакт» и изменившийся тон советских газет 1940 года... Это как если бы уцелевшие обитатели Освенцима начали бы пенять открывающим ворота русским солдатам: «Вы-то и под Вязьмой облажались, и под Харьковом – дважды. И в Сталинграде долго тянули, и под Курском. А уж под Ленинградом-то... И пришли-то нас освободить в результате – гораздо позже, чем должны были... по нашим расчетам... – И, уж конечно, нельзя было входить в три прибалтийские республики.»

Памфлетный яд – от необходимости переводить реалии Большой Войны на язык современного мира – мира меньшинств, гудящего требованиями политкорректности.

Шумейко продолжает:

«...Но чтобы сама международная ситуация стала «современной», «правовой», политкорректной, в общем той, какая она сейчас есть, – и требуется победа в Большой Войне! Сначала Страсбург (столицу ПАСЕ), Прагу и Вильнюс надо освободить, чтобы там смогли вновь обосноваться те умники, которые расскажут, КАК правильно надо было их освободить и какие пени полагаются за нарушение их правил...»

Умникам – еще порция яда:

«...Быть может, Сталину действительно стоило как-то бы организовать сеанс связи и посоветоваться с Гавелом, Ландсбергисом, Клинтонем и Мадлен Олбрайт: как следовало вести Большую Войну?»

Заставить Вацлава Гавела (лишившегося наследственных заводов в Чехии) или Мадлену Олбрайт (девочкой пережившую в той же Чехии нашествие немцев, а потом русских), или Ландсбергиса (которому ради политики пришлось отвлечься от исследований о Чюрленисе) – и уж тем более Клинтон – отвечать за то, что им жалко тех, кто 60 лет назад попал «под руку», – это со стороны Шумейко, конечно, чисто литературный ход: никто из них на такие подначки реагировать не будет. А вот Резун и Буковский, пожалуй, и ответят, причем в таком же памфлетном стиле, и тогда продолжится обмен грубостями, в ходе коего могут оказаться погребены те кардинальные идеи, которые предлагает осмыслить Шумейко.

Отдавая должное информативной плотности и стилистическому блеску его книги, я думаю все же, что главное в ней – это именно предложенные идеи.

Первая идея: по-новому взглянуть на европейскую карту 1941 года, где «все замазано в буквальном смысле коричневой краской», – и потому различить в этом тех, кто вошел с Германией в союз (Италия, Финляндия, Венгрия, Румыния, Болгария), тех, кто был захвачен (Франция, Польша, Чехословакия, Югославия, Греция...). И внутри захваченной Европы – «поляки дрались, оставили немцам руины, чехи передали самих себя в целости...» В Югославии сербы стоят насмерть, хорваты тоже насмерть, но – на немецкой стороне (даже переименовывают себя

в «готов», чтобы не оставалось ничего славянского). Можно составить сравнительную таблицу по степени сопротивления Гитлеру... и тогда, вопреки всем этническим раскладам, главными антифашистами окажутся... сами немцы! Разумеется, пробольшевистская «Красная Капелла» и прогенеральская «Черная Капелла» диаметрально по дальним целям, – но по степени урона, нанесенного Гитлеру, они стоят рядом: есть признание Геринга (на Нюрнбергском процессе), что Красная Капелла стоила Германии потери десяти дивизий; и есть признание Черчилля (в мемуарах), что отказ Чехословакии от сопротивления стоил союзникам потери тридцати пяти дивизий. Вполне сопоставимые цифры...

«Норвежцы сопротивлялись гораздо дольше, но им помогал и ландшафт страны, и английские десанты и флот. Голландцы ближе к датскому варианту. Бельгийцы – ближе к норвежскому. Люксембург – двое раненых (поскользнулся, наверное, кто-то)».

Последнее предположение оставляю на совести не историка, но памфлетиста... а идея историка по-новому вычертить карту межвоенной Европы так же поразительна по неожиданной пронизательности, как крик андерсеновского ребенка. Не оголяется ли тут какая-то неведомая, прикрытая ранее структура реальности?

А если наложить карту 1941 года на карту 1914-го? Там Антанта, тут... тоже Антанта?

А если наложить карту 1941 (Европа Гитлера) на карту 1991 года? Та же Европа и получится, только столицу перенесли из Берлина в Брюссель.

И опять сквозь саркастическую усмешку ловишь зоркий взгляд, и реальность проступает из-под привычных (в том числе и по марксистским учебникам) одежд: там «империалистический блок», тут тоже блок – «реваншистский», и там, и тут народ, единый по языку и этническому происхождению, подверженный давлению разных блоков, распадается с точностью до микрона на те же враждующие части: при каждой новой встряске хорваты и сербы – враги. Можно, конечно, их вражду списать на конфессиональную несходимость католицизма и православия, да только вот католики-поляки костями легли, борясь против Гитлера, а православные румыны навербовали ему на русский фронт каких-никаких, а солдат. Где логика?

Нет логики. Ни в социальных, ни в конфессиональных схемах. Есть под всеми этими схемами таинственная, не понятая еще реальность. Разговоры про образ правления и про разные идеалы (демократия, коммунизм, пролетариат, буржуазия) – это все, как пишет Шумейко, «дымовая завеса», а суть та, что в этих разных системах (блоках) и в 1914-м, и в 1941-м, и в 1991-м живут все те же люди. То есть народы.

Они-то и решают, куда свалится страна (система) при очередном расколе континента. И долго ли будет страна сопротивляться (если будет). Иногда рядом живущие (а то и родственные) народы оказываются на разных сторонах очередной демаркации. Белоруссия – Украина... Есть отчего охнуть идеологам славянского единства. Армения – Грузия... Да в каком страшном сне мог привидеться антагонизм русских и грузин?

Нет, воистину никакой привычной логике эти новые линии разделов не поддаются, если мы числим мир ворохом малых народов (неизбывных «меньшинств» по отношению к массе человечества), лишь случайно попадающих (и насильственно загоняемых) в блоки, системы, империи и содружества.

Если же признать эти объединения такой же этнополитической, геополитической и психополитической реальностью, как и тот «ворох», в котором они должны искать себе опору, то надо и линии напряжения между системами счесть базисным законом бытия.

А где Большие конгломераты (армии, союзы, коалиции и т. д.), там, увы, и Большие Войны.

Введя в уравнение категорию Большой Войны, Игорь Шумейко не просто переводит Вторую мировую (и нашу, Великую Отечественную) с языка нынешнего тысячелетия (с теперешними счетами за оккупацию и прочие неудобства военного времени) – на язык военного вре-

мени. Фактически он предлагает новую точку отсчета – такую, какой не было в схемах 1941 года.

Мировая война тогда выводилась из теорий империализма, колониализма, из тех или иных «стадий» того или иного «строя», из готовности коммунизма окончательно похоронить капитализм с его войнами... Недаром же советские люди подымались в 1941 году на войну с гитлеризмом, будучи уверены, что война – последняя.

Сказать бы им тогда, что «последней» не будет...

Сказать что-то такое же безысходное их отцам, певшим: «Это есть наш последний...»

А ведь теперь приходится говорить «что-то такое же». Голосом андерсеновского младенца. Почти наобум, на ощупь, вслепую, почти с отчаянием признавая, что есть что-то в самой подоснове бытия, под всеми политкорректностями и политагрессивностями, – где-то там, где Тютчев слышал шевеление хаоса, – что-то, что в любой неожиданный момент может огнем, бурей, ужасом вырваться на поверхность исторического действия, разом опрокинув все сдержки.

Большая Война – это нечто, само себе диктующее правила. Или отсутствие правил. Нечто, живущее по своим законам. И убивающее. Нечто, чем не удастся командовать, ибо Война сама командует всем. Это никакое не «продолжение политики иными средствами», – это аннулирование всей прежней политики. Это не укладывается в понятия справедливости – несправедливости. Это укладывается разве что в толстовскую дилемму: Война – или Абсурдная, или Народная. То есть гвоздящая дубиной. Но и дубина с точки зрения мирной логики – изрядный абсурд.

Понимая, какого монстра он пускает в дебри и лабиринты Истории, Игорь Шумейко предупреждает, что Большая Война – «главный термин» его книги, что понятие это введено «полуинтуитивно», и единственное, что можно поделаться с гигантскими отвалами «неудобоваримых» фактов, – это попробовать перезагрузить их в новую систему координат.

ПЕРЕЗАГРУЗКА эта, естественно, требует помимо знания «неудобоваримых» фактов (что я уже отмечал у Шумейко) отчаянного (и чисто художественного) воображения. Куда более впечатляющего, чем памфлетный блеск.

Поэтому я предложил бы в завершение – фрагмент из книги Игоря Шумейко, где он представляет известное Мюнхенское «умиротворение» Гитлера в виде... пивной метафоры.

«Пивной бар. Все сидят, смотрят в свои кружки. Вваливается верзила. Куражится. – Выжидают. Верзила хватается за лацкан первого – пана. Тот – пардон! – отдает напавшему кошелек и револьвер, случившийся у него в кармане. Верзила хватается мсье – получает еще кошелек, нож, кастет. Последнему – товарищу, решившемуся сопротивляться, – достаются и пулевые и ножевые ранения. Огрубев и озлобясь, он все же скручивает верзилу и... оставляет его на полу – выхода из этого странного бара почему-то нет. Едва отошедшие от отвратительных сцен насилия пан и мсье требуют вернуть им собственность. «Мы знаем, товарищ, что теперь для защиты против верзилы вам револьвер с ножом не понадобятся». А товарищ, вместо самого простого ответа: «А откуда вы-то можете это знать?» – начинает что-то бормотать про социализм...»

Прокомментирую картинку (вполне, впрочем, ясную).

Кто этот огрубевший и озлобившийся товарищ, что-то бормочущий «про социализм», нам понятно. И кто пан – тоже понятно: это чех, страну которого громила-Гитлер вот-вот располосует и захватит. И кто мсье – понятно.

А где, простите, милорд? Тоже ведь сидел там! Куда он делся с кошельком и револьвером? Как-никак, в Мюнхене не только Даладье решал судьбы Европы, но и Чемберлен. Который полагал, что, отдавая Гитлеру Чехословакию, он покупает Европе мир.

Чемберлен-то полагал, да только Черчилль полагал другое. Большая Война, уже висевшая в воздухе, отменяла все прежние правила игры, и именно Черчилль это чувствовал. Именно

он, лютей враг Советского Союза до Войны (и сразу после Войны тоже – с Фултонской речи начиная), в 1940 году объявил Гитлеру такую же войну насмерть, какую Гитлер в 1941 объявил Сталину.

Интересная география: из всех крупных европейских народов только англичане сразу решились на Большую Войну без правил: и именно поэтому, не дожидаясь, пока Петен отдаст немцам флот, – англичане принялись этот французский флот топить. Да, это было таким же нарушением правил (и чисто человеческой подлостью), что и захват Красной Армией Прибалтики. А что было делать? Англичанам требовалось для Войны свободное от немцев море, а нам для Войны требовалось свободное от немцев побережье. То есть территория прибалтийских государств. Нам следовало оттянуть смертельную схватку, отодвинуть, сколь можно, будущую линию фронта. А без латышской сметаны и без эстонских сланцев мы бы уж как-нибудь обошлись. Теперь вот вполне обходимся.

Возвращаясь к нынешним суверенным счетам (к правилам нормальной жизни, то есть к отношениям, свободным от военной целесообразности = человеческой подлости), скажу так. От Советской власти прибалты все-таки получили статус союзных республик (каковым и воспользовались при отделении от распадающегося Союза). А что они получили бы от немцев, окажись они по ходу Большой Войны в составе Третьего рейха – это большой сослагательный вопрос. Боюсь, прав Игорь Шумейко, когда он предполагает, что для господ Розенберга и Риббентропа вся эта «жмудь» была не той «единственной Европой», что для нас (прорубил нам туда окно Петр, и Советский Союз унаследовал), – а потомственной, с остзейских времен, прислугой при немецких баронах.

Поэтому вполне законен в шумейковской пив-бар-картинке тот самый «зритель-прибалт», который сидит в сторонке на своем стуле, надеясь переждать драку, и очень обижается, когда товарищ выдергивает из-под него этот суверенный стул, чтобы треснуть им по голове герра агрессора.

Мне остается прокомментировать последний штрих в картинке.

«Выхода из этого странного бара почему-то нет».

Это в ситуации 1938 года – нет. А полвека спустя? Что там случилось полвека спустя? В Хельсинки съехались результаты Большой Войны заморозить... А тут в Афгане полыхнуло, на другом от Хельсинки конце Земли.

Европейцы, кровью умывшиеся в двух мировых войнах, на уши встали, чтобы не допустить новой схватки монстров на их континенте. Случись такая жуть в третий раз – и стратегическая карта 1914 (она же карта 1941 года) опять простерлась бы от Виши – до Волги, до Кавказа, до Урала.

А если с той стороны: из-за Волги, Урала и Кавказа – поперет такая сила, что вообще изменит контуры будущей истории? Кроме Гитлера и Наполеона, гуляли ведь тут и Аттила, и Чингис, и Тимур... Какие стратегические карты придется тогда выкладывать на стол, какой краской все это крыть, каких бесов загонять обратно в бутылки?

Кто будет загонять?

Как кто? Нынешние годовалые младенцы, которые выросши, увидят всех этих чертей.

На полях Холокоста Заметки читателя.⁴

Уолтер Лакер, издатель энциклопедии «Холокост», во вступительной статье пишет, что эта книга *«освещает главным образом проблемы, а не персоналию или географию массовых убийств».*

Проблемы? Да, освещает. Факторы и факты. Кто, как и почему. Остается последний *проклятый* вопрос: а почему все это вообще оказалось возможно? Чем освещенной верхи, тем гуще тьма на дне проблемы.

Что до «персоналии», то стоит, не прочтя еще ни одной статьи, всмотреться в фотографии. Там такая «персоналия», что не вдруг выдержишь. Глаза убийц. Глаза обреченных. Глаза случайных зевак.

Подпись под фотоснимком:

«Литовские националисты поливают из шланга евреев, избитых во время погромов в Каунасе, чтобы привести их в чувство. Фото принадлежало германскому офицеру 290-й дивизии, убитому под Пустобродовом. 27 июня 1941».

«География» налицо: немцы избивают до бесчувствия, литовцы приводят в чувство.

Интересно, что за человек был тот немец, который сделал этот снимок и хранил его? Для кого хранил? Для историков рейха? Для своей фройляйн? Продемонстрировать непреклонность вермахта в «окончательном решении еврейского вопроса»? А может, хотел милосердием похвастаться: вот, мол, литовцы покалеченных евреев отливают водой, и мы, немцы, разрешаем. Может, он еще и гуманистом был, тот немец?

Убили гуманиста на пятый день войны. Получил персональное окончательное решение.

* * *

Еще из статьи Лакера:

«Нельзя безоговорочно полагаться на отчеты нацистских органов, проводивших истребление евреев. Некоторые документы они уничтожили, а другие с самого начала не были точными. В конце концов, им поручалось истребить максимальное число людей в минимально короткие сроки, а не представлять точную отчетность».

Какие-то бумаги предусмотрительно уничтожили, в каких-то предусмотрительно наврали.

На «самом верху» – вообще никаких бумаг. Ни словечка, ни зацепки!

Хотел или не хотел Сталин в 1953 году депортировать евреев? Геннадий Костырченко архивы перепахал – ни приказа, ни указа... Так было или не было? Вроде было... но *что?* Не уличишь. Полунамеки, обиняки, выразительные взгляды, неуловимые интонации?

Когда-то в Угличе убили царевича Дмитрия. Историки стали доискиваться, не приказал ли Годунов. Ничего не нашли. Костомаров объяснил: никакого приказа и не нужно было царевым сатрапам: звериным нюхом чуяли, что царю выгодно, а что нет. Понимали все по взгляду, по вздоху.

«Окончательное решение» учинили не потому, что фюрер дал приказ, а потому, что огромное число потенциальных убийц почуяло: пробил их час.

«Решения не фиксировались. Важные приказы отдавались устно».

⁴ Холокост. Энциклопедия. Издатель Уолтер Лакер. Перевод с английского. М., 2005.

* * *

«При внутренней структуре нацистского режима и при постоянном соперничестве в среде его руководства любой акт радикального антисемитизма горячо поддерживался, поскольку служил личным и учрежденческим амбициям. Этот радикальный антисемитизм вылился в непрерывное соревнование в служении злу».

Это наблюдение помогает решить вопрос, столь часто задаваемый сегодня: были ли творцы и проводники антисемитской политики биологическими юдофобами лично?

Ответ: необязательно. Были и те и эти. И у нас те и эти делали «общее дело». Моралисты пусть выбирают, кто хуже: Абакумов или Рюмин? Первый – цепной пес, выполнявший приказы, второй же пропах личной ненавистью к евреям настолько, что даже мешал такому прагматику, как Сталин, и тот в конце концов, не выдержав, сделал выбор: «Уберите от меня этого шибздика!»

* * *

Термин «антисемитизм» придумал немец. Энциклопедия «Холокост» имени не приводит, но оно известно из других источников: журналист Вильгельм Марр, пустивший это словечко в мир в конце 1870-х годов – незадолго до того, как в России убили либерального царя, «попустительствовавшего» евреям.

Интересная параллель. В Германии термин есть, но погромов нет, и, кроме «пустых угроз» в памфлетах (во Франции этого добра еще больше), евреям ничего не навешивают. В России же термина нет, про «антисемитизм» слыхом не слыхивали, но громят с размахом и удовольствием, и именно после убийства царя-либерала. Это длится вплоть до 1917 года, когда Временное правительство (в котором нет ни одного еврея!) впервые в России принимает *государственный закон, «запрещающий антисемитизм в любом его проявлении».*

Кажется, это единственный пункт, в котором Ленин следует своему земляку Керенскому. Советская власть в 20-е годы антисемитизм преследует и евреев эмансипирует – реально. С маленькой оговоркой: все пути открыты только евреям-коммунистам, открестившимся от иудаизма и вообще от всякой религии. На евреев, хранящих традиции и обычаи предков, эмансипация не распространяется. В ту пору эта тема граничит с анекдотом (сарказм поэта Багрицкого и юмор поэта Уткина тому иллюстрации).

Лишь при Сталине этот сюжет возвращает себе зловеший смысл и – как убеждены авторы энциклопедии «Холокост» – из-за Гитлера. Тот в 30-е годы развернул антисемитскую программу, а этот, стремясь обезопасить себя от агрессии, подавал тому знаки к сближению... все на том же универсальном языке – антисемитском.

Не обезопасил.

Вопрос о том, какое зло меньше: Гитлер или Сталин – энциклопедия «Холокост» окончательно решает с помощью русской шутки 40-х годов:

«Сталин за всю жизнь поверил только одному человеку – Гитлеру».

* * *

Антисемитизм – дно бездны. Кромешная темень. Проклятый вопрос мировой истории. Были попытки решить? Были. Вот три свидетельства, оставленные просветителями:

«В обмен на гражданские свободы евреи должны ассимилироваться в обществе и прекратить создавать «государство в государстве».

«Все для евреев как личностей, ничего для евреев как нации!»

«Еврейские общины, сами того не желая, укрепляли традиционный отрицательный образ еврея».

То есть: к евреям оказался неприменим нормальный этно-юридический подход, когда нация имеет свое компактное место и равные права среди других. Евреи такое место имеют: это община. Вопрос в правах. Надо жить либо в общине (в гетто), либо в обществе (уйдя из гетто).

Квадратура круга! Стать членом общества – значит перестать быть евреем. Остаться евреем – значит чувствовать, как сквозь добровольную ассимиляцию прорастает «что-то», и ты все равно выпадаешь из круга, из ряда, из равенства. «Государство в государстве»! А забудешь – так тебе напомнят.

Конечно, государство Израиль очерчивает магический круг, ставит себя в ряд с соседями. Но и тут история кровавым колесом напирает: мечта соседей – спихнуть это государство в море!

Что уж говорить про диаспору, про галут: как ни ассимилируйся – разглядят: череп измерят, кровь высосут на анализ, в пятом поколении обнаружат нос, уши, губы. Да ведь потому в XX веке и взяли в расчет «гены», что «конфессии» перестали работать! Дух прикрывал – плоть выдала.

ЧТО выдала? То, что звериным нюхом чуют антисемиты: что еврей ни при каких обстоятельствах не согласится забыть, что он еврей! Память рода неистребима.

Она, генная память, у *всех людей* неистребима. И Никон помнил, что он мордвин, и Некрасов – что поляк, и Аракчеев – что армянин, и Борис Годунов – что татарин, и Николай Романов – что датчанин.

На евреев История просто нахлобучила этот искус памяти. Выйдешь из темницы кагала на свет цивилизации – и начнут тебя испытывать на «равенство», обратно в кагал заталкивать – да ведь ты вправду *и хотел выйти из общины, и не хотел.*

* * *

«Изнутри общины еврей может говорить все, что угодно. Как только он покинет общину, в этом праве ему будет отказано». Эли Визель. Повесть «Горящие души», 1972 год.

И что же, на протяжении истории не было попыток решить эту проблему?

Были. Чемпионы толерантности, британцы, за 114 лет до Визеля предложили вариант: как сохранить овец в волчьем обществе, не превращая их в волков:

«Евреям было гарантировано гражданское равенство, право на национальное вероисповедание, культуру и обычаи, отмена ограничений по этническому принципу и предъявления к евреям особых требований».

Все это хорошо, во-первых, на бумаге и, во-вторых, в относительно мирное время. В кровавое время истина обнажается.

* * *

«В апреле 1944 года Хаим Вейцман обратился с письмом к Черчиллю... Он также был среди членов делегации, отправившейся 30.06.44 к Идену с требованием разбомбить комплекс Освенцим-Бжезинка или хотя бы железнодорожные пути к лагерю».

Оставим в стороне вопрос о личном отношении Черчилля и Идена к данной просьбе – он не вполне ясен. Но позиция Великобритании как Державы ясна вполне. Первое. Лучший способ помочь евреям, погибающим в лагере смерти, – выиграть войну поскорее, не отвлекая силы на попутные малозначащие операции. Второе. Сугубое внимание к погибающим евреям может вызвать у погибающих представителей других народов (например, у поляков) чувство,

будто англичане жалеют их меньше. Третье. Если спасенные от гибели евреи наводнят Британию, это усилит у англичан антисемитизм. А Правительство Ее Величества, как известно, с антисемитизмом борется.

Замечательная логика. Чтобы окончательно покончить с антисемитизмом, надо дать евреям погибнуть.

Ержи Эйхгорн, описавший отправку эшелонов в лагерь смерти в 1945 году, заметил, что даже одна бомба, разворотившая пути, помешала бы немцам вывезти какую-то часть смертников. Сколько-то жизней было бы спасено.

Британцы же полагали, что надо победить зло стратегически, не оттягивая победу из-за тактических задач.

Попробуй опровергни.

* * *

«Валленберг отбросил всякую осторожность, когда банды нилашистов, прочесывая город в поисках евреев, стали врывать в дома, находившиеся под шведской защитой. Обнаружив евреев, нилашисты либо расстреливали их на месте, либо загоняли в товарные вагоны и отправляли в лагерь смерти. Обычно В. подъезжал на своем автомобиле к железнодорожным станциям, кирпичным заводам, гетто и др. сборным пунктам, откуда начинались депортации, и приказывал ответственному офицеру освободить арестованных, поименованных в зачитываемых им списках как имеющих шведские документы. Списки обычно к находившимся на сборных пунктах никакого отношения не имели, что сообразительные люди среди задержанных понимали сразу, немедленно отзываясь на выкликаемые фамилии. Ухищрение, как это ни удивительно, срабатывало не раз».

Интересно: а что чувствовали менее сообразительные, которые не успевали откликнуться на выкликаемые фамилии?

Найдется ли новый Шекспир на этот сюжет?

* * *

«Как только депортированные сходили с поезда, им, как всем их товарищам по несчастью, говорили, что они прибыли в пересыльный лагерь по пути в трудовые лагеря, должны принять души и продезинфицировать одежду, перед тем как двинуться дальше. Чтобы усилить иллюзию, им выдавали расписки на сданные деньги и ценные вещи. Место выгрузки было замаскировано под обычную железнодорожную станцию. Газовые камеры выглядели как душевые кабины, по периметру здания, где они располагались, были разбиты цветочные клумбы. Даже вход в камеры был замаскирован: на занавеске перед дверью красовалась цитата из 117-го Псалма Библии: «Вот врата Господа, праведные войдут в них».

Палачи тоже люди: выяснилось, что солдатам вермахта психологически тяжело расстреливать в упор безоружных, особенно детей и женщин. Сжигать их заживо в запертых церквях и школах тоже было излишним зверством. Поэтому нашли менее болезненный способ уничтожения: газовые камеры.

Справедливости ради надо признать, что камеры эти первоначально изобрели вовсе не для евреев. Хотя впоследствии статистики подсчитали, что, например, в Освенциме из каждых десяти удушенных девять были евреи, один же удушенный – поляк, цыган или русский – свидетельствовал об объективности судей. Но первоначально камеры были спроектированы немцами для немцев же: убивали больных, неполноценных и вообще всех, кто не дотягивал до сверхчеловека. Этот метод очистки нации был признан гуманным и назывался эвтаназией.

В войну продвинули газовые камеры на оккупированные территории. Построили стационары. Придумали душегубки на колесах: кузов автомашины, набитый людьми, запирается наглухо, туда пускают выхлопные газы от мотора; несколько минут – и можно вываливать трупы.

Вываливать трупы тоже было немецким воинам психологически тяжело. Поэтому для этой и подобной работы приспособили еще не удушенных евреев: составленные из них зондеркоманды опорожняли место, отмывали кровь и рвоту, чтобы следующие партии, загоняемые во врата Господни, не сразу догадывались, что их ждет, и не очень сопротивлялись перед воротами.

В Терезине евреям-инженерам даже доверили спроектировать и построить газовую камеру. Опыт не оправдался: выяснилось, что евреи втихую саботируют работу. Пришлось отказаться от их услуг.

Газовые камеры совершенствовались. Подсчитали, например, что окись углерода убивает медленнее, чем цианид, поэтому первый вариант человеколюбиво признали более жестоким. Однако приходилось учитывать и то, что концентрация газа с каждым вдохом жертв уменьшается, а надо, чтобы жертвы успели умереть. Да и проветривать камеры приходилось. Кроме того, газ был тяжелее воздуха, он оседал на пол, обреченные люди, борясь за жизнь, затапывали друг друга в надежде глотнуть под потолком свежего воздуха. Это был беспорядок.

Разумеется, технические решения были бы найдены. Разгром помешал. Пришлось замечать следы: уничтожать всю эту технику. Не все успели: Красная Армия наступала слишком быстро.

* * *

«Профессор Клауберг разработал метод массовой стерилизации посредством одноразовой инъекции в матку химических препаратов. Тысячи узниц Равенсбрюка и Освенцима были подвергнуты этому испытанию. В результате погибло множество еврейских и цыганских узниц. Клауберг доложил Гиммлеру о готовности стерилизовать за один день тысячу заключенных. Для этого нужен один врач и десять ассистентов».

Когда читаешь отчеты о нацистских медицинских экспериментах, ужас постепенно приглушается, атрофируется, переходит в какой-то тупой читательский ступор.

От этой математики (тысяча подопытных – десять ассистентов – один врач) в моей памяти встал числовой фантом.

Сколько дочек было у доктора Геббельса и его жены фрау Магды? Всех угробили родители перед тем, как покончить с собой в апреле 1945 года! Когда я впервые узнал об этом, пожалел девочек – они-то чем виноваты?

Что-то вывернул во мне доктор Клауберг своими подсчетами. Один —десять. Один – шесть. Шесть миллионов евреев угробили в Холокосте. Шесть девочек угробили доктор Геббельс и его фрау. Кто из них убивал, кто ассистировал?

Господи, прости меня за это бешенство подсчетов. Немцы великие математики. Заражает.

* * *

«Христианин, обратившийся в иудаизм, считался евреем».

Это – из гитлеровской юридической практики относительно полукровок и прочих замаскированных неарийцев.

Интересно: кричали о голосе крови, о расе, о генах, измеряли черепа, плевать хотели на конфессиональную приписку, которую, как известно, можно поменять. А дошло дело до обратного случая, когда ариец перешел в иудеи, – и его тоже к стенке.

Наперсточники – пальцы в крови.

* * *

Лет сорок назад врезалась мне в память фраза, которой Стэнли Крамер «повернул» свой фильм «Нюрнбергский процесс» с лукавой казуистики на честную правду: какой-то неунывающий военнопленный немец, из нижних чинов, услышав в столовке спор экспертов, обернулся к ним и весело уточнил:

– Убить не проблема, проблема – убрать трупы!

Энциклопедия «Холокост» подводит базис под эту проблему:

«Переработка тел была главной проблемой для многих центров уничтожения. В Майданеке, как и во многих других лагерях, поначалу трупы хоронили в общих могилах. В июне 1942 построили два небольших крематория, но они не справлялись с такой массой тел. В итоге пришлось сжигать тела на открытом воздухе на специально сложенных кострах. При этом использовали метод, усовершенствованный в Трешлинке: над глубокой ямой укладывали решеткой железные рамы от грузовиков, а сверху чередующиеся слои тел и дров. Затем костры поливали бензином или метанолом и поджигали. В конце концов, построили большие крематории с пропускной способностью 1000 тел в сутки. К 1943 единственными ограничениями для процесса уничтожения в Майданеке служили поломки механизмов и нарушения железнодорожного графика».

Еще за четверть века до этого подобным же образом решили проблему большевики, угробившие в Екатеринбурге царя Николая с семьей и челядь. Свежие трупы горели плохо, тогда сообразили положить их слоями вперемежку с дровами и полить бензином. Дело пошло веселее.

* * *

«Всем известно, что Святой престол не в состоянии усмирить Гитлера».

Примиренческое отношение Ватикана к нацизму «всем известно» настолько, что любой из нас выдвинет список грехов Святого престола, начиная с Конкордата, подписанного кардиналом Пачелли, и кончая отказом защищать евреев, когда кардинал стал папой Пием XII.

Можно, однако, составить и параллельный список. Туда войдут: попытки папы предотвратить войну в 1939 году, в частности, отговорить итальянское правительство вступать в нее. Попытки уговорить американское правительство увеличить квоту на прием еврейских беженцев из Европы. Попытки спасти венгерских евреев в 1944 году, когда в Будапеште стали хозяйничать немцы. Все безуспешно.

Можно разделить: частные усилия католиков, которые на свой страх и риск прятали евреев, не дожидаясь папских инициатив, и надежды тех же католиков, что проблему может решить только папа, не ниже.

Можно учесть и то, что защищать папе надо было не только иудеев, но и самих католиков, на которых еще раньше, чем на иудеев, обрушилась секира эвтаназии, – защищать иудеев, не защищая католиков, было немислимо. Защитить же не удавалось ни тех, ни этих.

На такие попытки гитлеровская власть либо вообще не обращала внимания, либо демонстративно усиливала репрессии – как в Голландии в 1942 году, когда в ответ на пастырское увещание гитлеровская администрация выловила евреев, прятавшихся в монастырях, и отправила в Освенцим.

Гитлеровская власть то ли свирепость демонстрировала, боясь выказать слабость, то ли силу, уверенная в том, что немцы и прочие обыватели в оккупированной Европе поддерживают

гитлеризм как реальность, а католицизм игнорируют как призрачность. Возможна другая пара: неминуемое зло и миновавшее добро.

Пока идет война, ситуацию не переменить, папа это знает. И за евреев не вступается.

* * *

«Гестапо было слишком малочисленным, чтобы следить за всем населением, оно получало большую часть информации от простых немцев, которые доносили на своих сограждан в спецслужбы. Однако большинство доносов возникало не из политических соображений, а от кипения мирских страстей, таких как стремление избавиться от нежелательного супруга или соседа, имущественная зависть или сведение старых личных счетов».

No comments.

Разве что два слова заменить: во-первых, «гестапо» и во-вторых, «немцы».

* * *

«Величайшая загадка состоит не в том, как «окончательное решение» еврейского вопроса могло сохраняться в тайне так долго... (какая там тайна – то, что евреи «исчезали», было очевидно, и о том, куда они «исчезали», было достаточно свидетельств. – Л.А.) ...а в том, почему было такое сильное НЕЖЕЛАНИЕ – со стороны как евреев, так и неевреев – признать, что происходит систематическое массовое убийство».

Многим из «неевреев» было просто не до евреев – сами выживали под бомбежками, сводили концы с концами, не рассчитывали дожить до утра.

Не до евреев было и западным политикам, которые рассчитывали дожить не только до утра, но и конца войны: им принять факт геноцида – значило принять к обсуждению тезис Гитлера, будто мировую войну развязало мировое еврейство, и тогда пришлось бы это обсуждать с Гитлером как с партнером. Проще было добить Гитлера, чтобы «еврейский вопрос» не обсуждать с ним вообще. Пусть Германия капитулирует, а не качает права на еврейском вопросе.

Но главная причина, почему в геноцид *не поверили*, – другая.

Немыслимо было поверить.

Поверить могли в гигантский погром, в неуправляемую ярость масс, – но не в то, что разработан и выполняется последовательный план физического уничтожения целой нации. И план этот разработан в недрах одного из талантливейших и культурнейших народов в мировой истории. В середине двадцатого столетия мировой истории. После Христа.

Нужно было впасть в полное отчаяние, чтобы в такое поверить. А поверив – повеситься.

* * *

Энциклопедия ответила на тысячу вопросов. Кроме одного проклятого.

Я все о том же: как все это вообще оказалось возможно? Нет ответа. Значит, ждать повторения?

Нехазарские страсти *Ответ Александру Байгушеву на* *статью «Хазарские страсти»*

Саша!

Ценю возможность обратиться к тебе так неофициально. Не только потому, что сквозь регалии, наросшие на всех нас за пролетевшие полвека, вижу в нас с тобой однокашников, запросто споривших о том, о чем в ту пору следовало помалкивать. В частности – о евреях. О них и теперь не поспоришь без того, чтобы не возникли справа и слева советчики, уличающие в тебе то антисемита, прикрывающегося «хазарами», то русофоба, протаскивающего «дружбу народов». Мне проще и милей говорить с тобой так, как в колхозной студенческой бригаде, отдуваясь от скирдования, мы выясняли, чем «еврей» отличается от «жида» и кто будет судьей в этом мистическом вопросе.

Но о мистике (и о Господе-Богe) чуть позже, а сначала – о делах практических (русско-еврейское единение, тобой провозглашаемое) и о делах исторических (хазары как ободряющий прецедент).

О хазарах

О хазарах много говорить не буду – по причине малой осведомленности (то, что о них знаю, – знаю во многом от тебя же, из твоих книг). А также по причине непроясненности (для меня) главного обстоятельства в хазарском деле: действительно ли иудейская вера с верхов Каганата проникла в массу населения и так ли уж сильно повлияли на эту массу «иммигранты-иудеи», спасшиеся в Хазарии, как ты пишешь, «от погромов того чудовищного мира». Я думаю, что на хазарскую верхушку эти иудеи воздействовали вполне успешно, меж тем, как тысячи и тысячи пастухов в южной степи, приписанные к Каганату, продолжали пасти свои табуны, не слишком задумываясь о том, обрезаны или не обрезаны высшие чины системы.

Если так, то с теми евреями, о которых мы говорим сейчас, хазарские пастухи генетической связи не имеют, за современные сионистские проекты ответственности не несут, а продолжают жить на южнорусских землях, как тысячу лет назад, справедливо считая себя вполне русскими.

Кестлера-то мы с тобой читали!

Что же до Системы, то тут есть замечательная связка, о которой ты пишешь: Каганат – мистическое предвестие Советского Союза! Это интересно, причем без всякой мистики: в любой имперской структуре, которая всегда «крышует» пестроту и несоединимость, возникает во все эпохи (иногда прибывает извне на боевых конях, иногда в запломбированных вагонах), чаще же зарождается – «имперский слой», не имеющий ясной этнической приписки. Вот и суди, глубоко ли, и насколько глубоко проникла в «массовый» слой советского общества марксистская вера. Главное, она, вера, помогла массам спасти Советское государство.

О стержневом народе

«Стержневой русский народ», вокруг которого объединились «120 коренных народов России», – формула ретроспективная, годная для зрелой (или финальной) стадии Империи. Исторически же сам этот стержень возникает из взаимодействия племен (славян, финнов и тюрок – по Ключевскому), сцепляющихся воедино. «Русь» – не племя, не этнос, ясный по крови, «Русь» – дружина, воинское объединение, *становящееся* этносом по ходу дела (иногда – по ходу кровавых дел).

Потом задним числом начинается разборка: сколько куда протекло какой крови, сколько евреев было в ПБ и НКВД и кем считать Пушкина: эфиопом, немцем или «природным русаком».

Такие разборки, совершенно параноидальные с точки зрения логики, бывают объяснимы с точки зрения практических нужд. Иногда они приобретают зловещий характер. Крик «Россия для русских» можно понять как простодушную реакцию на то всемирное унижение, которому после «аннулирования» СССР подверглись его бывшие граждане. Носители нашего встречного комплекса – молодые люди, как раз подросшие за эти 15 лет распада и унижения. Вместо «собственной гордости», что была «у советских», они восприняли волчью заповедь: кто силен, тот и берет. Да еще и наслушались злорадных комментариев по поводу русского бессилия. Так что этих мстителей за унижение можно понять – эмоционально. Но не простить по существу, ибо то, что они делают, непростительно.

Попытка среди россиян выделить «чисто русских» вязнет в кровеносных переплетениях. Тем более, не разбирается в этих капиллярных тонкостях бомба, подкинутая в толпу «азиатского базара». Убита дюжина прохожих, среди которых русские и нерусские. Убийца за решеткой – прячет лицо. Ему «стыдно». Мне – тоже, но по другой причине. Уж лучше смотрел бы в глаза, как те воронежские хулиганы, что угробили перуанца. Но те – малолетки. А эти-то – студенты, интеллектуалы, компьютерщики, химики кухонные! Чего глаза прячут? Россию спасают? Ну, так бросили бы всем в лицо свою правду, как это водилось у бунтарей-революционеров от народовольцев до Димитрова! А тут личики прячут: нашкодили, и в сторону.

А прячут – потому что чувят, чем могут обернуться для России такие шкоды. Этничистка, которую они разжигают своими бомбами, – это же Этна, которая извергнется на страну! Уж точно – пятая часть россиян – та, что в исламе – отвалится от нас. Что рынок с волжскими арбузами отвалится – это ближайшее следствие, – а если великое государство исчезнет с мировой карты, окончательно развалится, так и останемся мы «вокруг Серпухова» в ожидании того, какой халифат, Евросоюз или спилка приборет нас к рукам.

О третьем и пятом

Что делать? Спиваться, подбрасывать младенцев к дверям роддомов, вымещать свое бессилие на «азиатах» (как раньше на евреях)? Но не подымется от этого рождаемость, не вернутся новые поколения ни в Пионеррию, ни в Комсомол, не перестанут люди пить горькую, потому что пьют – от бессилия.

Придется принимать «в свои ряды» тех самых «азиатов», которых вы взрываете. Как принимали на Русь «иноподцев» тысячу лет.

Обрусеют ли?

И кого мы получим: русских людей, принявших русские ценности, влившихся в русскую культуру и русскую государственность (при полном уважении к памяти об их нерусских корнях, как помнили об этом – беру навскидку 1812 год – Багратион и Барклай, и Витгенштейн, и Кутузов с его татарскими генами... а чуть раньше – такой «природный русак», как Суворов с армянской бабушкой).

Или мы получим в недрах русского народа бомбу замедленного действия – от коей ахнули сейчас британцы, обнаружившие в пакистанских жилах иммигрантов второго-третьего поколений яд ненависти к взрастившей их Англии? Не получают ли и немцы в свою кровь турецкий яд, а французы – арабский, а мы...

А мы – то ли Третий Рим получим, то ли «пятую колонну»?

О британском адмирале

Адмирал Крис Парри приходит от ситуации в ужас:

«Не будет нас всех. Нас поглотит и утопит варварский океан. Нас ждет бездна и небытие».

Вроде не по статусу говорит адмирал: вместо того, чтобы бряцать оружием и предрекать грядущую победу, – затягивает отходную. Не потому ли, что в отличие от специалистов по исламу (а также по Закону и Благодати) он видит общую стратегическую картину?

Дело ведь не в ваххабитах, упертых в идею Джихада, – дело в тех простых жителях мусульманского мира, которые 11 сентября 2001 года плясали от радости, видя пылающие американские небоскребы, так что умный Арафат от такого простодушия пришел в ярость. Дело в энергии народов Юга, накопивших витальную мощь и готовых ринуться на Север. Конечно, если эта энергия *уже нашла* себе санкцию в исламе, – заднего хода уже не дашь, но сама-то энергия – отнюдь не религиозного происхождения, а я бы сказал – этнобиологического. Ну какой ислам у мексиканцев, штурмующих южную границу Штатов? А «прут» с дикой силой.

И эта же сила «прет» из Чечни в Дагестан и Ингушетию, из Албании в Косово, из Алжира во Францию. Британский адмирал недаром паникует, а ведь его положение все ж покрепче нашего. Устоит или не устоит «золотой миллиард», это еще вопрос, но там люди, ожидающие осады, сидят в крепости.

А Россия где?

Да нигде. В чистом поле под стенами. И меж стенами. В крепость нас не пустят, а вот пустить нам кровь из стана осаждающих – запросто. Мы же для них – малый шайтан; пока до большого шайтана руки дойдут, могут и малым не побрезговать.

Куда ж нам плыть?

Или уж сразу на небо проситься?

О Благодати

Ты, конечно, знаешь, Саша (в том числе и из наших давних споров), что мое атеистическое воспитание не помешало мне с сочувственным любопытством отнестись к религиозным вопросам, а вот приникнуть к церкви (к любой) помешало.

Что именно помешало? То самое, что помешало вступить в партию в советские годы. Но это мы сейчас обсуждать не будем. Не взыщи, однако: в вопросах мистических и потусторонних я плохой собеседник.

Ты гадаешь: куда мир пойдет – к Апокалипсису или к Благодати? Я не верю ни в какую конечную Благодать, я думаю, что Апокалипсис у человечества в крови: хватило бы Благодати каждому новому поколению выдержать тот Апокалипсис, который оно само себе устроит.

Ты пишешь: когда Господь понял, что евреи не выдержали возложенной на них роли, – Он назначил русских вторым богоизбранным мессианским народом. Я не могу воспринимать Господа, который ведет себя как секретарь крайкома КПСС. Или как организатор Закулисы, то есть как профессиональный революционер, по-нашему говоря.

Ты уверен, что в истории человечества было (и есть) только два «небесных, идейных народа»: евреи и русские. Я же нахожу, что «небесный блик» играет в душе каждого народа, хотя, кроме этих упомянутых, никому не приходит в голову на весь свет объявлять богоизбранными – себя. Ибо такие саморекламные определения вызывают у прочих избранных только ревность и злобу.

Так что в русско-еврейском вопросе я предпочел бы спуститься с небес на землю.

На земле, как мы видим, положение наше трудное. Куда двигаться, не очень понятно. Где искать союзников – тоже. От христианского большинства мы сочувствия не ждем, ибо католицизм отмели как западную скверну.

К кому податься? Может, к евреям?

О евреях

Нету их – тех, с которыми боялся не справиться тов. М.А.Суслов, когда они подымут хай. Те евреи, слава богу, уехали, хай подымают у себя в Израиле – там они могут «подыхать»,

как пес, от ностальгии», упиваться Есениным и закусывать сплошными солеными огурцами, но нас это уже не касается.

Нас касаются те евреи, которые не уехали.

И не уедут. Потому что не хотят. Им что делать? Нам с ними – что делать?

Во времена нашей молодости я твердо стоял на позиции ассимиляторства. Повторял пастернаковское: «Не собирайтесь в кучу!» Хотите быть евреями – уезжайте в Израиль! Оставайтесь – становитесь русскими.

Многие из оставшихся русскими и стали. Всецело и осознанно. Раскопать их еврейские корни смогут только ученики герра Розенберга, но до этого, я надеюсь, у нас не дойдет. Протягивать руку дружбы таким обрусевшим евреям странно – у них нет ничего еврейского. Это все равно, что протягивать руку самому себе.

Но есть такие необрусевшие евреи, которые не стали (и не станут) израильянами, а остались (и останутся) россиянами. На роль козлов отпущения они уже не годятся – козлицам прописали «кавказскую национальность».

Так евреи они или не евреи?

В ходе одной из дискуссий лет десять назад мне от их имени было отвечено:

– Не загоняй нас в русские! И в евреи не загоняй! Мы – ни те, ни другие, не русские и не евреи, мы – *русские евреи*, особый субэтнос в русском народе.

Поскольку русский народ, кажется, весь состоит из особых субэтносов, я не нашелся, что ответить, а потом решил: так есть и так да будет!

Вот таким русским евреям ты протягиваешь руку.

Протянут ли они руку в ответ?

Что-то опыт Солженицына наводит меня на скептические предчувствия. Не хочу вдаваться в оценку тех легенд о евреях, которые он воспроизвел (во второй части своего труда «Двести лет вместе»), но все ж была протянута рука!

И повисла в воздухе.

Не сведены счеты? Есть такой образ еврея, укоренившийся в русском сознании... Ты через это благородно переступаешь, но захотят ли переступить они?

Образ такой. «Евреи хлеба не сеют, евреи в лавках торгуют...» Что еще? Плохие вояки. Умничают. Делают деньги. Играют на скрипке. Норовят стать стоматологами.

Насчет того, какие они вояки, надо спросить у арабов на Ближнем Востоке. Но это опять-таки не наше. Наше – это что стоматологи. Но кто-то все равно должен быть стоматологом в народе, где мордобой признан ближайшим орудием справедливости. Так пусть вставляют людям зубы те, кто к тому наиболее расположен, пока те, у кого руки чешутся, выбивают друг другу зубы. И на скрипочке пусть играют те, кому это по душе. Я читал в очерке одного казанца: расслоение начинается с того, что дети русских и татар гоняют мяч на задворках, а еврейские дети разучивают гаммы. Ну, что тут сделаешь? Не заставляй же играть в футбол тех, кто не хочет.

Но они умничают!

Мы, Саша, с тобой тоже умничаем, хотя и в другом жанре.

Так я спрашиваю: почему русские евреи могут не заметить протянутой им руки?

Отвечаю: потому что не уверены, стерпим ли мы их именно как евреев. Своего куса земли они здесь не дождутся: Биробиджан уже есть, а Крыма уже нет. Значит, быть такими евреями, какие привычны? Или перестать? Но перестать (то есть перестать умничать, а начать гонять мяч и бить морды) они не могут. На Иегову им скорее всего наплевать (русским тоже не до Всевышнего, пока не припрет; заметил же неистовый Виссарион, что русский человек говорит о боге, почесывая себе... Дальше в наших учебниках шло отточие, которое мы с тобой увлеченно расшифровывали).

Резюмирую.

По земной жизни слияние душ зависит от соотношения ролей.

Евреи не готовы утратить свою роль.

А мы – готовы их роль признать?

Руку во всяком случае протягивать надо. В этом ты прав.

Жму руку!

Три поцелуя

По ходу дискуссии о «диалогизме в науке и обществе», состоявшейся в журнале «Общественные науки и современность»

Какое, собственно, у меня право высказываться о проблемах, раскрытых в статьях фундаментально подкованных специалистов? Что могу я пискнуть об адвокативности, парадигмальности и прочих мегарисках инвайронментальной сферы, когда я и слова-то эти слышу чуть не впервые? Разве что воздушные поцелуи послать на волне интуиции?

1. Воздушный поцелуй истине

Вот что врезается в сознание и даже подкашивает его:

«Оказалось, что «истин» может быть несколько».

И впрямь «оказалось». Раньше-то думали: *истина* – одна, а путей к ней – много, поэтому у людей много *правд*; у каждого своя, и каждая такая «своя правда» может быть только относительной, абсолютная же – единая для всех – недостижима. Она – одна.

Теперь их несколько.

Почему «несколько»? Тогда уж скажите: много. И – доводя допущение до конца – бесконечно много.

Но зачем нам «бесконечно много», когда практически мы упираемся в две-три (по Хантингтону – семь-восемь), то есть именно в «несколько»?

«Классическая объектная рациональность... перестает быть единственной формой рационального сознания».

То есть: если дважды два при любых обстоятельствах четыре, то и рациональность должна быть одна, а вокруг нее – сколько угодно иррациональностей. Если же формой рациональности становится иррациональность, то дважды два может равняться чему угодно, но тогда и само понятие рациональности, так сказать, преодолевается.

Оно вроде бы уже с семнадцатого века под вопросом... Теперь же, в начале двадцать первого, попробуйте столкнуться по части истины с парнем в зеленой повязке, который только что успешно устроил теракт и с экрана ТВ рассказывает миллионам людей (еще под его теракт не попавшим), что он не террорист, а диверсант и как диверсант имеет право на боевые действия.

Прочитайте ему Канта: мирный договор при сохранении предпосылок войны бессмыслен – и он, диверсант, обеими руками подпишется по этому, потому что для него реально именно состояние войны, а чтобы «подписать под этим», ему надо куда-то положить на время автомат Калашникова, с которым он не расстается.

Поневоле воззовешь к мирному диалогу: вдруг получится?

Не потому ли интеллектуальная элита и отправилась в поход за диалогичностью, что практически уперлась в этого диверсанта, никак диалогичности не признающего? И не потому, что он, диверсант, плох там или хорош, – а потому, что жизненная установка его иная, чем мы привыкли: для нас человеческая жизнь есть ценность абсолютная, а для него – весьма относительная. В том числе и его собственная жизнь. Он нам еще и докажет, что толерантность мы ему навязываем с целью его расслабить.

Никакого царства диалогичности я впереди не вижу. Будет царство силы, промеряемой расчетом. Борьба, кровь, гибель.

«Мир творится людьми».

Это – теперь выяснилось? А люди – не часть природы, чем-то (Кем-то?) созданная? А разве законы этой природы человеческим помыслам не предшествуют? А если законы природы освоить... но это так раньше думали.

Теперь – ничего подобного. Мировая практика говорит другое: человек непредсказуем, законы ему не писаны, переделать его невозможно, можно его только на время умиротворить. По этой одежке и протягивать ножки, а иначе протянешь ноги.

А если переделать человека невозможно, что с ним делать?

А вот: не давать другому человеку оценок, не попрекать его ошибками, стараться понять его доводы, войти в его положение, почаще ставить себя на его место, избегать «пороков полемики»: сарказма, эмоционального форсажа, насмешливости...

То есть не хамить.

Применительно к «мирному времени», а особенно к нашей русской ментальности, запретельной, от века презирающей правила хорошего тона, – увещание это полезно (я беру его из статьи Аркадия Пригожина в «ОНС»).

Но представьте себе время военное, ну, скажем, 1941 год, и статьи Ильи Эренбурга, с его испепеляющим сарказмом, эмоциональным форсажем, убийственной насмешливостью... вы ему что, тоже посоветовали бы умерить пыл?

Ему и посоветовали. В 1945-м: «Товарищ Эренбург упрощает». Он умерил. И понятно: мирное время – не военное время.

Так вопрос в том, какое теперь время.

Ясно, какое: переходное.

От чего к чему переходное?

Будем надеяться, что от войны (слава богу, не горячей и не холодной) к миру (дай бог, длительному).

Если так, будем учиться диалогу. Диалогу, а не спору.

«Ни в коем случае не следует спорить».

Вот уж не подозревал, что услышу такое. Мы-то в молодые годы только на спор и упо-вали. У меня в 60-е годы даже статья была опубликована: «Спор есть норма». Смысл ее ясен, если вспомнить, ответом на что была такая «норма». Нам-то внушали, что спорить об осново-полагающих вещах нельзя, что норма установлена основоположниками навсегда и незыблемо, что есть нормы, которые обсуждать нечего. Для нас, молодых, спор был *отдушиной*, в которую мы просовывались, чтобы дышать...

Теперь я думаю, что тогдашняя наша страсть к спорам – не более, чем реакция на запрет. Теперь, когда нет ни цензуры, ни норм, ни основоположников, – спорь, сколько влезет, – так не лезет оно в меня! Спор не рождает истину, он выявляет препятствия на пути к ней. А истину рождает (вернее, приближает) тихое размышление после спора наедине с самим собой. Это и есть душевная практика.

К вопросу о практике. У Аркадия Пригожина – замечательно точное наблюдение: чув-ствуя опасность противостояний (споров), мы изо всех сил приветствуем диалогичность, но – «на доктринальном уровне», в полном отрыве «от человеческой практики».

Это наблюдение Пригожина заставило меня оглянуться на мою многолетнюю практику, то есть на занятия литературной критикой, каковой я отдался со молодых ногтей, и со молодых же ногтей меня преследовало смутно-интуитивное ощущение «неправедности» этой практики, а теперь, кажется, обрело почву.

Если мне будет позволен такой экскурс, я объясню.

2. Воздушный поцелуй литературной критике

Арсений Пригожин различает три способа словесного взаимодействия оппонентов:

«Полемика – борьба до победы одного над другим. Из двух сторон одна берет верх, другая «падает». Тут не выясняется истина, даже не интересно само мнение противника. Главное – нанести ему уцерб больше, чем он тебе.

Дискуссия – подразумевает заинтересованность оппонентов в привлечении противника в споре на свою сторону, стремление убедить в своей правоте. Для этого, конечно, надо приводить доводы сильнее, доказательнее и ярче тех, что выдвигает другой.

Диалог – означает обмен знаниями, ценностями, переживаниями. Тут каждый прав по своему, и участники стремятся понять друг друга...»

Нетрудно вспомнить, какое именно взаимодействие было в ходу, когда я в возрасте, который католики называют конфирмационным (а по-нашему это отрочество), почувствовал тягу к литературной критике.

В школе под диктовку словесника (который вскоре стал моим любимым учителем и остался таковым в памяти по сей день) я записал четверостишие одного знаменитого поэта из «шестидесятников» (из тогдашних, девятнадцатого века, «шестидесятников», а не из тех, коими по аналогии маркировали мое поколение в двадцатом).

Стихотворение называлось «Вы и мы»:

Вы – отжившие прошлого тени,
Мы – душою в грядущем живем.
Вы – боитесь предсмертных видений,
Новой жизни рассвета – мы ждем.

Не то чтобы стихи мне сильно понравились, но учитель сказал, что без понимания этой борьбы, без чувства этого раскола на «наших» и «ваших» великую русскую литературу не понять. И он был прав.

Так что же это за ситуация по пригожинской схеме? Диалог? Да за такой термин мне в мои отроческие времена тотчас навесили бы оппортунизм и пособничество. Дискуссия?.. Вряд ли. Разве что – перетащить на свою сторону колеблющихся, включить в свои ряды.

Полемика? Она самая. Насмерть!

Меня не тянуло в такую полемику. Меня тянуло в литературную критику. И потянуло еще до того, как учитель словесности продиктовал нам дислокацию: мы – они. Я думаю (вспоминая дела шестидесятилетней давности), меня изначально облучил Белинский, статьи которого читал по радио артист Алексей Консовский. Время было послевоенное, отцы перебиты, библиотеки разорены, и, конечно, ни одной строки Белинского я еще воочию не видел. Но была – с военного времени – привычка не выключать радио, и из «черной тарелки» неслись колдующие периоды статей о Пушкине, на волнах которых я уносился в такую непонятно-мечтаемую даль, какой не открывала даже музыка.

Потом, через пару лет, прочтя неистового Виссариона более трезвыми глазами, я почувствовал – кроме все того же околдовывающего одушевления – какую-то ранящую запальчивость. Словно и впрямь все сводится к вопросу: кто теперь *первый писатель на Руси*? Это рациональное числительное сочеталось почему-то не с «Россией», не с «русской литературой», а с артистично падучим: «на Руси».

У Белинского это царпало, у Чернышевского стало коробить. И тем более у Добролюбова с его лучом света в темном царстве. Эти двое были преподаны мне как идеальные герои реальной критики. Непримируемость обрела четкость юридической доктрины: критик анализирует произведение писателя с точки зрения действительности, оценивает его и выносит приговор.

Кому? Писателю? Действительности?

Да, и ему, и ей, и вообще всему и всем.

Уже в университете, решившись следовать заветам предтеч, я гнал от себя сомнения. А они закрадывались: да кто я такой, чтобы выносить приговоры? Какое у меня право судить того же писателя? Почему я должен считать себя умнее его?

Встречный вопрос: а тогда какого лешего ты лезешь заниматься литературной критикой?

Какого лешего – это я помаленьку про себя решил. По складу способностей я воспринимал реальность только в ее логичных формах, а если в безумных, то безумие ж потому и безумие, что отсчитывается от разума. Лучше всего я прочитывал реальность, когда она уже кем-то освоена, переведена в осознанность: в краски на полотне, в роли актерской игры, в ритмы киноъемки, а лучше всего – в текст. В художественный текст, как и было велено по программе.

Художественный текст кто анализирует? Критик.

Как при этом избежать роли оценщика-бичевателя, которой учили Чернышевский и Добролюбов?

На мое счастье нашелся еще и Писарев.

Вандал, посягнувший на Пушкина!

Да вот тут-то и была зарыта собака, которая покусала совсем не тех, на кого была науськана. Оценки, которые Писарев давал Пушкину, его конечные приговоры, были настолько абсурдны, что я их просто игнорировал. Писаревская *игра ума* жила отдельно от оценок, и именно игра эта была упоительна. С Чернышевским и Добролюбовым такое не получалось – они всю силу интеллекта строго употребляли на оценку и приговор, и вырваться из их доктринальной последовательности мне было не по силам. А писаревская мысль гуляла помимо оценок (загодя безумных) и приговоров (окончательно абсурдных).

Он упивался своей манерой мыслить.

Я упивался *его* манерой мыслить.

Как это назвать, я в свои двадцать лет не знал. Теперь, с подсказки А.И.Пригожина, знаю: это был *диалог*. Я у Писарева набирался опыта, *его* опыта, который становился *моим* опытом, – притом, что Пушкин оставался в неприкосновенности.

В 1951 году я окончил университет, устроился в литературные редактора и пустился писать литературно-критические статьи.

Куда их нести? – встал вопрос.

На берегах тогдашнего литературного «болота» (сервильно-ортодоксального, с хорошо просчитанными допусками либеральности) высились две крепости с четкими, прямо-таки монастырскими уставами: «Новый мир» и «Октябрь», – они вели друг против друга *полемику*, то есть войну на уничтожение.

«Уничтожение» уже не означало, как в 30-е годы, лишение жизни в застенке или в лагере. Но вышвыривание из литературы оно определенно означало: и во второй половине 50-х годов, и в первой половине 60-х. Из «Октября» несло: пора разоблачить этих скрытых ревизионистов-антисоветчиков, лишить их трибуны! Из «Нового мира» отвечали с издевательской заботливостью: по-то-ро-пи-и-ились вы, уважаемый оппонент, напечатать ваши словесные упражнения, по-то-ро-пи-и-ились...

Дуболомная ярость «октябристов» меня отталкивала, да там и не было интересных мне критиков, кроме, разве, Дмитрия Старикова. «Новомировская» же ядовитость соблазняла, и работали в «Новом мире» критики, которых я считал (и по сей день считаю) своими учителями: Андрей Синявский, Игорь Виноградов, Юрий Буртин и, позднее, Игорь Дедков.

Но меня поражало, что сверхзадача у тех и этих одна: вышибить из-под противника лино-тип.

В «Октябрь» я, понятно, не толкался, а в «Новый мир» однажды по приглашению «нижних чинов» отдела критики толкнулся и, дойдя до чинов «верхних», вылетел оттуда с треском и навсегда: «верхние» сразу поняли, что солдата их армии из меня не выйдет, а вольные стрелки были им ни к чему.

Так что обосновался я «на болоте», что простиралось между «крепостями», и стал совершенствоваться в эзоповом языке (о чем не пожалел).

Зачем эзопов язык?

Вовсе не ради оппозиции строю, режиму, власти, а ради самосохранения души, когда следует изображать из себя хоть какого-нибудь бойца и выносить с литературного поля ногами вперед рухнувших оппонентов. «Прикидываюсь». «Кокетничаю». «Продаюсь». Делаю вид. Валяю дурака. Делаю вид, будто валяю дурака. Как тут без Эзопа?

По условиям литературно-критической деятельности я должен, например, объяснить писателю (и читателям), хорошо или плохо *это* написано, надо ли *это* читать и, главное, имеет ли право написавший *это* писатель занимать место в литературе.

Я таких объяснений давать не могу и не хочу. Писать хорошо или плохо – дело писателя. Соображать, что хорошо, а что плохо, – дело читателя. И того, и другого тому и другому должны были научить еще в школе. Я тут при чем?

А по долгу критика я обязан их учить.

Ну, ладно, я это делаю – вскользь, попутно и как бы «нехотя». А для других-то это не вскользь!

Вопрос, которым мне «передали плешь» всю профессиональную жизнь.

– Старик, я прочел твою статью, и мне захотелось прочесть ту книгу, о которой ты написал!

Ну, сказал бы он: «Старик, я прочел твою статью и захотел прочесть *другие твои статьи*!» А *той книгой* захотелось врезать ему по башке.

Однако придерживался правил цивилизованного диалога.

3. Воздушный поцелуй оппоненту

В конце концов, на вопросы типа «Старик, я так и не понял из твоей статьи, надо ли мне читать книгу этого писателя», я насобачился отвечать коротко: «Не надо!» Потому что все то, что мне из «книги этого писателя» *надо*, – я изложил сам. Так, как *надо мне*. Бессмысленно предъявлять претензии: «Старик, а там у него ничего такого нет, что ты в нем высмотрел. Ты ему все навязал».

Правильно. Навязал. Или вычитал. Пусть другой вычитает другое. Пусть навяжет. Было бы что навязывать. То, что извлек из книги я, другой не извлечет, извлечет – свое.

– А то, что ты извлекаешь – ты *из чего* извлекаешь: из книги, которую разбираешь, или из воздуха?

Из воздуха. С помощью книги. Есть же такое понятие, как горизонт ожиданий. Книга, о которой я пишу, появляется е не в безвоздушном пространстве.

Слышу в ответ:

– Да, не в безвоздушном. Но – в литературной ситуации. В которую вписывается или не вписывается.

Это как понимать литературную ситуацию. У Ахматовой спросили: «Анна Андреевна, почему вы, акмеисты, были смолоду так непримиримы к символистам? Неужели столь многое вас с ними разделяло?» Старая сивилла рассмеялась: «Мы место расчищали».

Вот! Если литература – это место, которое расчищают для себя: каждое новое поколение, или новое направление, или новый автор, – тогда литературному критику есть занятие: определять каждый раз: верно ли место. Кто гений, кто талант, кто графоман. «Кто первый поэт на Руси».

И ведь по сей день литературное поле (заполненное уже молодыми критиками) воспринимается ими (и публикой) как ристалище для оценок-приговоров. Особенно в тех бойких гламурных журналах, которые вытеснили с этого поля старомодных «толстяков».

Вот точно замечено участниками дискуссии в «Общественных науках»: когда читаешь сегодня отписки бюрократов, не чувствуешь ни «ортодоксальности», ни «либеральности», зато несет острым запахом интереса. Так и критики современные: они не левые, не правые, они пропахшие лоббированием: сразу ясно, кто кому свой, кто чужой.

Приговор чужому:

– Я его не мог дочитать: ску-учно.

Ну, если не дочитал, если скучно, – вот и поскучай сам, зачем тянешь нас в свою скуку? Я вообще не могу понять, как может быть скучно в профессиональной работе. Если я о ком-то пишу, он *уже* не может быть скучен – он *становится* интересен, поскольку я его осмысляю.

Ну, а если и впрямь плохо написано?

Вообще-то плохо написанный текст так же интересен и так же свидетельствует о жизни, как хорошо написанный. Хорошо написанный – дополнительное удовольствие.

Ну, а если настолько плохо написано, что с души воротит?

Ну и не пиши о нем. Молчание! Не надо быть ассенизатором литературного поля, как не надо раздавать писателям награды и давать читателям рекомендации. То есть отношение к литературе не может быть отношением как к чему-то имеющему ценность вне самой этой литературы (так что оценки должны эту ценность регулировать), а может быть отношением лишь как к самоценной жизненной реальности. Сам факт общения (то есть тот факт, что я читаю какого-то автора, думаю о нем и пишу) есть уже исчерпание вопроса об оценке.

– Значит, тебе все равно, о ком и о чем писать?

Все равно. Прочитанное приобретает значимость по мере осмысления.

– Значит, ты врешь, когда добавляешь плохо написанному тексту значимости?

Вру. Но не лгу. Все эти оценки: плохо написано, хорошо написано – присутствуют у меня интонационно. Дурак не поймет, умный промолчит.

– А самого себя ты воображаешь умным?

Отнюдь. Чтобы показаться умным, достаточно быть дураком в другом, чем ожидают, роде. Это кто-то из знаменитых критиков-эмигрантов сказал, кажется, Георгий Адамович.

– Что же легче: притворяться дураком или притворяться умным?

Без разницы. И там, и тут – «роль». Человек, публикующий свое сочинение, уже выступает на сцену и претендует на внимание. Я выступаю следом, но в *своей* роли. Это диалог ролей...

– Но кто-то же должен в этом соревновании победить? Никто не должен. Побеждали во времена Чернышевского и Ермилова. На чем и стояла от века литературная критика...

Такие диалоги долго крутились вокруг меня, когда я пытался печататься в литературных журналах. Наконец чаша переполнилась: мне ответили, что я пишу «не о тех» писателях, и предложили заняться чем-то более значительным.

Я тихо отполз от литературной критики, благо было еще и кино, и театр, и история... Но, как говорится, от судьбы не уйти: в эпоху перестройки, когда народ перестал читать толстые журналы (а уж критику журнальную первым делом кинул) и тексты стали приходиться к читателям в виде книг, возникла нужда в предисловиях.

Тут я воспрянул. Чем хорошо предисловие? Никто не спрашивает, рекомендую ли я текст читателю, – вот он, текст, под той же обложкой, хочешь – читай, не хочешь – брось. Никто не требует оценки – она в самом факте моей статьи. И никто не подходит с претензиями: не о том пишешь. О ком хочу, о том и пишу...

Впрочем, и тут логика расчищаемого места до меня добралась. Как-то написал я предисловие к одному весьма интересному роману. Звонит издатель: а вы не будете возражать, если фрагмент из вашего предисловия мы поместим на задней обложке? Пожалуйста, помещайте.

Получаю книжку, смотрю на заднюю обложку и глазам не верю: слова мои, а в целом – какая-то сладкая каша. Составил издатель коллаж из моих вежливых обмолвок о талантливо-

сти автора. Мне это было не очень важно, но требовалось по ходу дела для смягчения некоторых острых мест анализа. А тут... я почувствовал, как издатель мучился, просеивая мой текст и выискивая – что? То самое, от чего я бежал: оценки! Будто я автора «хваляю». Будто я его «рекомендую». Реклама нужна! Двигатель торговли.

Итак, я не даю оценок, не выдвигаю обвинений, не бросаю упреков автору. Я пропускаю его текст через *свою* душу, его душевное состояние становится *моим*, я не говорю «он не понимает», я говорю: «это непонятно», «это *нам с ним* непонятно», «это *в нашей с ним реальности* непонятно». Я даже не выделяю специально наши с ним точки совпадения – это у нас не точки, а объемы, и совпадают они – изначально, фактом интереса.

А если реальность абсурдна или ложна, то и отвечаем мы за нее вместе; дело ведь не в том, что он «не то» или «не так» написал, дело в том, что написанное им (и встречно прочувствованное мной) есть продолжение реальности, нас с ним породившей.

Поэтому все «пороки полемики» с абсурдом и ложью этой реальности относятся столько же ко мне, сколько и к нему.

Тут я с удивлением и радостью осознаю, что «парадоксальный» стиль критики, который я вслепую и на ощупь выработывал всю свою профессиональную жизнь и из-за которой вечно ходил в чудаках, дураках и т. п., – стиль этот целиком укладывается в те новейшие правила интеллектуального общения, которые излагает Аркадий Ильич Пригожин в статье «Диалогические решения».

Dixi.

Впрочем, маленькое дополнение. Владимир Бондаренко, мой коллега по критическому цеху, недавно со смехом заметил, что писатели, довольные тем, что я разобрался с их текстами в той толерантной манере, когда ужас и абсурд бытия не сваливаются на голову оппонента, а трактуются как наша общая боль, – писатели эти после нашего диалога «улыбаются отрубленными головами».

О да. Я и сам, читая иной раз о себе, чувствую, как голову мою весело отделяют от тела... И, улыбаясь этой косметической операции, посылаю такому оппоненту искренний воздушный поцелуй.

Суп из перочинного ножика

*Либерализм! Хоть слово пусто,
Но мне ласкает слух оно.
Вариация на блоковскую тему*

Да простят мне нынешние скифы самоуправство с общеизвестной цитатой из великого поэта. За такие фокусы сидеть мне в списке критиков-постмодернистов, которые подменяют протуберанцами собственного «эго» нудный мониторинг литературного процесса и с хрустом, не отходя от кассы, упиваются подобными эффектами, вместо того чтобы перелопачивать первозаданный хаос, ежедневно перемалывая и подвергая анализу словесную реальность.

Может, все-таки о реальность ушибусь на этот раз.

Реальность – изящный томик под названием «Либерализм: взгляд из литературы», изданный Фондом «Либеральная миссия» (есть и такой) в итоге многодневной дискуссии («чтобы содействовать развитию либеральной идеологии... соответствующей современной России») и давший трибуну полусотне ярких авторов («литературных критиков, издателей и социологов»), из которых упомяну сразу тех, кто перечислен на обложке («Наталья Иванова, Андрей Немзер, Игорь Захаров, Дмитрий Бак, Лев Гудков, Лев Рубинштейн и др.»), добавив к «и др.» Романа Арбитмана (из коего я ради стилистического «запаха» процитировал рассуждение о протуберанцах и мониторинге).

Чувствуя, что я выпал из когорты либералов (а по мониторингу новейших экспертов и из литературной критики вообще), я воспользуюсь положением стороннего наблюдателя (вне ящика, как сказал бы Добролюбов) и прибегну к жанру, наиболее естественному для такого положения, – к заметкам на полях. Тем более что поля тучные. А что на них произрастает – попробуем.

«Маленькое поле свободомыслия»

Наталья Иванова (главный докладчик по главной теме) ищет союзников в толще прошлой русской литературы (и истории, соответственно):

«Если сравнить русские корни либерализма (Новиков, Радищев, Герцен) с антилиберальными традициями, то станет очевидным: либеральное течение в истории России «подсоединилось» к революционной мысли. А гротескное изображение российских либералов, карикатура на либералов (и на их образ жизни, как бы оторванный от реальной российской действительности) присутствовали (в разной степени, но...) в антилиберальной литературе: в прозе Достоевского и Льва Толстого, Тургенева и Салтыкова-Щедрина, Чехова и Горького...»

При всем уважении к Новикову и Радищеву (и при любви к Герцену) – не могу удержаться от вопроса: не чувствует ли Наталья Борисовна, что крупнейшие русские классики (ею перечисленные) фатальным образом от либерализма себя отделяют.

Может, Советская власть пресекла это безобразие? Увы.

«Традиция гротескного изображения советско-русского либерала была поддержана Владимиром Маканиным (повесть «Один и одна»), Олегом Чухонцевым (поэма «Однофамилец»), Виктором Астафьевым («Царь-рыба», «Печальный детектив»). Можно ли заключить, что сами писатели парадоксальным образом послужили злорадному вытаптыванию маленького поля свободомыслия с его либеральными ростками, дали в руки своим оппонентам аргументы против, привычнее (опять же парадоксальным образом) ощущая себя в выжженном пространстве несвободы?»

А знаете, можно это заключить. Причем, без всякого сваливания грехов на писателей, которые «послужили» или не «послужили». Разумеется, всякий конкретный конфуз можно объяснить обстоятельствами времени и места. Например, фразочку Блока: «Я поэт, следовательно, не либерал». Или грезы Достоевского о проливах. Или раздражение Толстого, разглядевшего у Тургенева «либеральные ляжки». Вообще-то – «демократические», но авторы книги «Либерализм» самоотверженно перетаскивают это недоразумение на свой баланс. И правильно делают: чем крупнее и независимее художник, и очевиднее его неприязнь к либерализму.

Вы скажете: это неприязнь к системе фраз. Именно! Хотя без либерализма ни одна система фраз вообще не осуществится.

Это что, случайно? Или есть что-то в этом недоразумении сущностное?

Да, недоразумение сущностное. Борясь за либеральное вольномыслие, дыша воздухом либеральной свободы слова, будучи либералами по своему исходному психологическому состоянию (то есть людьми, желающими говорить вслух о том, что они думают), – авторы книги «Либерализм» усердно ищут либеральную идею, либеральные ценности, либеральную реальность, да все никак не найдут. Невод пуст!

А может, либерализм этот самый – пуст по определению? Может, его и нет?

Отнюдь! Мы же дыханием ощущаем, что он есть. Потому что дышим, что не замечаем. Воздух насыщен, а в рот не положишь.

Во рту – слово. Истые филологи, авторы «Либерализма», в слово и вгрызаются.

Раздвоенное жало свободы

Денис Драгунский один только и исхитряется на нетривиальность: отыскивает в латыни, что «либер» – дитя. Подключает Достоевского – то место из письма Александру II, что русская свобода – свобода детей вокруг отца. И оставляет нам послевкусие: есть, мол, в либеральном образе мыслей что-то детское.

Все остальные удерживаются при той неоспоримости, что либерализм – от «свободы»: liberty. Или liberte – с выносом на liberalite (щедрость). Все прочее – от лукавого. А лукавый-то к слову liberte как раз и добавит libertine (распутник).

Но не будем изощряться: либерализм – от слова «свобода». И точка.

Впрочем, двоеточие. Свобода как объект рефлексии раздваивается. Во всяком случае – если говорить о русском сознании. Я имею в виду не только общеизвестную «змеиную» мысль, что европейское понятие свободы (моя свобода ограничена свободой других) подменена в России понятием воли (воля безгранична, с ней может справиться только безграничная же воля диктатора). Это двоение иногда демонстрируется появлением в либеральных рядах своего рода радикалов от либерализма, которые приводят прочих либералов в замешательство (прикрытое в выступлениях участников книги или философской невозмутимостью, или литературной веселостью).

Есть другое расщепление свободы, глубоко и точно осмысленное в трудах русских идеалистов: «свобода от...» и «свобода для...». Удивительно, но это двоение термина совершенно не чувствуется в рефлексии авторов книги, хотя и выявляется через эмоции. Даже такой знаток русской идеалистической философии, как Алла Латынина, проходит мимо этого «расщепления» свободы. Впрочем, школа сказывается, и среди либеральных идеологов, мучительно ищущих «либеральную идею», – суждения Латыниной на этот счет выделяются трезвящей осведомленностью.

«Либерализм не может быть идеологией... Ценности свободы в широких массах совсем не котируются, и без справедливости она мало кому нужна. А справедливости либерализм не обещал. Ответственность за все негативные последствия реформ свалили на либералов, либерализм стал проигрывать по всем направлениям, потому что активно обороняться, не перестав быть либерализмом, он не может... Есть остроумное рассуждение Василия Розанова о том, что в либерализме существуют некоторые удобства, без которых «трет плечо». В либеральной школе лучше учат, либерал лучше издаст «Войну и мир», но либерал никогда не напишет «Войны и мира». Либерал – он «к услугам», но он – не душа. А душа – это энтузиазм, вера, безумие, огонь, заключает Розанов».

Подхватывая розановскую мысль, А.Латынина интересуется: а что именно собираются сжечь энтузиасты свободы, затесавшиеся в стан либералов, и до какого безумия эти энтузиасты способны довести их веру?

Я же, подхватывая мысль Латыниной, напомним азы: либерализм – это не существо идей, а лишь возможность обсуждения и обдумывания идей. Это правила игры, это стиль и тон полемики, это умение уважительно слушать другого. То есть, по латыни: *conditio, sine qua non*, условие, без которого мысль костенеет, деревенеет, становится чугунной, мраморной, но – не живой.

– Я не разделяю ваших убеждений, но готов бороться за то, чтобы вы имели возможность их высказывать...

Все! Этим либеральное кредо исчерпывается. Когда рот заткнут, – жажда свободы представляется абсолютной, но, разомкнув уста, надо решать проблемы совершенно другого уровня. Надо соотносить, каково практическое соотношение вековых традиций и новейших идей. Надо соотносить, как организовать системы власти и что предпочтительнее: демократия

или монархия, аристократия или олигархия, охлократия или партдиктатура. Надо соображать, где границы рынка. Но эти вопросы решаются вне поля либеральных идей, потому что либералы предъявляют не идеи, а лишь мандат на их обсуждение. Вопросы рынка, столь модные ныне, решаются во взаимодействии сторонников фритредерства и протекционизма – в сфере ножа и вилки, но не в сфере громкоговорителя: «Дайте же и мне высказаться!» А права человека, упирающиеся в национальную безопасность? А геополитическая ситуация, определяющая сегодня грань между этими правами и безопасностью тех, кто на эти права претендует? Обсуждая подобные проблемы, либералы делают это уже не как либералы, а как бойцы совсем других фронтов. Хотя либералами при этом не перестают быть ни на секунду.

Почему?

Потому что в любую секунду на роток может быть снова накинута платок, в красноречивые уста забит кляп, на мысль наложен очередной мораторий. Вовсе не только «сверху»! «Снизу» тоже – от страха масс, качающихся меж разнонаправленными идеями.

В ответ на гнет либеральность становится самоцелью. До тех пор, пока уста вновь не разверзнутся, и «свобода от...» (от мерзости гнета) не повернется вопросом: «свобода для...» (для чего? Что вы хотите поджечь, господа?)

Эвтаназия и анестезия

С потрясающей экспрессией эту служебно-процедурную роль либерализма описывает Сергей Гандлевский:

«Либерализм – великий опреснитель. На такие малости, как религия, искусство, смерть, тщета людского существования, у либерализма как бы не хватает воображения – он слишком положителен и недалек.

Умеренный и аккуратный либерализм с переменным успехом пытается обуздать страстную и неразумную человеческую природу. Чья возьмет? Лучше бы ничья не брала. Окончательная победа либерализма как общественного устройства, но в первую очередь в головах, будет означать абсолютное торжество выхолощенного самоцельного распорядка, процедуры над сутью и смыслом происходящего – что-то вроде тепловой смерти, тихой эвтаназии...

Когда провозглашалось, что советские люди – новая историческая общность, это было сущей правдой. Но и либерализм оболванивает человека ничуть не меньше, только не из-под палки, а по-хорошему. (Что, замечу в скобках, уже немало: все-таки анестезия».

У меня два вопроса по поводу столь убийственной филиппики. Почему либерализм, столь благородный и возвышенный по окрасу, кажется до отвращения пресным, прохладно-теплым («изблюю его из уст моих!»)? Почему ситуация с ним столь крута, что если не удастся изbleвать, то нужна анестезия?

Потому что тошнотворным он кажется с тех полей, на которые не смеет ступить. А испепелить его хочется, когда он со своим прохладно-теплым градусником на эти раскаленные поля лезет.

И при этом хочет остаться либеральным! Хотя, по мнению Гандлевского, «не имеет ни цвета, ни вкуса, ни запаха».

Либерализм на вкус, на цвет, на слух и на запах

Я хочу продолжить филологические изыскания, но не раскапывая корни, а ища семантические связи. Вот синонимы: демократия, политкорректность, толерантность. Кинем блесну с того берега: получим терпимость, воспитанность, а по существу – кучу кратий и архий... но не либерализм.

А антонимы у него какие? Мракобесие, отсталость, цинизм. А если построже, то: реакционность, деспотизм, тоталитаризм, консерватизм... Пробуем обратный ход: от мракобесия – к просвещенности, от отсталости – к прогрессивности, от цинизма – к мечтательности, романтической, идеальности... То есть, обратные лучи рассеиваются в семантическом пространстве, никак не желая скрещиваться на либерализме.

Правильно заметил Анатолий Вишневский:

«Глубокая мысль – это такая мысль, противоположная которой – тоже глубокая».

Но если противоположная разбегается по разным поверхностям... Впрочем, нет. Имеется антоним либерализма, внятно и соразмерно ему противостоящий: это – антилиберализм...

Решили задачку! Змея кусает свой хвост! Либерализм смотрится в кривое зеркало, чтобы хоть как-то ощутить себя самим собой.

В сущности, это и Наталья Иванова признает:

«Антилиберальный проект, в отличие от размытого, до конца не отрафлексированного либерализма, существует в формах массовой культуры и пользуется массовым спросом».

В этом справедливом утверждении мне хочется откомментировать одно слово: «проект». Поскольку ни идеи, ни идеологии, ни системы фундаментальных ценностей в либерализме ухватить не удастся, – чуткие литераторы начинают сдвигать туда-сюда слово. «Лучше говорить о дискурсе» (Алла Латынина). «Давайте говорить о формате: формат – это, коротко говоря, поэтика текста, определяемая его прагматикой» (Глеб Морев). Ах, значит, «дело в техниках работы на публику!» (догадывается Борис Дубин). Пиар, промоушн, брендинг...»

Чемпионом все-таки остается «проект». Акунинские книги – проект. Но это не литература! А мы и не говорим, что литература. Мы говорим: проект. Что ж, в этом есть фатальная логика. «Что-то слышится родное» (дразнит собеседников Александр Мелихов). Либерал «воспринимается как космополит, эгоист, гедонист и попуститель». А консерватор? «Эта-тист, ура-патриот и неосоветский реваншист». А может, это просто шпана? Обычная уличная шпана? Именно! – подхватывает Мелихов. – «Благодушной картины мира и не может простить либералу человек озлобленный». Марк Липовецкий отвечает с запредельной невозмутимостью: «Это не что иное, как описанная Лотманом и Успенским бинарная логика русской культурной динамики». – Маятник!! – «А вы что, хотите жить, как в Европе?» – Сейчас Мария Ремизова ему врежет: «А плевка в лицо коллективному избирателю прямо с телеэкрана не хотите?»

Драматургически все получается очень выразительно. Страсти кипят, предмет все время ускользает, спорящие жалуются на сложность терминологии, делают «в отсутствие идей и слов демонстративные жесты», а некоторые даже «не понимают, зачем эта встреча» (издатель Игорь Захаров, человек деловой и трепач не выносящий, прямо спрашивает: «А вы проживете на деньги покупателей вашей продукции?»).

Вроде бы говорить не о чем, но «чарующий потенциал слова» так завораживает, слово «либерализм» так ласкает слух, что потерять его никак нельзя. И грузят его, это ускользающее слово, заваливая реальными эмоциями, доводами... жестами!

Получается великолепный суп из топора... Ну, поскольку варят его либералы, то это отнюдь не тот топор, которым можно зарубить старуху-процентщицу... скорее уж это ножик

для очинки перьев... Хотел было сказать: нож для разрезания книжных страниц, да вовремя осекся, вспомнив, какую роль сыграли такие ножи 11 сентября 2001 года в небе над Нью-Йорком.

А теперь, оставляя базисные ценности в стороне (то есть в кастрюле), выловлю те приправы, которые в данном случае и определяют для меня весь вкус.

Дубин и Дугин

Поскольку последний обещанный нам плевок должен прилететь с телеэкрана, подхватываю тему.

Слово – эксперту:

«Что сейчас говорят московские суперкрупные издатели? Что до города с полумиллионным населением они еще будут из Москвы дотягиваться, а ходить – нет, не будут, это слишком дорого и накладно... В двадцати крупных городах, в Москве, в Питере на наших глазах возникают новые аудитории... Но их надо отследить, надо наладить какие-то каналы регулярного взаимодействия с ними... Дальше, за рамками этих групп, – разрыв, провал, ничейная земля. А еще дальше – так называемое общество зрителей. Это люди, которые четыре-пять часов в день смотрят первые два телевизионных канала. Ни у одного книгоиздателя сегодня нет такой возможности дотянуться практически до каждой семьи» (Борис Дубин).

Дополняю сюжет. По моей книге «Красный век» снято два телецикла: очерки о крупных поэтах. Циклы прошли и получили все причитающееся. После чего телевизионщики стали выдергивать из них те очерки, которые им нужны, и пускать в эфир вразбивку. Наступает, например юбилей Светлова – пускают Светлова. Мне не говорят, да я и не против: пусть смотрят.

О том, что моя физиономия опять помаячила на экране, я узнаю по тому, что в метро мне начинают улыбаться, а то и подмигивать незнакомые люди. Это должно льстить самолюбию. Но меня убивает мысль, что из этих узнающих меня и улыбающихся мне людей вряд ли кто-нибудь читал хоть одну мою строчку. И вряд ли прочтет.

Что делать в «обществе зрителей» человеку, который пишет и хочет, чтобы его прочли? Раньше хоть эзоповым языком надеялся их развлечь, да и сам развлекался. А сегодня?

«Сегодня либеральная мысль в литературе существует в свободных условиях. Ей не нужен эзопов язык, ей не приходится преодолевать государственные границы для того, чтобы дойти до печатного станка (тем более до Интернета).

На рубеже 1990-х легальная литература, литература «ворованного воздуха», смогла перейти с эзопова языка на прямую речь. Кстати, это расставание с эзоповым языком породило свои проблемы, но об этом отдельный разговор» (Наталья Иванова).

Подхватывая и этот отдельный разговор, сознаюсь, что с объявлением свободы слова и прямой речи я от эзопова языка отнюдь не отказался. Какая-то странная интуиция продолжает действовать. Раньше я делал вид, что обманываю цензоров (а они делали вид, что вылавливают у меня крамолу). Теперь я делаю вид, что обманываю себя самого (и каждого встречного, то есть читателя). Потому что крамола свернулась на дне души каждого и ждет часа.

Человек духом слаб, он правду о себе не выдержит. Он подозревает, что дышит ворованным воздухом, но не хочет этого «знать».

Это все то же: дыхание замечаешь, только когда тебя душат. Тогда становишься либералом: «Дайте дышать!» А если дышишь – то украдкой.

Михаил Золотоносов о Лакшине сказал и обо всех «шестидесятниках»: привыкли, мол, дышать ворованным воздухом. Ну, конечно. Ворovali воздух у партократов. У тех же партократов я его и теперь воруя, только партии переименовались, заделались партократы демократами, держателями истины: монархической, либеральной, православной – кто какой. И гордятся стилистикой прямой речи.

У меня с Лакшиным было (как сказал бы мой учитель Синявский) расхождение стилистическое. Лакшин тоже думал, что режет правду-матку. Так и интонировал: я правду скажу!

Я же прошу: дайте соврать! Вралем прикидываясь, можно ведь страшную правду высказать. А если кричать, что это правда, – так слушать не станут. «Откуда ты правду-то знаешь?» –

Нет, я вру. Не любо, не слушай, а врать не мешай. «Ну, черт с тобой, ври больше». И не мешают. Тоже, между прочим, эзоповщина.

А кто верит, что режет матку, – блажен... У либералов, кстати, вера в собственную непрекаемость в советские времена была не меньше, чем у ортодоксов (партократов, патриотов и т. д.). Такие ж ж-жандармы...

Наталья Иванова:

«В конце 1980-х – начале 1990-х и Алла Николаевна, и другие критики употребляли в своих статьях выражение «либеральный террор» – это террор либералов, которые преследуют тех, кто не исповедует систему либеральных ценностей».

Алла Латынина:

«Я действительно использовала выражение «либеральный террор», утверждая, что его как такового нет... Это оксюморон...»

Террора, может, и нет, но мысль о нем есть. Свернулась на дне души. Я тоже использовал это выражение, и не как оксюморон, а как отражение реальности, когда писал о событиях 1860-х годов: в ту пору радикалы от либерализма объявили бойкот Лескову за антинигилистические идеи. Мой любимый Писарев отлучил его от литературы! Руки велел не подавать! Вот когда некрасовский «Современник» и писаревское «Русское слово» повели себя как жандармы духа. И меж собой грызлись насмерть, без всякого оксюморона. Я эти баталии описывал осторожно, не хотел жестких аналогий, боялся задеть новомировцев... хотя аналогии напрашивались. Отлучали от печатного станка друг друга правдолюбцы 60-х! Про авторов «Октября» новомировцы писали в тонах скорби: поторопился-де такой-то обнародовать свой опус... Это ехидство было ответом на тупую брань ортодоксов, требовавших, чтобы новомировцев лишили слова (то есть журнала).

Это – в эпоху, когда давало слово и лишало слова – начальство. Теперь, в эпоху «прямой речи», формулировки другие. Купят или не купят? Можно заработать на этой книге или нельзя? Отнять торговые точки у книжных монстров!

Ну это хоть внятно. А то вы все про идеи. Внятность нужна!

Андрей Дмитриев:

«Размежевание должно быть внятным... Условно говоря, Дугин и Дубин ни при каких обстоятельствах не должны оказываться под одной обложкой, на одних газетных полосах...»

Да они и сами не сядут на одной делянке, без ваших сепараций и сегрегаций!

Впрочем, сядут! Россия – страна непредсказуемая. Кто бы в марксистскую эпоху мог вообразить, что от брака большевиков и националистов родятся «нацболы»? Что либералов и демократов засадят рядом в одну партию, где не будет ни либерализма, ни демократичности...

Поэтому не очень верится в крутость этих непримиримых. А вдруг эта крутость – от страха, что русские люди, по патентованной всеотзывчивости своей, – опять чохом поперебратаются, все перепутают, со всем миром обнимутся и всем миром что-нибудь мировое учинят.

Так что в жесте, чтоб не садились рядом, мало уверенности, а больше эстетики: больно уж хорошо сидят рядышком, так славно перекликаются: Дубин и Дугин...

В клетке

Такое же эстетическое удовольствие получаешь от либеральных шарад и метафор. Например: что означают в названии ЛДПР буквы «л» и «д»? Ответ: ищите букву «ж»... Блеск! А Хакамада – как Багира в стае глупых волков!

Кошачья ассоциация побуждает меня к сугубо личному комментарию (и это будет последнее замечание, на которое я решаюсь). Дело в том, что в книге «Либерализм: взгляд из литературы» есть рассуждение на мой счет. Говоря о том, что либералы и ортодоксы советского времени бдительно следили за чистотой своих рядов, Наталья Иванова находит исключение, которое подтверждает правило:

«На моей памяти действия такого рода характерны были только для одного критика, которому они присущи и сегодня. Речь идет о Льве Аннинском. Найти критика, который бы одновременно печатался, скажем, в «Новом мире» Твардовского и в «Октябре» Кочетова без урона для собственной репутации, более чем затруднительно. Аннинский продолжает это делать: он печатается и в «Дне литературы», и в «Литературной газете», и во многих других разнополюсных средствах массовой информации. У него своя собственная позиция. И когда спросили у него о причине этого, он ответил примерно так же, как ответила Мария Васильевна Розанова (а она тогда, к моему изумлению, впервые напечаталась в газете «Завтра», а потом в газете «День литературы»). Мария Васильевна сказала: «Я христианка, а христиане – это те, кто входят в клетку со львами. А те, кто не входят, трусы».

Оставляю в стороне вопрос о репутации. Без ущерба, наверное, не получалось, но если репутация сводилась к тому, в какой состоишь команде («на чью мельницу льешь воду»), то я от такого ущерба не страдал, тем более, что предпочитал мельницы ДонКихота. А ерничал – потому что сражаться с мельницами не давали. То есть трибуны не было. «Вали отсюда, ты не наш».

Теперь-то ситуация другая, высказаться могу в любой момент, веду постоянные рубрики в журналах «Родина» и «Дружба народов», где читатель, которому я нужен, найдет меня, когда захочет, так что ходить по другим редакциям нет нужды. Но в эпоху, когда было два монастыря: «Октябрь» и «Новый мир», с соответствующей чистотой рядов, – меня эта чистота иногда доводила до ступора, и я от столь малопочтенного чувства объявлял: раз меня ни туда, ни туда не подпускают, – назло пролезу и туда, и туда. Один раз это удалось – в 1962 году; еще раз, уже из чистого озорства я повторил это в 90-е годы, напечатав статьи в газетах «Сегодня» и «Завтра», – чего не сделаешь в карнавальной ситуации!

Почему карнавальной? Есть что-то от театра масок в нынешней разборке либералов и антилибералов. Да и в жесте Марии Васильевны Розановой – тоже. Я бы никогда не употребил слово «христианин» для рекламы собственной храбрости. И зверинца не вижу. Входя в «клетки», нахожу не тигров, пантер и волков, вижу людей. Хотя люди и думают о себе, что они крутые тигры, хитрые пантеры и глупые волки.

Сварить бы их всех в одном котле. То-то была бы соборность!

Почему я «не...»

*Воровская, варнацкая, ссыльная,
Все гуляет да плачется Русь,
Ну, а в чем сторона ее сильная,
Я другим объяснить не берусь.*
Александр Городницкий,

«Мне смертию «ци» угрожало»

Чтобы не напускать туману, объясню сразу, откуда идет острота, использованная мной в этом подзаголовке. Век назад, в пору, когда российская социал-демократия выясняла отношения с разными социальными силами (именно тогда «в поле марксистского теоретизирования» попала интеллигенция, и из этого много чего «вышло»), – так вот: тогда теоретики партии бились из-за формулировок; какой-нибудь предлог или союз мог стать причиной яростных ошибок и принципиальных разрывов. Иронизируя над таким буквоедством, один из теоретиков и пустил шуточку, получившую в партийных кругах некоторое хождение (я ее нашел у Рязанова, но был ли он автором остроты, не знаю): «мне смертию «И» угрожало».

Эпоха минула, Рязанова ухайдакали в ОГПУ, шуточка подзабылась.

А почему я ее вспомнил, легко понять из суффиксов двух слов, произросших из латинского корня «интеллего». В русской речи, как известно, суффиксы значат больше, чем корни. Вот и вслушайтесь: интеллигентский и интеллигентный – есть разница?

Еще какая!

А куда мы в таком случае прицепим слово «интеллигент»? К интеллигентности или к интеллигенции? Это вам не нюансы литературности, от этого приговор зависит.

Химера в семи измерениях

Определимся же, о чем и о ком речь.

И в застрельной статье академика Петровского, и в залах его оппонентов, и в том, как весь этот тир окрестила «Литературная газета», – речь идет вроде бы об «интеллигенции», и «интеллигент», собственно, это тот, кто к ней, «интеллигенции», принадлежит.

Если ее «нет», то и его «нет».

Далее академик показывает, что интеллигенция как понятие – химера. Все приписываемые ей качества – мнимы. По старой традиции, Гомеровых еще времен, этих приписываемых качеств он насчитывает – семь. И все семь опровергает. Либеральность? Но ведь не только интеллигент кричит о свободолюбии. Образованность? Но планка образованности подвижна. Творческая потенция? Но как быть с теми интеллигентами, которые не заняты творчеством? Оппозиционность? Но разве только интеллигенция оппозиционна? Интеллект? Но компьютерный взломщик тоже интеллектуален. Просветительство? Пушкинист и мулла – оба просветители, а как их объединить? Демократизм? Что, рабочие – не за демократию?

Впрочем, «рабочие», по А.Петровскому, такая же химера, как «интеллигенты».

Логически выстроенная модель, атакуемая логическими же тестами, на глазах дематериализуется.

Интересно: каким же магическим образом на месте этой химеры возникает у Петровского столь ярко выписанный им приснопамятный «инженер-попутчик» второй половины 20-х годов, который целует дамам ручки, а потом признается следователю, что хотел взорвать завод? В какой роковой момент мнимость вдруг наполняется плотью и наливается кровью? И еще: что это за химерическое словцо, сотрясающее воздух, если из него такая желчь хлещет?

Откуда слово?

Откуда слово – задачка, соблазнительная для филологов, но мало что объясняющая в исторической реальности, потому что слово могло оказаться и другое. Да, Боборыкин попал в точку, но *геометрическое место точек* сложилось до Боборыкина. Слово «интеллигенция» обнаружено в дневниках Жуковского; бытование этого слова в добоборыкинские времена зафиксировано Львом Толстым в «Войне и мире».

Слово-то, может, и случайное, а вот наполнение слова – плотью, кровью! – не случайно. Оно зависит даже и оттого, через немецкий язык (ученая тяжесть!) или через польский (огненная легкость!) проникало оно в русскую речь. И за кем закреплялось. Это верно, что до революции девушка, окончившая гимназию, могла считаться интеллигентной, но еще более верно то, что интеллигентами еще до того, как та девушка окончила гимназию, стали называть студентов, *не кончивших курса* и шедших подрабатывать репетиторами в богатые дома. Тут уж жди «лишнего человека», выламывающегося из дворян, потом разночинца и, наконец, патлатого бомбиста, орущего: «Дело надо делать, господа!» – тоже интеллигент.

Тут-то и засекает его Боборыкин: с народом в башке и с наганом в руке. И *дело* – как раз есть: власть трясти. И сплелась, спаялась, спеклась в революционном тигле совершенно определенная, реальная, нехимическая общность. «Интеллигенция»? Да. И непременно – с определением: какая? – не в качестве параметра к отвлеченной модели, а в качестве конкретного ярлыка, прилепленного конкретной эпохой к конкретной группе.

Смена вех

Так какая же интеллигенция?

«Русская»? Еще нет: для того, чтобы она ощутила себя в качестве «русской», должны выяснить свои отношения революционеры не только из Питера, но и из Бунда, с Кавказа и т. д. А вот отношения с властью выясняются однозначно: идет ли эта интеллигенция против власти? Идет! Одни считают, что она слишком шустра, и называют ее нигилистской, другие – что слишком робка, и называют ее мягкотелой. С этой презрительной стороны лепится к ней еще более смачное: «гнилая».

Изнутри Георгий Федотов предлагает гениальную формулу: интеллигенция – религиозный орден с отрицательным богом. «Вехи» лучший памятник этому нервному взлету.

«Смена вех» – это уже падение в другую реальность. Советская власть открывает интеллигенцию заново. И закрывает: в прежнем виде – бесполезна. Даже вредна. Вот тут-то и возникает описанная академиком Петровским фигура 20-х годов: беспартийный спец – белая чесуча, шляпа, пенсне, троцкистская бороденка, подозрительно вежливые манеры. Интересно, каким же это чудесным образом люди, столь рельефно описанные Петровским, оказались в реальности, находясь при этом в общности, которую он же представил как фантом, фикцию и миф?

Я бы объяснил это так: в качестве общности «на все времена» интеллигенция – фантом (только не меняйте суффикс, а то получите голубую мечту русских людей во все времена, и эта мечта – не фантом, а фактор, причем реальный). А в качестве конкретно-исторической группы – каждый раз – интеллигенция вполне реальна. И когда помогала разжигать революцию 1905 года. И когда отрекалась от своих предтеч в 1909-м... (Правильно отрекалась! Во времена Жуковского была *другая* «интеллигенция», чем во времена Струве и Ленина.) И когда горела в двух русских революциях 1917 года, оставляя тот самый дымящийся воняющий остаток, который и окрестили в 20-е годы – *гнилым*.

Переносить черты «интеллигенции» из эпохи в эпоху – все равно, что думать, будто беликовские бородки двух знаменитых сегодняшних писателей – намек на «троцкизм».

Никаких бородок!

Кончилась разруха, сошла с авансены «гнилая интеллигенция» 20-х, выучились в вузах деревенские ребята, пять лет назад примаршировавшие в начищенных мелом белых туфлях в города (не только в вузы, но и в органы, конечно), и появилась очередная социальная группа: интеллигенция *советская*. К ней примеряли эпитеты: трудовая, рабоче-крестьянская, пролетарская (слова-химеры, как и пренебрежительное: «прослойка»). Наконец, этой реальной группе нашлось правильное определение: техническая. И чуть шире: *научно-техническая* интеллигенция.

Никаких бородок! Никакой чесучи! Пенсне – в музей! Гимнастерка-сталинка. Закрытое КБ на секретном заводе. Режим. Шарашка. Полстакана сметаны плюс к пайке. Назовете эту интеллигенцию беспочвенной? Скажете, что она проливает боборыкинские слезы, каюсь в бедах закрепощенного крестьянства? Полноте! Никаких каяний! Крепость-то, конечно, никуда не делась, советский ошейник на русском мужике покрепче царского, да ведь крепость Брестская и крепость купчая разделены в русской истории наглухо!

Да, на Прохоровском поле в 1943 году воевал в танке Т-34 крестьянский сын, ставший красноармейцем, но чтобы он не сгорел в этом танке, а сжег пришедшего на это поле немца, танк Т-34 должен был сконструировать другой крестьянский сын, вошедший в новую общность – советскую научно-техническую интеллигенцию.

И эта научно-техническая интеллигенция озарила обаянием своим еще целую эпоху, подняла в космос первые спутники, выстроила для сверхдержавы оборонку и заставила одного из лучших советских лириков склонить голову: «Что-то физики в почете».

В знаменитом фильме Ромма двумя великими актерами сыграны два психологические типа, два представителя этой интеллигенции. Романтик и скептик. Их совместной энергии хватило на то, чтобы в следующую эпоху выплеснулась эта энергия сверх всякого «термода» еще и в политику: недаром создатель водородной бомбы сделался диссидентом номер один...

На этом советская научно-техническая интеллигенция как социальная общность кончается, и на смену ей приходит интеллигенция... какой бы эпитет ей подобрать... Интеллигенция времен Перестройки и крушения Советской власти.

Ну, пусть будет «либеральная»

Как видите, определения, которые я даю «интеллигенции», – это не гипотетические тесты, предлагавшиеся академиком Петровским абстрактной химере, а вполне реальные характеристики, закрепленные в исторической практике, хотя словесно они могут совпадать с отвлеченными эпитетами академика. И там «либеральная», и тут «либеральная». Тут даже и покруче: «либерально-демократическая»: по старой русской привычке прятать концы – словосочетание «либерально-демократическая» прилепилось к такой авторитарной, имперского окраса партии, что узнай это Чехов, он расхохотался бы, упав по обыкновению лицом в колени и успев при этом отбросить прицепленное к шнурку пенсне.

Но настоящая либерально-демократическая интеллигенция: все эти завлабы и мэнээсы «в коротких штанишках», проштудировавшие западных экономистов и рванувшиеся к власти на сломе от 80-х годов к 90-м, когда национальные страсти разорвали империю, истощенную почти до обморока многолетней оборонной натугой, – эту эпоху, начавшуюся в 1991 году и продолжающуюся (заканчивающуюся?) сегодня, сделала, окрасила и определила собой «либеральная интеллигенция», взращенная в советских вузах и там выносившая свой протестный дух.

И отвечать будет она. За все.

За что – «за все»?

За «русский бумеранг»: за озверение бритоголовых националистов в ответ на ставшее в «атлантическом обществе» хорошим тоном унижение русских. За то, что тихий мальчик Саша

врывается с ножом в синагогу и орет «Хайль Гитлер!». За расслоение народа. За высокомерие «новых русских». За бомжей, заполнивших улицы. За киллеров, которым можно «заказать» кого угодно.

Да разве ж либеральная интеллигенция за это ратовала?! Она только надеялась (по себе знаю), что исчезнет цензура и можно будет «чирикать что хочешь», а что книжные прилавки завалит отнюдь не чирикающая книга «Майн кампф», это как-то в голову не приходило.

А уж развал великого государства...

Этот развал, последствия которого мы изживаем уже полтора десятилетия, – он-то и останется в памяти истории. И еще – разгон молодежных и детских организаций, последствия которого мы только начинаем ощущать, потому что «брошенное поколение» дотянулось, наконец, до бит и заточек: главным уличным жанром становится «массовая драка», а из-за чего, не всегда поймешь. Если, конечно, не из-за футбола.

Оно, может, так и эдак к тому шло, и не только у нас: постепенное ослабление государственной хватки, общая либерализация, «гуляющая молодежь», пересмотр имперских зон по всему глобусу. Однако в России все будет повешено на либеральную интеллигенцию. Да, она ничего *такого* «не хотела», а если хотела, то «не только она», а она всего лишь искала способ опустошить Мавзолей да переименовать Ленинские горы в Воробьевы, вряд ли интересуясь тем, что это за Воробей скакал по горам над Москвой-рекой. И эту чесотку переименований тоже припомнят либеральной интеллигенции, хотя она всего только чистила русский язык от советского новояза.

Честно сказать, она, либеральная интеллигенция, не очень-то виновата, и уж во всяком случае – не одна виновата.

Но ответит – она. За поведение, которое в известном неприличном анекдоте именуется, простите, «суетой под клиентом».

Звонок из Владивостока

Женщина, знакомая мне по замечательным текстам, в отчаянии:

– Вы не представляете себе, что тут у нас торится! Молодые ребята, образованные, талантливые, заявляют, что они не хотят быть интеллигентами!

«Докатилось до Океана», – думаю с тоской. Но отвечаю моей собеседнице с деланой беззаботностью:

– Это все от суффикса! Поменяйте суффиксы, и ребята захотят быть...

– Кем?

Объясняю.

Лет десять назад критик Левкин напечатал в журнале «Родник» статью «Почему я не интеллигент». Лингвист Григорьев сказал по этому поводу: «А вот написать «Почему я не интеллигентен» у него не хватило смелости». Академик Гаспаров вспомнил эту историю в «Записках и выписках», а Гаспарова процитировал недавно в журнале «Общественные науки и современность» тот самый лингвист Григорьев, который так мягко «подставил» критика Левкина. Я-то думаю, не «смелости» не хватило критику Левкину, а чутье у него сработало отменно: интеллигенцию (и интеллигентов) топчи как хочешь, а святое не тронь!

Это святое – «интеллигентность».

Что это такое, объяснять долго. Но почувствовать можно в одно мгновение – надо только увидеть фотографию, помещенную «Литературной газетой» на странице, где решается вопрос: интеллигенция – миф или реальность? На снимке – человек в скромном белом костюме, в скромной белой шляпе, на террасе своего скромного ялтинского дома – стоит, опираясь на тросточку, и смотрит на нас таким знакомым, таким добрым, таким умным, чутьчку насмешливым взглядом...

Узнали? Ну, конечно, это он: Антон Павлович Чехов, апостол нашей интеллигентности. Интеллигентный человек в чистом виде.

Напомню несколько строк из сочинений этого бесспорно интеллигентного человека:

«Я не верю в нашу интеллигенцию, лицемерную, фальшивую, истеричную, невоспитанную, ленивую, не верю даже, когда она страдает и жалуется, ибо ее притеснители выходят из ее же недр».

Хочется как лучше

На этом можно закончить переключку двух понятий, получивших в русской речи столь различную окраску, – по видимости из-за пустяшных суффиксов, а на самом деле по той особенности русской души, когда хочется как лучше, а получается как всегда.

Хочется, чтобы было благородство, а получается, что помещик портит дворовых девок и проигрывает крестьян в карты. Хочется, чтобы было по-божески, а в глаза лезет поп со своим толокненным лбом. Хочется доблести, а по страницам истории топает солдафон.

Хочется «интеллигентности», а имеется – «интеллигенция», которая во всем виновата. «Ну, а в чем сторона ее сильная, я другим объяснить не берусь».

Вывихи и костоправы

Письмо Игорю Гамаюнову в ответ на статью «Поработители душ»⁵

Уважаемый Игорь Николаевич!

Не очень-то ловко мне обсуждать проблему ловцов душ, затронутую Вами, – в сектах я не застукан, алхимикам и шаманам не верю, целители вроде Григория Грабового или Марины Цвигун меня никогда не задевали, точнее, не интересовали. Единственное, что меня когда-то слегка задело в истории этой Дэви, – что «родом» она из комсомольских инструкторов. Но в ту пору происходило столько подобных перекалфикаций, что и эту я, помню, отнес к числу хитроумных вывихов тогдашней перестройки.

Теперь, прочитав Вас, я думаю: а моя искренняя вера в коммунизм, мое счастливое пребывание в комсомоле (до партии я, правда, не дошел), вообще – вся первая половина моей жизни – не тот же ли морок? А что, если партийные и комсомольские активисты, заходившие высокими чувствами на собраниях, не так уж далеки от нынешних «поработителей душ» – не даром же эти навербовались из бывших комсомольских инструкторов, – только вместо одной химеры шаманят теперь про другую?

Вы пишете:

«Безумцы тех лет, пообещав россиянам скорый коммунистический рай, погрузили страну в кровавый ужас Гражданской войны, в голодомор, в лихорадку массовых репрессий...»

Как человек, полжизни веривший в этот рай, задаю Вам встречный вопрос: безумцы ли его обещали? Помнится, они ходили как раз в умниках и коммунизм называли научным. Вы скажете: какая разница? – во всяком общественном движении есть свои прохвосты. Но Вы, кажется, не на прохвостах «тех лет» делаете акцент. Прохвосты – это те, которые *нынешним* дуракам пудрят мозги, а в «те годы», когда царил кровавый ужас Гражданской войны, и был голодомор, и лихорадка массовых репрессий, – во главе страны что, тоже торчали шарлатаны?

Да вроде Вы так не думаете. Действовали «*добросовестно заблуждавшиеся партвожди, увлекшие своих единомышленников ложными идеями...»*

Уже полегче. Вернее, потяжелее.

«...Партвожди, ввергнувшие в очередной социальный катаклизм одураченные массы...»

Значит, все-таки с одной стороны умники (они же безумцы), с другой стороны – дураки (одураченные массы).

У меня следующий вопрос: откуда безумцы? Ну, ладно, привезли их в страну дураков из-за границы в запломбированном вагоне... А за границу эти безумцы откуда попали? Опять же из страны дураков? Тогда у меня еще вопрос: откуда столько дураков? И вообще: кто здесь кого дурачит?

Берем главный предмет обмана, с помощью которого «безумцы тех лет» одурачили массы: «коммунистический рай».

Он маячит в мечтах человечества, этот рай, чуть не с первобытной общины, вопрос только в том, кто, когда и каким образом подключается к мечте. Русские безумцы только то и сделали, что подперли этот самый коммунизм ученым марксизмом. От чего химера, разумеется, не перестала быть химерой. Но с ее помощью сумели же «безумцы» кое-что сделать: построили этот народ «в ряды». Я в данном случае опираюсь не столько на Маяковского, сколько на Ричарда Пайпса, который заметил, что только два варианта идеологии в начале революции (когда и вылезли на свет божий из plombированного вагона «безумцы тех лет»)

⁵ «Литературная газета», 2006, 12 августа

имели шанс победить в массовом народном сознании: это или черносотенцы, или большевики. (Меньшевики, кадеты и прочая интеллигенция при таком раскладе отдыхают.)

Надо думать, что если бы победили черносотенцы, то в головах одуроченных масс воцарилась бы химера другого толка, чем коммунизм. Но все равно химера. Потому что выстроить народ в армию можно, только заставив его поверить в ту или другую химеру. То бишь в мечту. В героическую легенду. В миф.

Тогдашние люди *хотели поверить*. Иначе не выдержать было ни Гражданской войны, ни голодомора, ни массовых репрессий, ни прочих ужасов.

И ужасы были неизбежны?

Увы, кажется, так. Вожди не создают ситуаций, вожди ситуациями пользуются. Как сказал еще один безумец тех лет: исторический деятель – как наездник, которому удалось вскочить на коня Истории и удержаться на нем несколько мгновений.

Значит, все дело в том, «куда несет нас рок событий», то есть конь Истории. И если несет его нелегкая в кровавую заваруху мировой войны, то ни безумцы, ни умники этого рокового маршрута отменить не могут. Как и изменить настроение огромного числа людей, которые в России сто лет назад вздыхали: «Буря бы грянула, что ли...»

Она и грянула.

А революционные идеи, которые «выстрадывала» русская интеллигенция весь неправдоподобно мирный XIX век, – это что? Не интуитивное ли предчувствие катастрофы? В 1914 году нарыв прорвался. Рвануло и в 1905-м, еле вырулили. Про 1941-й и говорить нечего: смертоносное время... А потом еще полвека – ожидание новой беды.

Кроме дураков, безумцев и умников – были ли сто лет назад шаманы-целители, пытавшиеся заговаривать беду и боль?

Полно их было. Сошли в безвестность. Один только и задержался в памяти – из-за близости к престолу, да и тот почти стерся уже, вытесненный из нашего синодика писателем-однофамильцем, имевшим мужество не отказаться от дьявольской фамилии.

Так что и теперешние шарлатаны погоды не делают, а по наличной погоде берутся заговаривать боль.

Но откуда сейчас-то такая боль? Шестьдесят лет живем без нашествия, без угрозы уничтожения... а ощущение катастрофы не исчезает. Откуда оно? Мировая война вроде бы отступила (европейцы навоевались, азиаты не совсем, но их войны пока что «малые»). Однако обнаружилась чудовищная жестокость этих «малых войн», практика террора, в которой жизнь вообще не стоит ничего, ни своя, ни чужая, ни жизнь ребенка, ни беременной женщины, вообще ничто! Виноватые и невиновные – без разницы. Все заложники!

И рядом с этим – какая-то оргия псевдожизни, оргия масок, экстремальные игры, гламурный психоз, вытеснение нравственности... непонятно чем... да ведь именно в этом дело: *непонятно чем*. Деньгами, что ли? Деньги – условные знаки. Знаки *чего*? Смысл – в чем? Успеть дожрать схваченное? Растратить дурную энергию?

Вот в этом полузадавленном отчаянии люди и зовут каких ни есть целителей. И те набегают с услугами. Потому что лучше эрзац, чем пустота.

И никто ведь никого не обманывает: лекари духа обеспечивают инвалидам духа именно то, на что те надеются: всем необходимо вытеснение бытийного ужаса. Когда в террористском аду гибнут дети, родителям впору свихнуться, и если какой-нибудь спец по самовнушению обещает им воскресить детей, – они поверят! Потому что надо как-то справиться с непоправимым.

А нормальный дипломированный психиатр, обучающий пациента аутотренингу, – не по тем же законам действует? Он пациента обманывает или нет?

А религиозная химера загробной жизни – не то же самое? Кто-нибудь когда-нибудь встречал кого-нибудь на том свете? А верят – миллиарды людей. В реинкарнацию, в переселе-

ние душ, в такой или эдакий рай. Еще и спорят, какой рай лучше: с гуриями, которых можно пощупать, или со светлыми тенями вне материального состава.

Выбор Бога – выбор Психиатра. Христиане смоделировали любящего. А потребовался «мститель суровый» – сотворили и мстителя. Церкви разрушили, попов постреляли, «безумцев» по главе народа поставили, рай на будущее отложили.

Вопрос в том, какой Психиатр нужен нам сейчас. Похоже, нужен Утешитель. И сотни самодеятельных костоправов духа бегут помогать: кто с сошкой, кто с ложкой. Перепахать мозги, осчастливить соборной трапезой...

«Создателей секты осудили за мошенничество, но счет искалеченных судеб уже шел не на десятки и сотни – на тысячи...»

Значит, такая помощь нужна тысячам?!

«Ареал их обитания известен, это в основном областные города. Численность групп – от 20—30 до 100 человек. Группы между собой связаны не всегда...»

То есть не сверху это идет, а снизу. А сверху только «свяжут».

И еще задумаемся: что такое «областные города»? Центры общин – в пику глобальности столиц, в противовес «мировой аггломерации»? Средоточие духа между Деревней с ее свинцовыми мерзостями и Городом с его желтой дьявольщиной? Очаги культуры в море цивилизации?

Что же нам делать? Чем держаться? Надеяться, что невыносимая трагичность бытия сменится когда-нибудь райским блаженством, при котором Грабовой не понадобится?

Мало на это надежд. Не в том задача, чтобы избавиться от горькой правды, а в том, как эту правду выдержать.

Бывший счастливый комсомолец, я спрашиваю: может, пора нам примириться с тем, что счастье – химера? Оно, счастье, элементарно, пока осмысливается на уровне элементарностей. Не сдохнуть с голоду, дойти целым до другой стороны улицы, не сгореть, не подорваться... А если не сгорел и не подорвался, то последний вопрос: «Зачем?» К кому идти с этой тоской? На другой стороне улицы – то же самое. Такая же боль.

Вы, Игорь Николаевич, цитируете целителя, который просит *«не мешать ему делать людей счастливыми»*.

Процитирую Осипа Манделъштама, который когда-то спросил свою Надежду:

– С чего ты взяла, что должна быть счастлива?

Надежда свой крест, как известно, донесла.

Пробую я исцелиться, вспоминая великого поэта. Не знаю, как кому, а мне он до некоторой степени вправил-таки мозги.

Природа ухмылки и ухмылка природы

Разумеется, я не поддамся соблазну итожить всю состоявшуюся в «Литературной газете» дискуссию о шарлатанах духа, но на обращенные лично ко мне суждения отвечу.

1. Природа ухмылки

Алексей Шорохов назвал меня «непримиримым адвокатом литературных комиссаров XX века и язвительным златоустом современности».

Правильная характеристика. Я бы только добавил, что комиссары – в пыльных шлемах. Для точности интонации. А чтобы объясниться по части язвительности, процитирую моего уважаемого оппонента чуть дальше, ибо он уловил нечто важное: пишу я – «в шутку, играючи»... О чем пишу? «О выборе, который был, по мнению Льва Аннинского, у России в 1917 году: коммунисты или черносотенцы? Пламенные «безумцы» (это прагматик-то Ленин с диетическим молочком в ссылке)...»

Уточняю: это не мнение Льва Аннинского, а пересказ точки зрения американского историка Ричарда Пайпса (на которого я неоднократно честно ссылался); смысл же его позиции в том, что в межреволюционные и революционные годы ничем не могли помочь народу здравомыслящие политики вроде кадетов или меньшевиков, – а только безумцы. В безвыходной, безумной ситуации способны были народ возглавить или черносотенцы, или большевики. Оно и оправдалось – в случае большевиков, оказавшихся более решительными и жестокими, чем их конкуренты.

Ленин, конечно, гений тактики и расчета, и в этом смысле – откровенный прагматик: «Взять власть!» «Удержать власть!» – а там посмотрим... Это так же практично, как кушать хлебные «чернильницы» с конспиративным молочком в случае обыска в ссылке. И совсем другое – вешать перед лошадей Истории морковку в виде теории отмирания государства, рисовать будущий коммунизм посреди руин рухнувшей империи, а главное – чувствовать, как за этими морковками тянутся расквашенные в мировой драке морды «народов мира», – такие запрдельные номера может проделывать только безумец, вобравший в мозг безумие ситуации.

Меня поразила когда-то реплика В.Шульгина, которого попросили объяснить, как это в гимназическом аттестате Владимира Ульянова, сплошь отличника, затесалась «четверка» по логике! Мыслитель же! Шульгин прокомментировал: может, и мыслитель (по части молочка в ссылке и фракционных раскладов в партии), но Высшей Логике у Ленина никогда не было!

Я тогда, грешным делом, подумал: блефует Василий Витальевич, счеты сводит... А потом понял. Логика была (и есть) у кадетов, либералов, интеллигентов и прочей здравомыслящей «гнили» – Ленин же чуял и моделировал безумие эпохи, а над здравомыслием «постепеновцев» и прочих оппортунистов – громко смеялся.

Я, конечно, громко не смеюсь – слаб в коленках. Я – посмеиваюсь. Поэтому пишу играючи и в шутку, как верно учуял проницательный Алексей Шорохов.

«Безусловно, многое простительно атеисту, но нельзя же так грешить против формальной логики!»

И опять прав мой оппонент. Атеизма своего не скрываю, по команде в церковь ходить не умею (в партию при Советской власти по той же причине не пошел – спасался от предложений тем, что отшучивался), а логику формальную оставляю тем, кто сумеет свести к этой логике современного человека. Я – не берусь.

По той же хитрой логике я и над «счастьем» посмеиваюсь, в чем справедливо уличила меня уважаемая сибирячка Светлана Голубева. Счастье, знаете ли, так же трудноопределимо, как природа человеческая, а природа человеческая трудноопределима, потому что изменчива та реальная природа, частью которой мы являемся. Как ее определишь? Можно так: это объек-

тивная реальность, данная нам в ощущениях. Да вот ощущения не ухватишь. Поем: «спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство», а потом этого товарища топчем за все наши несчастья. Или: товарища Брежнева топчем, обвиняя в застое, а потом соображаем: а может, в застое и было счастье? Позвольте ухмыльнуться.

2. Ухмылка природы

Еще одна фундаментальная проблема, на сей раз не связанная с моей персоной, задета в статье Игоря Яковенко, которую мне тоже хочется откомментировать. Проблема в следующем. Если природа создает, причем в огромном количестве, людей, склонных терпеть «рабское» положение, то что с этим делать? Попробовать (очередной раз) объявить войну природе? Или попробовать все-таки откорректировать понятие «рабства»?

Взяв заглавием (или: пустив в расход) детсадовский вопль всех обездоленных и разгневанных: «Рабы не мы», – Игорь Яковенко пробует следующее: разделить все общество на две части:

«Есть свободные люди и есть рабы».

Я спрашиваю: а разве нет людей, которые чувствуют себя на грани, на границе состояний? В одной ситуации ты поступаешь свободно, в другой урезаешь свою свободу до нуля. Разве каждый человек не попадает в эти ситуации? Разве каждый человек не несет в себе в принципе то и другое?

А тут не только делят людей на два сорта, но еще и оплакивают тех, кто не сподобился, причем в сочувствии этим несчастным проскальзывает едва ли не издевка:

«Для свободного человека рабство – ужасно. А для раба – нормальное, психологически освоенное и комфортное состояние. Мир устойчив и стабилен. Ты делаешь то, что положено, и в урочный час тебя ждут котлы с дымящейся пищей...»

Я спрашиваю: а эту пищу готовит рабам кто-то другой? А может, хлеб насущный обеспечивают сами рабы, и свободных счастливцев содержат тоже рабы? Это если говорить о бренном теле. Но мы же хотели вознестись в сферы души и духа...

«Свобода прекрасна, но она есть бремя. Подлинно свободный человек платит за свою свободу утратой иллюзий, постоянной работой над собой, подчинением этической и интеллектуальной самодисциплине, особым чувством экзистенциального одиночества».

Старая добрая песня: герой над толпой. И почему-то, кроме «свободы», никаких иных определений, словно для того и нужна «свобода», чтобы ткнуть в глаза другому, что тот – раб.

Я спрашиваю: а если в каком-то прекрасном обществе (в западной демократии, например) рабы исчезли, и все стали свободны, – категория «свободы» нужна или нет? Или в идеале «свободу» вообще не надо замечать? Мы, конечно, общество не идеальное и «свобода» нам нужна зачем? Не затем ли мы эту категорию берем напрокат, чтобы подвести базу под вечный наш вопль: «рабы не мы»?

Решая эту головоломку, русские философы осмыслили другую дихотомию, которую И.Яковенко, разумеется, знает. Но я все-таки напомним. Не «свобода» у нас, а «воля». Волен раб ползать на коленях перед начальником, но волен и выпустить начальнику кишки, когда дойдет до бунта. Воля – это уже не свобода, ограниченная разумом и чувством меры (и оплакиваемая Игорем Яковенко по причине утраты иллюзий); воля – это безбрежное чувство: делаю, что хочу! Это иллюзия вседозволенности и упоение всеотзывчивостью (разве можно нас не любить!?). И смиряется эта воля – волей же, деспотической и безжалостной.

«Как противостоять СВОБОДНОМУ ВЫБОРУ рабского состояния?»

Уперлись, наконец-то, в нонсенс. Свободно выбирающий рабство – уже не раб? Ну, ладно, воля, противостоящая воле же, – имеют общее основание. Но рабство и свобода – из другой оперы. Я бы сказал, из двух разных опер, соединение которых – химера.

Игорь Яковенко это чувствует:

«Общества, в которых живут лишь свободные люди, – химера... Добровольное рабство и связанные с ним страдания – одно из выражений универсальной трагедии бытия. Далеко не каждый, рожденный к жизни на земле, способен нести на своих плечах бремя жизни. Люди такого типа сходят с ума...»

Универсальную трагедию бытия оставим в стороне. С ума сходят люди и того, и этого типа: и «рабы», у которых осталось представление о «свободе», и критически мыслящие личности, которые силятся выбраться из положения «рабов» и не могут. Но что важно в концепции Яковенко? Люди, которых он называет рабами, – такие же законные дети универсальной человеческой природы, как и люди, которых он называет свободными. Но если в природе человека и то, и другое, если миру нужны стабильность и устойчивость так же, как динамика и риск, – то почему надо третировать «рабов» как недочеловеков, а «свободных» возносить до юберменшей?

Почему вообще так въелось в наше сознание заимствованное у античных греков деление, которое немислимо приклеить к другим эпохам и формациям: ни к средневековым феодам, ни к городам эпохи Просвещения, ни к армиям Нового времени, жаждущим пограбить награбленное?

Я склонен делить мир человеческий не на два клана, а на три уровня. Эта концепция тоже выработана русскими философами.

В каждом человеке – три уровня: особь, индивид и личность.

Особь – это обеспечение и воспроизводство брэнного тела. Особям как раз и нужны те котлы с дымящейся пищей, о которых справедливо вспомнил Игорь Яковенко.

Индивид – неделимая частица систем: гражданской, социальной, интеллектуальной и т. д. В этих системах индивид крутится на всех уровнях. То как инициатор, то как исполнитель, то как раб, то как надсмотрщик, а то и как звено коммуникации (мы с Игорем Яковенко и еще легион таких же рабов пера и экрана).

И наконец, личность – это внутренний контакт человека с Абсолютом. В роли Абсолюта – Аллах, Будда, Пантократор, Вседержитель, Бог, отсутствие Бога... В этом смысле личность ни от чего не зависит. В нашей дискуссии – в роли Абсолюта – Природа мироздания, голос которой Игорь Яковенко так хорошо слышит.

«Добровольному рабу надо сострадать».

Добровольному надсмотрщику, коноводу, вождю – тоже. Всем надо сострадать. Особенно когда роли путаются. То есть когда погонщик сам попадает в упряжку и тогда рвет удила, пускает все вскачь, опрокидывает телегу («Телегу жизни», как сказал бы Пушкин). В общем, рушит все до основанья, а затем... а затем строит то же самое. Иногда в роли раба. Такой иногда и ставит телегу впереди лошади. Я имею в виду тех «добровольных рабов», которым Природа велела обеспечивать устойчивость бытия, а ситуация вознесла на роль «богов». В этой роли они часто сходят с ума... Ленина и Гитлера в качестве примеров достаточно? А то можно и продолжить список.

Приходится следовать Природе. В противном случае Природа ухмыляется и все равно делает по-своему. Это в лучшем случае. А в худшем – оглоушивает невменяемое человечество парой мировых войн, после которых нам остается задавать вопросы: кто виноват и что делать?

Эпилог

Меч мудрости

Объявляя киевлянам о введении новой веры, князь Владимир (будущее Красно Солнышко, герой былин и легенд, Святой Креститель Руси, а в ту пору – нормальный средневековый вояка, усмиритель вятичей, радимичей и прочих родичей, силой отнявший у полоцкого князя дочь, ходивший ратью и на болгар, и на греков, на обратном пути от последних только что принявший крещение в захваченном им Корсуне), – следующим образом извещает возлюбленных киевлян о предстоящей им благодати:

– Кто завтра же крещения не примет, станет мне противником!

Православные златоусты сколько угодно могут говорить о просветляющей мудрости, об ипостасях Троицы, олицетворенной в трех первых русских храмах во имя Святой Софии; константинопольский патриарх, изнемогший духом от непрекращающихся русских набегов, может отныне уповать на то, что губители его сограждан смягчатся, укротят свирепый нрав свой и станут смиренниками; в перспективе же сень креста должна объединять славян, напоминая им об «огромном генетическом родственном наследии», которое просвечивает сквозь драки буйствующих и враки умствующих: панславистов, австрославистов, тюркославистов... – вопреки всему этому должна на тысячу лет воцариться меж всеми ими любовь; или, как мечтал когда-то патриарх Фотий: вот если бы тираны вняли слезам и стонам жертв, сластолюбцы приняли бы поститься, а игроки и весельчаки – плакать от умиления...

Устами бы Фотия да мед пить, – тысячу лет спустя подводит итог украинский знаток истории.

В самом деле.

Византия уповает на крещение Руси вовсе не с тем, чтобы пустить ручьи светлых слез по скулам новообращенных, а с практической целью хоть как-то унять, утихомирить, а еще лучше – приручить воинственных русов.

И солунских братьев – Кирилла с Мефодием – Византия командирует к славянам проповедовать христианство вовсе не с целью вооружить эти племена письменностью, – братья и в Моравии остаются подданными Константинополя, – но сквозь эти имперские дела пропускает в конце концов нечто, для «племен» неизмеримо важнейшее, – славянское слово. Это чувствуют и тогдашние племенные вожди – чаемое величие их народов, светящееся сквозь хитросплетения имперской политики.

Свет очей сквозь сверк мечей. Духовный космос – сквозь петли интересов. Единение трех храмов Премудрости – трех Софий – сквозь напасти реальной истории.

Ну, понятно бы еще – что Русь, зажата соседями, должна (как живописал уже в новое время один славный украинец) сбрасывать с себя смрадное иго кочевых орд с Востока и грязные лапы лстивых и разлагающихся демократий с Запада (ситуация, очевидная в Киеве и по сей день). Так ведь еще и своя своих не познаша: два берега Днепра никак не договорятся! А драки на Волховском мосту – эмблема новгородской демократии! Рок междоусобий: Новгород соперничает с Киевом, полоцкий князь рыщет между Рюриковичами, ища себе особого места...

История далека от премудрости, она писана кровью. В 1240 году, когда орды Батые взяли Киев, Софийский собор «уцелел, однако был ограблен и опустошен». В описании этих событий у современного историка я бы переставил слова: храм был ограблен и опустошен, однако уцелел. Когда же после Брестской унии перешел к униатам, – увы, не уцелел. Грабежами и опустошением дело не ограничилось: растащили кровлю, завалили стену... И соделалось это уже не руками языческих поганцев, напавших на нас «неизвестно откуда», – но своими же братьями

во Христе. А сколько раз «брали» Софию полоцкую – на роковом пограничье в Ливонской войне между православным воинством московского Иоанна и наемным «интернационалом» католика Батория! София же новгородская, кое-как перестоявшая атеистическую жуть при азиатах-большевиках, дождалась своего горького часа под факелами европейских фашистов.

И все-таки сквозь ужас человеческой истории светится высшим смыслом созвездие трех Софий, возведенных во имя премудрости божьей. Пленяет роскошество Софии киевской. Покоряет простота Софии новгородской. Поражает гордый взлет Софии полоцкой.

Киев строил храм, соперничая с Цареградом. Византийцы же бросали вызов самому Иерусалиму. Узор ложился на узор: цветущее узорочье поражало, окатывало, охватывало, град сияющ и сверкающ вставал от земли в небо; божий чертог чудился в этой горе драгоценностей; золотой блеск, роскошество тринадцати куполов, таинственное мерцание мозаик – это богатство переполнило и опьянило меня, когда в начале 60-х годов, в ходе какой-то командировки впервые оказавшись в Киеве, я попал под своды Святой Софии.

В Софию новгородскую привела меня стезя через несколько лет – каждый отпуск я стал ездить по северу России, пытаюсь разгадать его притягательность. Храм Святой Софии в Новгороде поразил меня не узорочьем – его не было, а если и было, я не заметил – такая мощь, такое простое величие дышало в строгих обводах стен и кровель, такой замерший в запредельности, готовый излиться, потаенный тревожный свет... Вращенный в атеизме, я не мог истолковать это ощущение; позже мне помогли знатоки: мистическое присутствие креста – вот что передано в простоте новгородской Софии.

И вправду: какое уж на кресте узорочье?

В Полоцк я попал в 2004 году: на праздник 60-летия освобождения города от гитлеровцев приехал с группой ветеранов, один из которых до войны знал моего отца. В Святой Софии поразил меня не сам храм, а его парение над кручей, обрывающейся к реке. Меч в небо! Может, этот царственный полет над округой, это главенство над долинами Двины и Полоты, эта властность духа свела в XI веке с ума отчаянного князя Всеслава и повела неуемного борца за суверенитет «рыскать» по соседям... Кажется, что до самого Сельца, до Спаса, до святой Ефросиньи просматривается долина Полоты от храма Софии... Но прежде – взгляд вправо. В двухстах шагах от белых стен собора – старое трехэтажное, красное, вернее, черное от времени – здание военного госпиталя. Здесь лечились раненые красноармейцы, а после 16 июля 1941 года – покалеченные германские завоеватели. К осени 1942 года немцы что-то почуяли... меч русской Немезиды обнажился?.. – и принялись чистить тылы. Мудрости юберменшей хватило как раз на массовые казни. В числе других была схвачена группа, затаившаяся в полоцком госпитале, «партизанских пособников».

Расстреливать их отвезли в лагерь военнопленных – километрах в двух от собора.

Там, на берегу речки Полоты, у стен монастыря, в виду Святой Софии – стоит теперь камень в память о двадцати тысячах убитых оккупантами советских людей.

Там лежит мой отец.

Да поможет нам премудрость божья вытерпеть эту жизнь.